



**Дружба
народов
10/2025**



В номере:

Одно большое приключение

«Такая история. История о том, как я загубил успешное производство поддельных восточных новостей, которое в те дни как раз набирало обороты».

Повесть «Релокант» Алексея ТОРКА разворачивается как дневник походов релоканта из Волкогонска (весьма говорящее название), разбитого и растерянного, сбежавшего в Душанбе, о котором и знал-то только по рассказам о приключениях Ходжи Насреддина из книги Леонида Соловьёва, прочитанной в детстве. Пройдя через череду мытарств, лжи, любви, соблазнов и разочарований, герой осознаёт, что Восток наказывает его за обман и фальшь. «Не сошёл ли я в самом деле с ума на почве экзотических историй? Верно ли, что я вообще отъезжал из дома? Может, и войны никакой не случилось? <...> Бог мой, всё, что случилось, — было сном. Я не был в той долине, я не спасал Себаргу, тонущую в озере, я не встречал отца... но... Но ничто не мешает мне повторить всё это наяву». Потому что именно эти истории, любовь и преодоление становятся настоящей жизнью героя.

«Что написано сердцами»

Эта звонкая строка из стихотворения Анны ЗОЛОТАРЁВОЙ может стать общим эпиграфом поэтических публикаций номера.

Тонкая пластичная поэзия Сергея ПАГЫНА пронизана светлой памятью и снами, это «обжитый мир», где живы все и «поют о детстве, матери и отце».

Философская лирика Карена ШАКАРЯНА — трагические размышления о жизни и смерти: «Вся земля — могила./ Небо ни при чём./ Вспоминать — не в силах./ Помнить — обречён».

В стихах Евгения СТЕПАНОВА, посвящённых его родному посёлку Быково и героическим соседям, звучит не только риторика, но житейская мудрость: «Лишь бы текла во мне любовь —/ Не кровь. А как же без любви-то?!»

«Преобразователь культурного пространства»

«...Представьте себе зимний день, температура минус 65 градусов, белый снежный покров. И там, в театре, зрители замороженно смотрят “Абхиджняна-Шакунтала” Калидасы. Можете ли вы представить себе тепло индийской литературы в самом холодном городе мира — Якутске?

Это не воображение, это реальность. Истина, которая наполняет нас всех гордостью и радостью», — премьер-министр Индии рассказывает радиослушателям о спектакле «Сахаантала» на сцене Театра Олонхо.

В рубрике «Культурная хроника» прозаик Олег СИДОРОВ размышляет о жизненном пути и творческом кредо знаменитого якутского режиссёра Андрея Борисова.

«Фаина, налей немного вина блуднице...»

1949 год, последняя встреча Надежды Крикун с Ахматовой. С Раневской — ещё годы дружбы и переписки: «Знаете, мне всё время хочется что-то добавить к роли от себя... Но когда имеешь дело с живыми авторами, тут можно столкнуться... А когда это Чехов?..»

В конце 1980-х в редакцию ташкентского журнала пришла немолодая женщина и предложила для публикации свои очерки: первая военная осень, юная студентка ИФЛИ, приехавшая в эвакуацию с мужем — знаменитым искусствоведом Абрамом Эфросом, работа в госпитале, «Ташкентские Афины», Анна Ахматова и Надежда Мандельштам, Михоэлс, ГОСЕТ и Театр Революции, сближение с местной интеллигенцией... После войны Надежда Крикун вернулась в Узбекистан, работала на телевидении. О её судьбе и людях её жизни — эссе писателя из Ташкента Лейлы ШАХНАЗАРОВОЙ.

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.08.2025.
Подписано в печать 25.09.2025.
Выход в свет 26.10.2025.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сергей ПАГЫН. Обжитый мир. <i>Стихи</i>	3
Алексей ТОРК. Релокант. <i>Повесть</i>	7
Анна ЗОЛОТАРЁВА. Что написано сердцами. <i>Стихи</i>	47
Александра СОРОКИНА. Перелётные. <i>Рассказ</i>	51
Владислав РЕЗНИКОВ. Новый мандарин. <i>Рассказ</i>	65
Константин ШАКАРЯН. Последнее время. <i>Стихи</i>	73
Александр БАРБУХ. Злые боги полей и могил. <i>Рассказ</i>	78
Владимир ЛИДСКИЙ. Два рассказа	91
Надя ДЕЛАЛАНД. Мой свет. <i>Стихи</i>	106
Евгения САВВА-ЛОВГУН. Когда цветёт шиповник. <i>Рассказы</i>	109
Евгений СТЕПАНОВ. Пусть краток день земной. <i>Стихи</i>	130
Марина КРАМСКАЯ. Несвятые. <i>Рассказ</i>	133
Илья ПРОЗОРОВ. Клён, который мы посадили. <i>Рассказ</i>	146
Микаел АБАДЖЯНЦ. Человек за спиной, или Попытка автопортрета. <i>Рассказ</i>	154
Александр ГОРОХОВ. Ирочка. <i>Рассказ</i>	167
Григорий КНЯЗЕВ. На вселенском сквозняке. <i>Стихи</i>	172

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ

XXII Международный литературный Волошинский конкурс на страницах «ДН». Вступительная заметка Андрея КОРОВИНА.....	176
--	-----

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Екатерина КАКУРИНА. В одном и том же. <i>Рассказ</i>	208
--	-----

МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШ ОМ

Аркадий ЛЕОНОВ. Животные на войне. <i>Рассказ</i>	213
---	-----

НАЦИЯ И МИР

Анвар АМАНГУЛОВ. Непрочитанный шедевр	215
---	-----

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Ганна ШЕВЧЕНКО. «Поэтический дар — мутация души». <i>Разговор ведёт Юрий Татаренко</i>	229
---	-----

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Олег СИДОРОВ. Путь Андрея Борисова: от «Желанного берега...» к настоящему и будущему. <i>Штрихи к портрету преобразователя культурного пространства</i> ...	235
Вера ХАРЧЕНКО. Выбор имени	242

XX ВЕК. АРХИВ

Лейла ШАХНАЗАРОВА. Чёрная шелковица, белая акация... ..	246
---	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. В ожидании ИИ	264
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. «А на Чистых прудах лебедь плывёт»	268
--	-----

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Символы культурного пространства Андрея Борисова	
--	--

Сергей Пагын

Обжитый мир

* * *

...И почудится — времени нет.
Эта птица, что впаяна в свет,
в бесконечную осень,
этих ив неподвижный пожар
и ветвей отражение — как дар
на блестящем подносе.

* * *

Где тайна есть, там тянется дорога —
она в окне, и пусть за ним стена, —
она живому зрению видна.
Так мальчик, вдруг застывший у порога,
не в сад глядит, а в будущность свою,
так куст осенний клонится к огню,
так рвётся сумрак из саманной клетки...

И я порою чую этот ветер.

На тех окраинах

На окраинах жизни что не повод для смерти?

Эмиль Чоран

На тех окраинах, где всё уже случилось, —
пропел петух, и липа отворилась,
впустив в себя не пчёл, а пустоту,
репейник высох, и погасли воды
озёрные, и тишина природы
в немую обратилась темноту,

Пагын Сергей Анатольевич — поэт, филолог. Родился в 1969 году в г. Единцы (Молдавия), где живёт и сейчас. Выпускник Бельцкого педагогического института. Автор шести книг стихотворений, среди них «Просто жизнь» (2017) и «Спасительный каштан» (2022). Лауреат премии журналов «Дружба Народов» (2022), «Наш современник» (2024), Русской премии (2024) и др. Постоянный автор журнала «Дружба Народов».

что делать мне?
Ещё не стал я прахом,
ещё объят и трепетом, и страхом,
и не изжил ни памяти, ни снов...
Горит звезда. Летит ночная птица.
И может быть, ещё со мной случится
и свет, и ветер,
мне несущий зов.

* * *

Помашу — не заметит
из своей тишины.
Человек на две трети
только память и сны —

в своих сумрачных ливнях,
в своих нежных снегах,
в золотистых и длинных
обжитых облаках.

Если б даже хотели
здесь продлить и сейчас,
стародавней метелью
вдруг окутает нас.

* * *

Медленно лист пролетает сквозь дым.
Вот провернулся ключом золотым
в скважине зыбкой воздушной —
и потянуло давнишней зимой,
детской румяной с мороза щекой,
сладкой слезой простодушной.

Моему соседу

«Приходи, посмотрим в моё окно,
там ночами такое идёт кино —
Бог стоит меж мёрзлых тыквин и кабачков,
ангелы тихо ходят или лежат ничком —
только крылья красным огнём горят,
и они о чём-то радостном говорят,
хоть их речь — лишь пенье одно в конце,
но поют о детстве, матери и отце...»

Я однажды ночью к тебе приду
и налью вина, разложу еду.
А потом мы выключим в доме свет,
чтоб увидеть то, чего в мире нет.
И быть может, ангелы нам споют
про ушедший праздник, былой уют,
нарисуют пламенем мне отца —
снеговых ветров или снов жилья.

Я приду,
включу в темноте окно,
и всю ночь мы будем смотреть кино,
фильм про то, чего в мире нет...
В огороде Бог зажигает свет.

* * *

Зимней тьмою долговязой,
горькой сумрачной водой
неотступно, неотвязно
бездна ходит за тобой,

становясь порою кошкой
или старым псом хромым,
то открыто, то сторожо —
шаг её неотвратим.

Бесприютна, бессловесна,
ходит, дышит за спиной,
пряча взгляд смертельный, бездна,
приручённая тобой.

* * *

Ястребиный простор. Вдоль дороги — охота.
Терпеливые птицы сидят на ветвях.
Безошибочный взгляд,
и мгновенность полёта —
и мышиная смерть в опустевших полях.

А на них лишь ветров одичалых шаманство,
и полёвку не спрячет ни бурьян, ни стерня.
Ястребиный простор.
Взгляд прямой из пространства
ледяным холодком проникает в меня.

* * *

Т.Н.

Никакого побега не надо,
шага в сторону,
взгляда за ветер...
Нам довольно пустынного сада
при закатном неистовом свете.

Это дерево, в небе летящее,
это музыки мощь бестелесная...
Это здесь... это вот — настоящее,
хоть земное оно, хоть небесное.

Ночью

Обжитый мир.
Исхоженные сны.
Но так порою хочется другого...

И долго тянешь невод тишины,
чтоб выловить мерцающее слово.

* * *

Я буду жить
и в яви, и во снах,
в земле гудящей, в птичьих небесах
и в светлой одуванчиковой сфере,
которая скудеет на ветру.
Я буду жить, покуда не умру —
и будут вновь распахнутые двери,
а там за ними — птицы, небеса,
зависшая над грушею оса
и стол, накрытый скатертью короткой,
и резкий запах скошенной травы,
и отраженье вечной синевы
в ковше с водой
доверчивой и кроткой.

Я буду жить.

Алексей Торк

Релокант

Повесть

Глава I, в которой автор со стыдом, но и с противоречивым чувством признается во лжи, ибо что есть неправда как не естественная основа мира?

С этой женщиной, мосей Евой, изменившей меня, я познакомился в селении под названием Джиенхон. А сутками ранее я сидел в трёхстах километрах от неё на лавке во дворе своего временного дома в Душанбе. Релокант из Волкогонска, разбитый и растерянный, я разглядывал песок под своими ногами.

Был вечер, и двор уже зарешетило теньями. Тучи, как волки, обложили небо — ночью, кажется, случится гроза. Забегая вперёд, скажу, что она и случилась, но не сейчас, а через ночь, когда, сверкая, она освещала сотворение нашего с ней мира. Ибо знайте, что грозы возникают при встрече очередного Адама с Евой, а не из-за каких-то атмосферных явлений.

Вскоре пришёл знакомый голубь. Его хвост запачкан белой краской. Я опознавал его уже безошибочно — два года назад я назвал его Валькирией, однако вскоре разобрался, что он — самец. И стал он Валькирием. Голубь остановился неподалёку и воззрился на меня. Он просил кусочек лепёшки или чего-нибудь другого.

Он и кот по кличке Рахим, меняя друг друга, вот уже два года приходят, когда я сижу на этой лавке. А сижу я здесь регулярно и в разных состояниях. И — довольный, срубив на лжи очередные сто долларов, и — расстроенный, как сейчас. Эта лавка — мой капитанский мостик. Я — капитан местных грехов.

Обычно коту и голубю я всегда что-нибудь даю, ибо восседаю либо с самбусой, которую покупаю у Абдулло, либо с лепёшкой, только вынутой из тандыра. Но сейчас я показал ему на личинок, которыми был усеян окрестный песок.

Алексей Торк (Алишер Ниязов) родился в 1970 году в Таджикистане, где жил до середины 1990-х. Работал в таджикских СМИ. С 1996 по 1999 год был корреспондентом ИТАР-ТАСС в Кыргызстане. Освещал военные конфликты в Таджикистане и на юге Кыргызстана. В 2010 году стал лауреатом Русской премии за рассказы под общим названием «Фархад и Ширин». Эти и другие рассказы Алексея Торка были впервые опубликованы в «Дружбе народов».

— Валькирий, сегодня у меня ничего нет, — произнёс я. — Я прогорел, ибо живу не по правде из-за того, что борюсь за своё существование. Но у тебя-то, у тебя всегда есть какие-то букашки, какие-то личинки. И потому ты можешь жить не кривя душой. Так оглянись же!

Валькирий оглянулся. И, вздохнув (ничего он не вздыхал, это я придумал для красоты), поплёлся к личинкам. Или куда он там поплёлся.

Вслед за ним пришёл кот Рахим. Иногда его подкармливают бараньим салом в чайхане «Самарканд», расположенной на углу. Туда-то он и направлялся, но по дороге приковылял ко мне, на всякий случай, и выпучил на меня свои наглые глаза (ничего не наглые, это я использовал штамп о котях).

— Привет и тебе, — с иронией произнёс я. — Ты пришёл к человеку, у которого нет даже того кусочка бараньего сала, какой ты получишь вскоре у Наргизы в летней кухне. Но ведь ты же зверь, зверь. Поймай кого-нибудь. Например... — Я огляделся. И ткнул пальцем в сторону Валькирия, клевавшего личинок у огромного камня под чинарой. — Вон его...

Кот как будто понял меня: пригнулся и начал было красться к голубю. Но тут я словно бы очнулся от морока и с криком замахал руками.

— Улетай, Валькирий! — воскликнул я, предупреждая птицу. — Улетай!

Голубь вспорхнул и уселся на ветку тополя.

Кот обернулся и глянул на меня саркастически. Он только что головой не покачал. И ушёл медленно, намеренно медленно, к чайхане.

— Свинья, — гневно прошептал я ему вслед. — Ты был готов сожрать существо, знакомое тебе два года, как минимум.

Впрочем, подумал я, кто тут свинья? Это ведь я показал коту на его товарища. Я вздохнул от отвращения к себе...

К тому же все остались мной недовольны — и кот, и голубь. Личинки тоже, наверное. Мной вечно все недовольны.

А здесь, в Азии, ко мне ещё и равнодушны, и тут хотелось бы написать, что и плевать на Азию, но лгу я только по профессиональной надобности.

Мне не было плевать на Азию. Только она могла дать мне сейчас какое-то количество денег, ибо я хотел есть, я хотел закурить и по возможности выпить, но денег у меня оставалось лишь три сомона мелочью. Самбуса у Абдуллы, между тем, стоила не меньше пяти сомонов. Самая дешёвая, она полна одного горького лука. Так полна одной лишь горечи жизнь всякого порядочного человека.

Впрочем, я не являюсь порядочным человеком. Накануне выгнали сразу с двух работ — за ложь и мошенничество.

Причиной тому стала заметка о «пьяной картошке», которую я продал одновременно двум изданиям — таджикской газете «Ариана Ваеджа» и питерскому историческому журналу Nevsky-line. Я написал о новом сорте картофеля, который получили таджикские селекционеры.

Когда-то, во времена СССР, они действительно вывели тот самый знаменитый сладкий сорт лимона, скрещенного с апельсином.

Теперь же, утверждал я, они скрестили виноград с картошкой. И вывели первый в истории продукт, являющийся спиртным напитком и закуской

одновременно. В результате естественного брожения винограда в картофеле. Я сообщил о результатах клинических испытаний, в ходе которых десять таджикских добровольцев продемонстрировали достоверные признаки опьянения, а содержание алкоголя в их крови достигло 3%.

Я написал, что ближайшей зимой картошка будет представлена в Москве на выставке ЭКСПО. «Таджикские селекционеры дали новому сорту чарующее название — “Поцелуй из-под чадры”, ибо картофель пьянит, как женщина, ибо мерой всего является женщина, ибо разве не делается всё ради женщины?» — завершил я эту заметку.

Такие фальшивки я строгал в то время десятками. Однако эта — вызвала немедленный скандал, причём на официальном уровне.

В неё я уместил сразу две темы, неуместные в приличной восточной стране: темы эротизма и алкоголя. Кто-то скажет: а как же Омар Хайям? А как же этот гений из Нишапура, сообщавший много любопытного на эти темы?

Но вам ответят в Душанбе, и не исключено, что это будет полицейский чин, занимающийся вопросами депортации: «Омару Хайяму мы это разрешаем. А позвольте узнать вашу фамилию».

В итоге министерство культуры Таджикистана опубликовало на своём сайте сообщение, в котором потребовало от Nevsky-line убрать порочащую республику заметку. А местную «Ариану Ваеджу» едва не прикрыли.

Россияне молниеносно сняли заметку. Таджикское издание вынуждено было печатать покаянное письмо с обязательством в течение трёх месяцев покаяться ещё три раза. Отдельным пунктом газета обязалась возвести в своём дворе памятник таджикскому классику Абу Абдулло Рудаки и проводить возле него редакционные совещания.

В итоге меня изгнали из обоих изданий. И хуже всего, что и все прочие российские СМИ, прослышавшие обо мне, немедленно сбрасывали мои звонки. Не говоря о таджикских.

— Извини, Алексей, мы прекращаем сотрудничество, главред был непреклонен, — сказал мой куратор в Nevsky-line Олег Брянцев. В этом издании я подписывался дурацким псевдонимом Мулла-Юла. — Ты ужасно подвёл нас. Нельзя продавать товар двум покупателям. Да ещё и под эротическим заголовком... — сказал Олег.

— Вас смутил эротический заголовок?

— Нас смутил звонок из нашего МИДа, в котором пообещали, так сказать... — замялся куратор.

— ...Нечто эротическое, — помог я ему, желая уже завершить тяжёлый разговор.

— Если мы ещё раз тронем эту чудесную страну, — подтвердил Брянцев.

Мы послушали с минуту собственное молчание, а затем Олег сказал грубым голосом, что какая-то часть гонорара за картошку — пять тысяч рублей — мне всё же переведена на карточку.

Брянцев — святой. Скорее всего, зная мои обстоятельства, он послал их из собственного кармана.

Его денег мне хватило на пять дней. Я провёл их здесь, во дворе, на лавочке, с перерывом лишь на сон. Я пил пиво банку за банкой, ругал себя, думал обо всём, чертил окурком по песку слово «дебил», подкармливал самбусами Валькирия и Рахима. И они, деньги, как раз накануне закончились.

Такая история. История о том, как я загубил успешное производство поддельных восточных новостей, которое в те дни как раз набирало обороты. Азия, пропущенная через моё воображение, давала приличный доход.

Я писал обо всём загадочном и экзотическом, происходившем в Центральной Азии, вернее — в безудержной моей фантазии, обострённой необходимостью снимать квартиру за триста долларов и питаться в этом вовсе не дешёвом городе.

Хорошо, например, прошёл репортаж о гареме из трёхсот наложниц, скрытом на окраине Душанбе. Заведением якобы владел богатый афганец, а проник я туда будто бы, сумев устроиться рабочим котельной.

Редактор «Арианы» — высокий таджик с огромным обручальным кольцом — пожурил меня, сообщив, что этот гарем находится не в Душанбе, а в Вахдате, но текст менять не стали и заплатили хорошо — пятьдесят долларов.

Однако подлинный куш, целых пятьсот долларов, я получил в Nevsky-line за статью о киргизском происхождении газона во французском Версале. Я написал её, заметив однажды удивительное сходство газонного рисунка Версаля с киргизским национальным орнаментом. Этот факт просился в какую-нибудь романтическую историю. И я написал таковую.

Я сообщил об истории любви, случившейся между младшей женой киргизского князя и французом Люсьеном. Последний, по моей версии, являлся братом версальского садовника Буассонвиля.

Сославшись на несуществующую книгу «Хвойные композиции Версаля», написанную французским мифическим писателем Нарсисом Бонье и будто бы изданную в Париже ограниченным тиражом в 1939 году, я рассказал, что этот садовник, служивший при Людовике XIII, однажды послал брата Люсьена в далёкий Китай. Люсьен сделал всё прилежно — записал и зарисовал чудо-сад Тяньаньшэн, а затем, возвращаясь в Париж через киргизские горы, завязал роман с юной женой местного правителя. Это произошло во время того, как он остановился на ночёвку в одной из юрт князя.

При расставании заплаканная киргизская красавица вручила юноше на память коврик-накидку на седло. Он был расшит ею лично национальным орнаментом. С этим ковриком, свёрнутым в рулон, Люсьен и вернулся в Париж.

«По пути он нередко разворачивал подаренный любимой коврик, расшитый диковинными узорами, и прижимал его к глазам. Увы, во Франции коврик вскоре сгорел в пожаре, случившемся в доме садовника Буассонвиля, — сообщалось в заметке. — Юноша горевал безмерно. С туманным взором бродил он по дорожкам Версаля. И однажды утром версальский газон покрылся новыми узорами. Эти узоры в точности повторяли орнамент коврика киргизской красавицы. Утром Людовик XIII, глянув из окна, воскликнул: “Mon Dieu, quel miracle!” И, восхищённый, вызывал садовника, чтобы премировать его денежной суммой. Однако Буассонвиль отказался от денег.

Он сообщил королю, что это дело рук его младшего брата Люсьена. И всё, что брат хочет в качестве награды, — это разрешение использовать этот дорогой его сердцу орнамент при стрижке королевского газона и впредь».

Людовик XIII, прозванный, как известно, Справедливым, такое разрешение дал, рассказал якобы Нарсис Бонье.

«Бродя в наши дни по дорожкам версальского парка и разглядывая киргизские узоры, помни, читатель, о вековой любви, соединяющей цивилизации и континенты», — так завершил я заметку.

Статья была выгодно сбыта в Nevsky-line. Да и вообще хорошо прозвучала, особенно в соседней Киргизии. Оттуда вскоре мне пришло сообщение из института истории от местного академика Каната Ибраева. Он благодарил меня и просил указать выходные данные книги Нарсиса Бонье.

«Мы хотим распространить эту книгу в наших вузах и вообще организовать её переиздание в Киргизии, — написал академик. — Мы хотим гордиться нашей историей, раскрывая её неизвестные и величественные страницы...»

Я благоразумно отмолчался.

А затем кутил неделю вместе с Валькирием и Рахимом. Мы устроили из лавки во дворе ресторан «Метрополь» — самбусы я покупал у Абдуллы только с начинкой из перепёлок, за пятьдесят сомони, местного вина я накопил также самого дорогого. Оно называлось «Рубиновое». Его цена — пятьсот сомони — намекала, что вино содержит толчёные рубины.

Повариха Наргиза, готовившая неподалёку ежедневно самаркандский плов, смотрела на нашу троицу, на наш кутёж, с удивлением и осуждением.

В тот день я угощал вином даже моего участкового милиционера Шухрата — очень смуглого доброго парня.

А потом пришли они.

В Nevsky-line стали названивать мужчины в огромных роговых очках и в старых джинсах. Это были историки, которые принялись громить в пух и прах мою статью о версальских узорах. Их неустойчивость поражала. Лишённые, без сомнения, в силу своей занудности, женского общества и потому располагающие избытком времени, эти люди сообщали, что во времена Людовика XIII Версальского парка ещё не существовало, «о чём знают даже школьники». А версальского садовника под именем Буассонвиль не существовало вообще никогда. Как, кстати, и писателя Нарсиса Бонье.

«Не знаю, кто такой этот Мулла-Юла, но утверждаю, что он является обычным продавцом экзотики, лишённым, к слову, не только совести, но и нормального образования», — написал в своём блоге атаман всей этой учёной шайки питерский историк Вишневецкий.

Олег потребовал объяснений. В смысле, он захотел ознакомиться с первоисточником — трудом писателя Нарсиса Бонье. Я сообщил ему, что книга существует, но в единственном экземпляре, которым владеет таджикская Национальная библиотека и куда меня имели честь однажды пустить.

— Однако, увы, недавно книга Бонье, как и в своё время коврики красавицы, сгорел в странном пожаре, — сообщил я Брянцева. И нагло

добавил: — Хочешь, сделаю статью об этом всего за сто пятьдесят долларов. Там много мистического.

— Спасибо, Алексей, надеюсь, это в первый и последний раз, — предупредил Олег.

Да, киргизские узоры мне тогда простили. «Пьяную картошку» — нет, что, в общем, объяснимо. Двойных агентов нигде не прощают.

В завершение всех этих неприятностей недавно позвонил участковый Шухрат. Он предупредил, что разрешение на временное проживание власти мне, скорее всего, не продлят из-за скандала с картошкой. И посоветовал:

— Акои Алексей, говорю вам как брат, не дожидайтесь неприятностей, уезжайте. В Киргизию, на Луну...

Что же, думал я, разглядывая свои ботинки во дворе, теперь буду думать о Киргизии.

Академик Ибраев, встретив меня там, пожалуй что, и побьёт. Да и чем я займусь в Бишкеке? Вновь экзотикой? Или на этот раз лучше рвануть в Ташкент и заняться торговлей полушёлком?

Два года назад, только прибыв в Душанбе из Волкогонска, я выбирал между ним и экзотикой. Первый вариант предусматривал организацию поставок на ивановские предприятия таджикского адраса — дешёвого, но качественного полушёлка. Второй — продажу восточной экзотики.

Я остановился на экзотике. Всё же я журналист. Плохой и ленивый журналист из Волкогонска. Который, как я уже сообщал, на удивление бойко повёл дело в Азии. И если бы не прокол с картошкой, то...

И вот я сижу на лавочке посреди двора, посреди Азии — без денег и планов, но с ощущением, что что-то должно произойти. Я чувствовал это, ещё выходя из самолёта.

Глава II, в которой я описываю свой путь в Азию, полный естественных для Востока чудес

Решение покинуть свой крошечный городок в Ивановской области я принял два года назад за столом, поглощая утреннее яйцо. В итоге я его даже не доел.

Я вынул паспорт из нижнего ящика комода, из среднего — все деньги, что там были, из верхнего — стопку белья. Бельё кинул в спортивную сумку, лежавшую поверх того же комода.

Я уходил с мыслью, что «навсегда». Я не был осознанным противником войны против Украины, которая разразилась незадолго до этого, в феврале. Все мои действия в тот момент диктовались обыкновенными рефлексам. Например, холодно-жарко. Это — как хвататься за чайник на плите. Вдруг ты ощущаешь, что он раскалён. Поэтому...

Поэтому двадцать четвёртое февраля меня обожгло. Я даже не стал отправлять заявление об увольнении из газеты «Наш Волкогонск», где работал

скучным ленивым корреспондентом, лишённым, как говорят в журналистике, профессиональной искры.

Если меня и не увольняли оттуда, то только потому, что главред Стреляная и её зам Стреляный, он же ответственный секретарь (они не супруги или родственники, а однофамильцы, и их не путали только из-за разности полов) были людьми ещё более ленивыми и скучными. Ибо в провинциальных газетах даже увольнение сотрудника — событие яркое, требующее проявления воли. Я не осуждаю их. Сам был таким же. Таким был весь наш Волкогонск, ставший городом в 1815 году. Но возник он раньше, при воеводе времён Ивана Грозного Григории Протасьева как сторожевой пост на рубеже между Литвой и Россией. Люди Протасьева были посланы туда для борьбы с волками, которых в местных лесах было не меньше пчёл. Азартная, бесстрашная охота на волков продолжалась в Волкогонске не менее двухсот лет. Следы этой борьбы остались не только в названии города, но и в старых фольклорных пластах — песнях трудовых, обрядовых, в наигрышах и припевках. Я подозреваю, что легендарный «серенький волчок» из колыбельной первоначально — наш продукт. Многие фамилии людей нашего города говорят о том времени. Волков, Волчков, Стреляный. Моя собственная фамилия Бирюков, Алексей Бирюков, Бирюк — так называют волка-одиночку.

А потом, как я предполагаю, произошёл надлом. Двухсотлетняя битва с волками забрала все наши силы, тем более что нам предлагали также охоту на людей, а в какие-то исторические периоды охота велась и на нас, отняв много крови, сил и, как следствие, — способность фантазировать. Да, я неслучайно говорю об этом, ибо инерция, скука и — в результате — распад побеждаются фантазией, и только ею. Всякое дело — большое и малое — рождает вначале фантазия, но его же убивает её родная сестра — ложь, ведущая своё происхождение от усталости или потребности в выгоде. Какая между ними разница?

Об этом моя история.

Итак, решив уволиться из газеты и покинуть свой город, в одно утро я просто вышел из дому и пошёл с сумкой через плечо по липовой аллее.

Наш дом — бывшее хозяйственно-административное здание волкогонского парка. Мой отец выкупил его в начале 90-х. До этого он два десятка лет работал смотрителем этого парка. Дом располагался в начале аллеи. Завершалась она остановкой трамвая, которая так и называлась — «Липы». Аллея почти всегда пустовала.

Этому способствовали установленные тут знаменитые четыре скамьи из буковых брусьев. Лет пять назад городу их подарил известный московский художник Семён Кованцев. Он родился и вырос в Волкогонске. Семён — поклонник всего греческого и античного. Он же являлся автором дизайна скамеек. Их спинки представляли собой чёрное стальное литьё, изображающее голову Медузы Горгоны. Волкогонцы, даже пьющие, отказывались сидеть там, где развевались чёрные стальные змеи, грозящие вот-вот вцепиться им в спины. Оттого аллея всегда пустовала, что нам было только на руку — фактически она являлась собственностью нашей семьи.

По ней-то я и уходил в Азию.

До трамвая меня сопровождал отец, который плёлся позади и прокашливался, намереваясь словно бы что-то произнести. И не произнёс. И почти ничего не произносит уже третий год подряд, с тех пор, как умерла мама от сахарного диабета. Да, это у нас ежедневно. Завидев меня, по утрам или возвратившегося с работы, отец растерянно улыбается, берёт за рукав. И молчит. У него постоянно растерянное лицо. Такое выражение бывает у человека, когда он только-только потерял где-то, скажем, на прогулке, крупную сумму денег, когда у человека ещё нет злости, но уже проступила на лице растерянность. «Вот же, вот же, только что были... В этом кармане».

Иногда он выходит на аллею к семнадцати часам и ждёт маму, возвращающуюся с работы.

Я на всякий случай проконсультировался с врачом, в смысле, с коллегой по редакции Мишей Грачом, бывшим психотерапевтом. Его выгнали с прежней работы за то, что во время приёма он укусил за ухо неприятного пациента. Потом Миша, в отличие от меня, сумел прорваться в Стамбул. Сдав квалификационный экзамен, он вновь занялся психотерапией. И мне страшно за стамбульцев.

Так вот, он объяснил мне, что у моего отца обычная абулия — потеря воли на почве депрессии.

— Заведи жену... то есть, прости, женись, — посоветовал Миша. — Дети, семья, соответствующая атмосфера, — это поможет ему.

— Это и мне поможет, — сказал я. — Но завести я пока могу только кошку.

На трамвайной остановке я, почти не глядя на отца, пожал ему руку.

И предупредил:

— Я уезжаю навсегда.

Он вновь засуетился.

— Навсегда, — повторил я.

Он кивнул. И помог мне, толкая сзади, продраться с сумкой сквозь людей в вагон.

За те пятнадцать минут, что он вёз меня к железнодорожному вокзалу, откуда я отбывал в Москву, слово «навсегда» я мысленно произнёс несколько раз.

Пограничница, спросившая в аэропорту Шереметьево о «цели поездки», получила тот же ответ: «Навсегда». Она с интересом и даже с некоей искрой в глазах глянула на меня. Женщины, даже на службе, даже в погонах, ценят в мужчинах сильные, необычные эмоции. Она поставила печать в паспорте и грубо сказала парню, следовавшему за мной: «Шевелись, дезертир».

Я обернулся на него. Его лицо показалось знакомым и, напрягшись, я вспомнил, что видел его в прошлом году в своём Волкогонске среди членов организации «Русский бой». Они тогда громили узбекский рынок.

Сейчас, обронив паспорт на пол и опустившись на колени, он никак не мог зацепить его пальцами. На его обнажившейся шее, ниже уха, я сверху разглядел полустёртые эсэсовские руны... Его буквально трясло от волнения: кажется, его пугала поездка в Среднюю Азию, в Душанбе. Думаю, он намеревался оттуда отбыть куда-нибудь, в тот же Стамбул, как делали многие релоканты.

Не то — я. Я без всякой тревоги отбывал в неведомый Таджикистан, о котором прежде знал лишь, что он существует. Об Азии я знал только

по мигрантам и по рассказам о приключениях Ходжи Насреддина из книги Леонида Соловьёва, прочитанной в детстве. Из Соловьёва я понял, что Азия — всегда одно большое приключение.

Так и оказалось, и мои приключения начались уже в самолёте. Хотя, говоря строго, в данном случае это было приключение таджички с огромными глазами. Едва мы взлетели, сидевшая впереди, она принялась рожать. Я запомнил её ещё при регистрации в Шереметьево, хотя неясно почему.

В терминале, с огромным животом, она останавливалась и замирала, передыхая, через каждые пять-шесть шагов. Какой-то парень в жёлтой бейсболке плёлся спереди. Он тащил её огромную сумку. Донеся сумку до ленты багажа, он попрощался с ней, получив поцелуй в щёку. Затем сказал ей что-то. Она заплакала и пошла на посадку.

В самолёте она заняла место в переднем ряду возле перегородки перед отсеком для экипажа. Она долго ёрзала, пытаясь удобнее устроиться в кресле. Я видел сзади, как её белые кроссовки сновали по полу.

Мы начали взлетать. Я закрыл глаза и почти уже ушёл в сон, как вдруг услышал журчание. Открыв глаза, я увидел внизу под её креслом растекавшуюся на синем коврикe лужу — прямо у её левой кроссовки. Затем лужа по наклонённому полу — самолёт продолжал набирать высоту, — потекла назад, в мою сторону. Я приподнял ноги и приник к щели между креслами, чтобы посмотреть, что там происходит. Женщина сидела, наклонясь к коленям и стонала.

— Господи, она рожает! — раздался возглас стюардессы, находившейся в хвостовой части самолёта.

Из-за занавески спереди выскочила её напарница. Прижав пальцы ко рту, кинулась обратно, и оттуда, из отсека для экипажа, выбежал командир корабля — парень с выпуклыми зелёными глазами, похожий на лису или финское божество.

Он сориентировался молниеносно: подхватив женщину под локти, увёл её за занавеску. По дороге выкрикнул бортпроводницам: «Полотенца и воду! — И из-за занавески вскоре раздался его голос: — Дыши, дыши!»

Послышалось хриплое дыхание таджички вперемешку со стонами. Затем она стихла. Самолёт уютно встряхивало. На несколько минут воцарилась удивительная тишина, такая, что я даже умудрился заснуть.

Мне вдруг приснился странный сон, что я плыву по некоему озеру... И вдруг погружаюсь, добровольно, жадно обшаривая взглядом розоватое дно...

Закричала роженица. Я проснулся. В этот момент раздался и крик младенца. А в салоне грянули аплодисменты. Таджики и командированные россияне приветствовали это вечное чудо — появление человека. Почти театральная сцена. Вскоре занавеска театра, то есть отсека для экипажа, отдёрнулась. На пороге стояла женщина, которую сзади придерживал командир. Он был в рубашке, расстёгнутой до пуза, без галстука и тяжело дышал.

Он довёл женщину до её места и усадил, откинув кресло. Далее на сцене, растерянно улыбаясь, показалась стюардесса с младенцем, обёрнутым белоснежным служебным полотенцем с видневшимся на нём красным логотипом —

Istwind Airlines. Стюардесса вручила ребёнку маме. Та сидела, от смущения не смея поднять глаз. Она приняла младенца и сказала капитану со слезами на глазах:

— Извините, ако¹.

— Прекрати! — строго ответило финское божество. Парень всё ещё тяжело дышал. — Всё на свете бывает... Вот, пару лет назад писали, что некая женщина, тоже из Средней Азии, родила в тайге, в Сибири, прямо на остановке. Она ожидала автобус до Северобайкальска. Так там приняли троё нефтяников, возвращавшихся со смены. Выскочили, перепуганные, из автомобиля, ополоснули руки пивом, перекрестились и... Родила как милая! Здорового пацана!

Капитан неожиданно захохотал.

Женщина ещё ниже опустила голову и сказала:

— Извините, ако. Это была я.

Капитан наклонился и ткнул указательным пальцем в тот участок полотенца, где, предположительно, находился пупок младенца, и сказал:

— Добро пожаловать на борт Иствайнд Эйрлайнс...

По прилёте у трапа женщину с младенцем приняла «скорая».

Спускавшийся последним, я проводил взглядом удаляющийся по бетонке автомобиль с надписью «Ерии таъчилӣ», а затем перевёл взгляд на пурпурные в этот вечерний час местные горы, очерчивавшие всю линию горизонта. В это мгновение на востоке в горах что-то будто вспыхнуло. Так бывает, когда отгоревшая, казалось бы, ветка в костре вдруг щёлкает и искрит напоследок.

«Это знак. Тут что-то ждёт меня», — подумал я тогда.

Глава III, в которой не ясно, зачем описывается, почему европейским мужчинам не стоит знакомиться с восточными плавными женщинами

Я продолжал разглядывать песок у своих ботинок. Со стороны Белого базара потянуло запахом самбусы. Её только вытащили из тандыра. Сейчас Абдулло, повар, будет смазывать самбусу горячим маслом. Невыносимость этого запаха усугублял девичий смех. Он доносился откуда-то из распахнутого окна. Это смеялись местные гибкие женщины, которые в эти вечерние минуты готовятся к романтическим приключениям.

Вскоре на улице Невыносимых Наслаждений (формальное её название — Проспект имени Энгельса) расцветут лиловые фонари. На этой улице в ряд выстроены лучшие заведения города — кафе, рестораны. В их венецианских окнах обрисуются мужчины, которые, склоняясь к ушам своих спутниц, будут сообщать им вежливую ложь, в ответ получая милую неправду.

Смех, отсветы перстней и украшений в лиловой полутьме кафе... Лиловые женщины, лиловая Азия...

¹ Уважительное обращение к старшему (*тадж.*).

У стен чайханы «Самарканд», в летней кухне-беседке, тем временем появилась Наргиза. Молоденькая повариха, специалист по самаркандскому плову.

Понятно. Значит, уже около двадцати часов времени. У беседки взад-вперёд вышагивал Рахим в ожидании своего курдюка, — курдюк, пока сырой, бело-розовый, виднелся на столе кухни. Минут через тридцать в виде мелких кусочков курдюк последует в казан, и начнётся таинство зирвака — основы для плова. Пару раз я пытался приготовить в Душанбе плов, но все попытки закончились катастрофой. И не оттого, что я не знал технологии приготовления — сотни раз видел, как это делает Наргиза, — нет. Причина была в том, что я, готовя, думал о чём-то другом. А это непростительная ошибка, ибо плов мстительный, как кошка. Он не терпит к себе пренебрежения. Попробуйте приготовить его не в настроении — и он ответит вам комками или вкусом «настоящего узбекского плова», приготовленного в блинной под Смоленском.

Оба эти неудачных два раза я пытался готовить плов, словно бы поскорее отвязаться от него. И — пожалуйста: оба раза забыл сделать зирвак — сыпал морковку в приготовленное мясо, затем, неожиданно для себя самого, сразу сыпал рис и после залил водой. За такие штуки, как мне рассказывали местные старики, до прихода соввласти в Бухаре помещали в зиндан возле крепости Арка и назначали удары плетью по пяткам.

И после этого в Бухаре ещё лет тридцать люди говорили: «Видишь того старика? Это двоюродный брат того самого, который приготовил плов без зирвака». И слушатель прикладывал пальцы ко рту и потрясённо молчал.

Поэтому ноги моей не будет в Бухаре. Ко всему ещё и ударов по пяткам не хватало...

Впрочем, я туда и не собирался.

Да и эту историю про Бухару и удары по пяткам я придумал. Годом ранее тут же, на скамейке. Я собирался продать кому-то материал про плов. Но как-то не срослось... Правда тут только в том, что плов у меня действительно не получился два раза...

Наргиза тем временем протёрла казан тряпкой и водрузила его на обмазанный глиной очаг. Затем она солила рис, подбирала изящно хворост. Она словно бы исполняла восточный танец.

От нечего делать я принялся угадывать очертания её тела под красным платьем. В ответ она улыбалась, изгибая розовые губы, не знающие помады, — символическая для нас обоих игра. Наргиза для меня предельно недоступна. Я и попыток не делал, чтобы познакомиться, ибо восточные женщины, конечно, загадка, но не всегда. Наргиза — плавна, и это означает полное довольство в личной жизни. С уст такой восточной женщины не сходит неуловимая улыбка, но не обманывайтесь, советую я европейцам, — она не для вас, потому как на Востоке, в отличие от Запада, от добра добра не ищут. У Наргизы — зарабатывающий муж, у неё неплохая работа. И поэтому она танцует сейчас у очага, словно бактрийская богиня. Приколите памирский тюльпан к её волосам — её улыбка станет ещё загадочней, движения — ещё более быстрыми, но из-за плавности движений этот цветок в её волосах не сдвинется ни на миллиметр.

Поэтому, вновь говорю я европейцам-ловеласам, не тратьте сил на восточных женщин, отмеченных вот такой плавностью движений. Будете потом разочарованно бормотать нечто вроде «Шаганэ ты моя Шаганэ, потому что я с севера, что ли». Посреди этих размышлений мне и позвонили...

**Глава IV. Я получаю работу и размышляю о том,
что солнце наконец прорвало тучи — то есть совершаю ошибку,
которую совершают миллионы**

Звонил помощник некоего полковника Деваштича, лейтенант Исаев. Он сообщил, что «товарищ полковник» хочет, чтобы я написал о нём статью.

— Товарищ полковник читал вашу статью о любви таджикского яковода к русской княгине, жившей в Лондоне, которая в итоге переехала к нему на Памир. Товарищу полковнику понравилась эта история, — сказал юный голос.

Я кивнул. Мне тоже нравилась эта история, принёсшая мне сто долларов. В ней повествовалось о любви между русской аристократкой, княгиней Марией, и памирцем по имени Джума Пирназаров. Он являлся местным яководом и однажды завязал переписку с интересной женщиной, фото которой увидел в журнале при растопке костра. И недавно они воссоединились в Рушане, на Памире.

Журналисты европейских изданий после выхода статьи кинулись названивать в британское посольство в Душанбе с просьбой уточнить историю. Раздражённый пресс-атташе, англичанин, отвечал им, что гофмейстера Мария, безусловно, не имела бы ничего против знакомства с таджикским яководом, однако она не могла приехать к нему на Памир по той причине, что скончалась в 1975 году на Мальорке в возрасте девяносто двух лет.

— Товарищу полковнику тоже нужна история. Он расскажет её вам в Джиенхоне. Он заплатит вам...

Исаев назвал сумму, я присвистнул.

— Он сказал мне найти именно вас, и я вас нашёл через газету «Ариану Ваеджу». Сейчас я стою у фонтана. Это возле кинотеатра «Джами». Я могу заехать через час.

— Я согласен, — ликующе прошептал я. — Встречу вас у арки.

Исаев отключился.

Я посмотрел на экран телефона, а затем в небо. Кажется, ко мне вновь пришла удача, и я даже вскрикнул от радости. И Наргиза, и жующий кот Рахим, изо рта которого торчал хвостик курдюка, повернулись и посмотрели на меня. Изумление в их глазах сменилось тревогой.

Я беззаботно показал им большой палец и побежал вниз, к автотрассе, где находилась арка — беломраморная дуга, увенчанная золочёной короной — гербом города Душанбе. Арка обозначает центр города. Сбоку от неё стоял продуктовый ларёк.

Прячась за густыми ивами, расположенными позади этого ларька, ибо я был должен его продавцам за взятые в кредит в какой-то непростой период продукты, я вскоре дождался уазика лейтенанта. Едва автомобиль показался на пустынной в это вечернее время дороге, моё сердце учащённо забилося. Чем ближе уазик, раскрашенный всеми оттенками защитного зелёного цвета, приближался ко мне, тем сильнее я понимал — ко мне приближается моя судьба. Вероятно, это поняли и кот Рахим, и повариха Наргиза, провожавшие меня тревожными взглядами... Женщины и кошки имеют особый дар интуиции.

— Салом аллейум, акои Алексей, — приветливо сказала голова, высунувшаяся из окна.

Исаев и в самом деле оказался юным парнем. Скорее рыжий, нежели каштановый, белокожий и при этом неожиданно черноглазый, он более напоминал лукавого сельского мальчишку, чем военного. Исаев обошёл машину и усадил меня спереди, поддерживая под локоть, как даму.

Я устроился внутри поудобнее и подал ему руку.

— Алексей. Он же Мулла-Юла.

Пожимая ладонь, юноша ответил с улыбкой:

— Исаев. Он же Исаев.

Парень прекрасно говорил по-русски. Не выдержав, я тут же спросил его, откуда такое владение языком.

— Я учился в Московском высшем общевойсковом училище, — пояснил он. И добавил: — Как и товарищ полковник. Я его племянник. Коротко расскажу о нём по дороге.

По дороге Исаев, управляя баранкой локтями, отсчитал мне небольшой аванс — триста сомонов. Из-за чего на выезде из Душанбе ему пришлось дожидаться меня на стоянке у придорожного кафе. Из него я вышел с сигаретами, шоколадкой и двумя бутылками любимого «Гиссарского виноградного». Именно из него, возможно, я и почерпнул вдохновение при написании скандальной заметки о виноградной картошке. И мы полетели в Джиенхон — высокогорное село, расположенное в трёхстах километрах к востоку от Душанбе, как пояснил Исаев.

По пути он, как и обещал, кое-что рассказал о шефе.

По его словам, полковник являлся героем местной гражданской войны 90-х годов.

— Его портреты когда-то печатали все наши газеты, — объяснил Исаев. — Например, известны такие его операции, которые он провёл в феврале-марте девяносто четвёртого года... — И он повёл долгий рассказ о каких-то десантах в припамирских долинах.

Увы, истории о войнах и смертях всегда плохо продаются, поэтому я слушал лейтенанта вполуха, более представляя себе, куда я потрачу немалую сумму, обещанную полковником. Однако вскоре прозвучала фраза, которая заставила меня внимательно глянуть на рассказчика.

— ...И даже не пожалел отца-мать, когда надо было расправиться с врагами нашего народа...

С этого места я слушал лейтенанта, отмечая мысленно каждый абзац. Так некогда менялы, принимая монеты от клиентов, надкусывали каждую из них, прикидывая содержание золота или серебра.

История, рассказанная Исаевым, была о том, что Деваштич ударил из танка по родительскому дому. В феврале 1992 года враги Деваштича ворвались в его родовой дом и взяли в заложники родителей полковника. Тот окружил дом силами танковой роты и вышел на связь с главарём банды по кличке Художник. Бандит попросил Деваштича дать ему коридор для прохода в Афганистан и поклялся отправить назад его родителей, как только выйдет на берег Пянджа.

Полковник кивнул. «Я дам тебе коридор. А ты не причиняй им зла, ибо разорвёшь моё сердце». «Не сомневайся, Деваштич», — ответил Художник, успокоенный его реакцией.

После этого полковник сел в командирский танк, подъехал поближе к дому и образцово, в упор, вlepил по родовому гнезду.

Большинство его врагов, Художник в том числе, сразу погибли в полыхающих развалинах. Родители же Деваштича каким-то чудом остались живы, только слегка обгорели — люди полковника, ворвавшись в дом, вытащили их уже спустя минуту. А оставшихся в живых врагов, конечно, не вытаскивали, а наоборот, тех, кто выскакивал из дома, автоматными очередями загоняли обратно...

— Смеху было... — сказал Исаев, завершая рассказ.

Я покачал головой. Это точно не продаётся. И отвернулся к окну, разглядывая пейзажи.

Наш путь лежал в неведомый Джиенхон. Небо было покрыто пухлыми облаками, уже тающими. Между ними ясно светили звёзды. Лейтенант с полуулыбкой молчал. Я съел шоколадку и теперь прикладывался к бутылке.

Стало легче и грустней. Мы неслись среди бесконечных хлопковых полей. Кое-где попадались придорожные чайханы. Я оборачивался на каждую. За два года жизни в этой стране я полюбил их.

Облика печального и нежного, спелёнутые дымом, восточные чайханы есть оставленные Богом приметы рая. Сидя в них, я неоднократно замечал, как в некие часы, ближе к закату, посетители, и неважно кто — бандиты, доктора, какие-то мелкие местные правители — вдруг начинают что-то вспоминать, склоняясь над пиалами с чаем. Возможно, они вспоминали цвет некогда купленного отцом игрушечного грузовика.

«Помнишь, помнишь?» — подсказывают им золотые фазаны в клетках, подвешенных к балкам.

Вот тогда чайхана и становится приметой рая. Ибо рай, конечно, есть тихая грусть, и больше ничего...

Глава V, в которой я ем плов и знакоюсь с добродушным полковником

Вскоре стало совсем темно — мы въехали в горы. Уазик, дрожа, полез на перевал. Пару часов мы нарезали круги вокруг какой-то горы. Всё выше и выше — мы поднимались к свету уходящего солнца, и казалось, что вот-вот мы достигнем порога рая. Однако — мгновение! — и мы стремительно помчались вниз. Как два низвергнутых ангела, мы свалились во тьму долины и поехали вдоль реки, несущей потоки тёмного хрусталя.

— Подъезжаем, — предупредил Исаев.

По правую сторону показался Джиенхон, вернее, сначала бурьянный пустырь, предваряющий его.

Вскоре лейтенант вывернул с дороги на единственную (как я установил позже) улицу села. Уазик достиг небольшого гравийного пятка, посреди которого был установлен гранитный памятник президенту Шарипову. Здесь он со вздохом притормозил.

— Мы на месте, акои Алексей. Это дом товарища полковника. — Он показал в лобовое стекло. — Проходите туда смело и обживайтесь. Товарищ полковник позвонит вам утром.

Я уточнил:

— А его жена или кто ещё тут есть?

— В доме жены нет... Первой жены. Но у товарища полковника есть вторая, и её зовут Себарга. Она живёт во флигеле и вас беспокоить не будет... А вы — её. Правда же, акои Алексей? — улыбнувшись, с неожиданным железом в голосе добавил парень.

Я пожал ему руку и вывалился из уазика, придерживая снизу пакет с бутылками.

— Кровать-покушать всё приготовлено, — крикнул мне вслед Исаев.

Не оборачиваясь, я поднял руку. Уазик рванул вперёд, чтобы протаранить соседний дом, но почему-то не протаранил — он ювелирно пролетел по тропинке между глинобитной стеной дома и краем пшеничного поля и исчез.

Стояла полная тьма. Я не мог даже разглядеть дом полковника. Единственное, что бросалось в глаза, — он большой и кирпичный. Справа к нему лепился добротный флигель из белого кирпича.

Внутри особняка, шаря перед собой руками, я прошёл в гостиную и включил свет.

Меня встретила просторная комната, обставленная с подчёркнутым минимализмом, как вообще полагается у таджиков, даже у богатых. Турецкий диван в стиле невыносимого барокко, на стенах — ковры. Вверху, по потолку, тянулась посеребрённая лепнина. В стенной нише — ореховый шкаф с сервизом на полке.

Я подошёл к шкафу и оглядел фарфоровый чайник, усеянный девушками с китайскими зонтиками. Поверх зонтов сияла гравировка: «Полковнику Деваштичу

Саидмуродову. От командующего Приволжского военного округа генерал-полковника Виталия Андреевского. В память о совместных манёврах», — вслух прочитал я.

Над шкафом висело фото в рамке — мужчина в раззолоченной форме полковника таджикской армии и девушка. Я вгляделся в военного. Вероятно, это был Деваштич. Плотный, с необычайно светлой кожей, необычайно чёрными волосами и усами под Саддама Хусейна (самыми здесь модными). Девушка рядом обладала той часто встречающейся на Востоке внешностью, о которой нельзя сказать ничего. Вечная напряжённость, внутренний испуг обезличивают таких девушек.

Я оглянулся. К дивану был пододвинут низкий столик. На нём виднелся мой ужин: блюдо плова, помидорный салат в стеклянной салатнице, разломанная на куски лепёшка. Большая тарелка с сухофруктами. С краю стояли три маленькие бутылочки коньяка.

Сам диван был застелен зелёным одеялом. В головах — зелёного же цвета подушечка.

Над диваном висела картина, завешенная женским платком. Я подошёл, приподнял край и увидел акварельную ветку, покрытую... чем? Кровью? Да, это была чёрная засохшая кровь.

Отведя взор, я вернул платок на место, посмотрел на фото, на ту девушку и вспомнил о железе в голосе лейтенанта Исаева, когда он отвечал на мой вопрос о жене Деваштича. Лейтенант, оказывается, умеет и так...

А затем я вспомнил о том, что толком не ел со вчерашнего вечера. Что касается крови на картине... Пусть, я узнаю об этом позже. Да и не моё это дело.

Я сел на диван и съел полблюда плова, запивая коньяком. Коньяк же, в свою очередь, я запил своим «Гиссарским виноградным». Конечно, я понимал, что делаю ошибку: сочетание вина и коньяка валит человека с ног мгновенно. Да, я знал это, но кто из нас не совершает сознательных ошибок, ошибок, производимых по слабости, с открытыми, так сказать, глазами?

Вскоре я вырубился, не дожевав дольку помидора, которая так и осталась во рту. Не знаю, сколько я спал. Я увидел сон, будто привязанного ногами к хвосту лошади меня несёт по полю...

Я открыл глаза. Лейтенант Исаев деликатно тянул меня за ноги.

— Извините, акои Алексей, вы сильно спали, — сказал он.

Я привстал, вынул изо рта помидорную дольку и огляделся. У двери в гостиную стояли несколько мужчин. Вероятно, это местные джиенхонцы. Они приложили руки к сердцу и слегка поклонились. Сидя, я сделал то же самое. Исаев показал на мужчин и сообщил:

— Они местные, хотят познакомиться. Если надо, расскажут о товарище полковнике, туда-сюда...

Я спросил Исаева:

— А товарищ полковник может сам рассказать о товарище полковнике?

Исаев пожал плечами.

— Так, кажется, удобнее, — пояснил я.

— Э-э, — задумчиво произнёс лейтенант Исаев, в это время у него зазвонил телефон.

— Да, товарищ полковник... — сказал Исаев и затем протянул мне телефон. Грудной жизнерадостный голос Деваштича, разговаривавшего, как и Исаев, на чистейшем русском, брызнул мне в ухо:

— Лёша, салам-пополам. Читал твою статью о русской графине...

— ...Княгине, — вставил я.

Лейтенант Исаев поморщился.

— Да-да. Молодец, молодец! Я всё прочитал, что ты писал. Ты большой талант. Слушай, дело в том, что пока приехать не могу. Сiju в гарнизоне. Дела, туда-сюда. Так что отдыхай спокойно, тебе никто не помешает. Пока мы будем с тобой ежедневно созваниваться. И я тебе всё-всё расскажу, а ты меня обо всём — обо всём спросишь. Да? Я расскажу по телефону о себе, о Джиенхоне. Туда-сюда...

— Да, това... Деваштич, — кивнул я, ничего не понимая.

Я поглядел на мужчин, стоявших у двери: услышав голос полковника, они приобрели вид людей, готовящихся петь национальный гимн.

— Тогда — всё, всё, Лёша. До завтра.

— До завтра, — сказал я, думая о том, зачем мне знать, что-то о самом Джиенхоне?

Я вернул телефон Исаеву.

— Товарищ полковник будет звонить каждый день, он расскажет о себе, о Джиенхоне, — пояснил лейтенант на случай, если я являюсь клиническим идиотом и потому, конечно, не разобрал смысл сказанного Деваштичем.

Я показал на картину, завешенную тёмным платком:

— А про это он может рассказать? Там кровь на картине. Почему?

Исаев схватил меня за руки и бурно потряс ими:

— Располагайтесь, Алексей-ако. Хлеб-соль, туда-сюда... Я поехал в гарнизон, а эти люди, — он кивнул на толпившихся за дверью гостиной мужчин, и те немедленно приложили руки к сердцу, — всё сделают, только скажите им...

Кто-то, не знающий Востока, подумал бы, что лейтенант проигнорировал мой вопрос о следах крови на картине. Но это, конечно, не так. Хочу пояснить, что, с точки зрения лейтенанта Исаева, мой вопрос о крови на картине даже не был произнесён. В Таджикистане полно почитателей своеобразной философской школы, напоминающей античную эгейскую. Как известно, эгейская школа учила, что всё видимое и слышимое на самом деле не существует.

В Таджикистане к этому «несуществующему» причисляют также и дурацкие вопросы...

Исаев почти бегом удалился, а за ним — толпившиеся у двери мужчины-джиенхонцы, словно я был свирепым псом-алабаем, с которым мог справляться только лейтенант.

Я стал догадываться, что Деваштич хочет, чтобы я не просто рассказал о нём. Он, вероятно, ждёт от меня картины под названием: «Полковник Деваштич — отец родной Джиенхона».

Что же, повеселел я, задача расширяется, а с ней, скорее всего, и оплата...

*Глава VI. Знакомство с Себаргой, будущей бунтовщицей,
о чём она тогда ещё и сама не знала, ибо женщины есть
спасительное непостоянство этого мира, существующее
для внесения разброда в планы дьявола...*

Я стал знакомиться с Джиенхоном, насчитывавшим лишь семь домов, поэтому потратил на это не более десяти минут. Село не вызвало у меня никакого интереса, оно представляло собой так называемый кишлак-временку. Некогда их возводили под какие-то большие проекты. В рамках одного из них в конце 80-х советская власть переселила в долину несколько десятков рабочих с гор Памира с семьями для освоения расположенной на востоке от Джиенхона трёхсотметровой соляной горы: геологами тогда было подсчитано, что гора хранит до миллиарда тонн поваренной соли.

У её подножия до сих пор виднеется полукилометровая земляная насыпь и остатки узкоколейки. Но проект рухнул, так и не начавшись. После августа 1991 года в один буквально день советская власть ушла из Джиенхона. А рабочие остались и пустили корни у подножия миллиарда тонн соли.

На западе к селению косым треугольником примыкало хлопковое море. За ним на прибрежной косе виднелся саманный домик заброшенной автостанции с полуразрушенным навесом над перроном.

И всё это — село, поле, автовокзал — словно чьей-то хозяйственной рукой было втиснуто в кольцо гор, сине-зелёных, исчерченных ледниковыми ручьями и свинцовыми царапинами облаков. На востоке это кольцо было разъединено ослепительным зубом Соляной горы.

Все дома в Джиенхоне были накрыты шапками из заготовленных к зиме трав — зелёных, жёлтых и ржавых. Если смотреть на кишлак с ближайшей горки, то его дома, внешне беспорядочно разбросанные, на самом деле словно бы тянутся друг к другу. Так осенние листья в луже всегда сбиваются к её середине.

С утра я прогулялся через село до местной речки. По пути встретил женскую компанию. Они сидели прямо на земле у плетня. Это были две высокие худые женщины и одна маленькая и полная.

Они отреагировали на меня как на разносчика бубонной чумы — отвернулись в сторону и опустили платки, закрывая лица.

Чтобы не смущать женщин, я тоже отвернулся от них. И так шёл метров двести почти боком, поэтому едва не попал под колёса уазика Исаева. Лейтенант не знал, что такое ехать меньше ста километров в час. Его автомобиль, вылетевший из-за поворота, чудом остановился в полуметре от меня.

Исаев выскочил из уазика с блюдом в руках.

Приблизившись ко мне, он сдёрнул с него полотенце.

— Ассалому аллейкум, Алексей-ако. Этот плов для вас. Его сделал товарищ полковник.

— Сам? — я растрогался.

— Готовила жена, Себарга, а сделал — он, — загадочно пояснил Исаев.

Он вручил мне плов и энергично побежал назад к автомобилю. Исаев существовал жизнью молодых, когда воодушевление приносит всё — движение, разговоры, любые встречи и даже безвозвратные расставания.

Я вернулся в дом с блюдом плова. Он был обсыпан изюмом и гранатовыми зёрнами и немыслимо пах. Я ел его там же, в гостиной, у картины, заляпанной кровью.

Затем я прихватил одну из двух оставшихся бутылочек с коньяком и проследовал в почти пустую комнату, выходившую на юг. Глянул в окно. Оно выходило во внутренний двор флигеля.

У крыльца флигеля возилась с козой женщина. Судя по тому, что она сидела на корточках, полуобхватив задние ноги козы, она собиралась её доить. Я прильнул к стеклу.

Себарга?

Лицо женщины скрывал чёрный платок. Коза лезла губами к кистям платка, и незнакомка раздражённо встряхивала головой. Она прощупала вымя, обмыла его тёплой водой из ковша. Затем подобрала с тряпицы кусок чего-то, похожего на жир, полоснула им себе по ладони и стала смазывать ладонью козы соски.

Отпивая из бутылки, я наблюдал.

Женщина поставила кастрюлю под козу. Её пальцы легко заскользили по соскам. Она что-то стала напевать, подтанцовывая, сидя на корточках. Её тонкий стан угадывался даже под просторным красным платьем, расшитым жёлтыми и синими цветами.

И тогда, захмелевший, я сделал то, на что не решился бы трезвый, — я приоткрыл окно и выкрикнул:

— Спасибо за плов! Вы Себарга?

Женщина вздрогнула. Коза, пользуясь её замешательством, сдернула за кисти платок с её лица. Незнакомка взглянула на меня раздражённо и... небо пошатнулось и исчезло.

Однажды, когда мне было семь лет, я принял участие в игре нашей волкогонской дворовой компании, в которой одному участнику все остальные изо всех сил сдавливают грудную клетку, и тот на грани потери сознания на несколько мгновений отправляется «на луну», испытывая одновременно чувство эйфории и тревоги.

То же чувство я испытал, стоя у окна в Жиенхоне. Конечно, это была любовь. Ведь именно чувство эйфории и одновременно тревоги испытывает всякий влюбившийся человек. Каждый влюбившийся человек буквально за секунду понимает, что мир изменился, и он изменился. И прежним теперь не будет ничто.

Мы разглядывали друг друга с минуту. Затем она молниеносно подхватила кастрюлю, вспорхнула по лестнице и скрылась за внутренней дверью флигеля.

Я сделал пару глотков и опустился на пол, вытянув ноги и опершись о стену ниже подоконника. Человек лёгкий и хаотичный, сшитый, что называется, на живую нить, я почувствовал, что в мою жизнь вторглось нечто пугающее и настоящее.

Глава VII. Я догадываюсь, что и это село, и полковник Деваштич, и сами обстоятельства, из-за которых я оказался в Азии, — лишь дорожные знаки, приведшие меня к Себарге

Той минуты, в течение которой я видел Себаргу без платка, хватило, чтобы я понял — я знаю её. Я знал эти безупречные черты, полные губы, взгляд синеголубых глаз, постоянно меняющий своё выражение, словно небо в начале шторма, — когда по небосклону одна за другой стремительно несутся тучи, то скрывая, то обнажая небесную лазурь.

Что всё это значит? Откуда это «узнавание»? Потрясённый, я сидел на полу. Я даже не замечал, что прикладываюсь к бутылке с коньяком.

«Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Пушки с пристани палят...» — раз за разом повторял я внутри себя, чтобы успокоиться. Эту формулу, эти строки я вывел для себя с самого детства, заметив однажды их успокаивающее свойство. И с тех пор использую всякий раз в минуты растерянности.

И — благодаря ли пушкинской формуле, или же подействовал коньяк, но вскоре я успокоился. Здравый смысл подсказал, что я стал жертвой самого себя. Это просто-напросто игры моего мозга, который слишком долго производил коммерческую экзотику, пропитанную мистицизмом.

Я не знал эту женщину и никак не мог знать. Конечно же, я вижу её впервые.

Думая обо всём этом, я заснул.

Мне приснилось, что в тумане я стою у закипающего постепенно озера. Вода этого озера то складывается в пенные кольца, то, распадаясь, застывает на мгновение недвижимой рябью. Затем взмываются волны, всё выше и выше с каждым мгновением, становится нечем дышать, — и с ужасным криком я ухожу на дно!

Я распахнул глаза. Сердце рвалось из груди. В комнате царил полумрак.

Я привстал и глянул в окно — флигеля почти не видно. Его окна не были освещены. Себарга спала или что она там делала?..

С головой, тяжёлой от кошмарного сна, я вышел в гостиную. Мне требовалось выпить. Ещё одну бутылочку коньяка я обнаружил в шкафу, сбоку от китайского сервиза.

Я уселся на диван под картиной и сделал пару глотков. Коньяк подействовал быстро. Сердце утихомирилось, и появились мысли.

«Мне надо прогуляться...» — подумал я.

Я вышел из дому в почти обжигающие сумерки. В сентябре-октябре в Таджикистане случаются необычно жаркие ночи.

Держась для верности за плетень, я пошёл куда-то по дороге. Она была освещена луной и сиянием Соляной горы. Пахло уже умирающими горными травами. Сверчки пели свои электрические песни. Я вытащил сигарету из пачки, находившейся в заднем кармане, не вынимая самой пачки. Склонившись,

закрывая ладонью огонь зажигалки, прикурил. Тут же подумал: «Зачем я скрываю огонь, от кого я прячусь?»

Я брёл по дороге, иногда склоняясь к кулаку с зажатой сигаретой и глубоко затягиваясь. Слева медленно проплыл мимо меня памятник президенту Шарипову, затем домик, стоящий как бы поодаль. И в мгновение, когда я собирался уже повернуть назад, в этом домике скрипнула дверь. Кто-то появился на пороге.

Я замер и вгляделся в тьму: кто бы это ни был, речь шла о женщине — в темноте сияло её жёлтое платье.

Женщина заскользила ко мне, постепенно обрисовываясь. Это была та маленькая полненькая девушка, которую я видел вчера, прогуливаясь по селу. Она сидела в компании с двумя худенькими женщинами. И из-за них троих я едва не попал под уазик Исаева.

— Ты журналист? Русский? Алексей? — спросила девушка, приблизившись. В ответе она не нуждалась, ибо едва я открыл рот, чтобы ответить, она произнесла: — Ясно. Меня звать Малика-полуцыганка.

Она подошла совсем близко.

— Ты видел Себаргу?

— Я...

— Ясно. Так вот, тебя звал вчера Деваштич, чтобы ты ему что-то написал. Но... Знаешь, что он делает?

Помня о её манере самой отвечать на задаваемые вопросы, я молча смотрел на неё.

Полная бросила взгляд по сторонам и продолжила:

— Деваштич хочет её... — тут её русские слова почему-то кончились, и она помахала в воздухе воображаемым пистолетом. — Мурдаги.

— Убить? — уточнил я.

— Ха-ха, — закивала девушка. — Он девона¹. — Она взяла меня за руку: — Ты хороший, это сразу видно. Проси Деваштича, скажи ему, чтобы он не делал этого.

Её глаза, тёмные и расширенные, с мольбой взглянули на меня.

Я не выдержал и засмеялся. Я почувствовал себя персонажем какой-то собственной вранливой статьи о загадочном Востоке.

С необычайной скоростью полная закрыла мне рот рукой. Её пальцы пахли свежим тестом.

— Молчи, хайвон², — в страхе прошептала она.

Из дома прозвучал мужской голос, что-то спрашивающий по-таджикски.

Она в ответ прокричала ему тоже что-то, затем оттолкнула меня и побежала к крыльцу. Перед тем, как затворить за собой дверь, она повернулась и помахала рукой в сторону дома Деваштича: мол, скорее уходи.

Я послушной рысцой пробежал по улице метров сто, пока дом Малики не скрылся из виду. Потом перешёл на шаг. Я брёл вдоль плетня. Я думал, что попал в странный мир — обретаюсь в каком-то предгорном селении в гостях у какого-то странного полковника, одна жена которого убита, судя по следам

¹ Сумасшедший (*таджик.*).

² Животное (*таджик.*).

крови на картине, а другая его жена, похоже, прячется от людей во флигеле. И ночью некая девушка мне сообщает, что её хотят убить.

«Какой-то хаос, странно всё это, — думал я. — Впрочем, странно, что я вообще оказался в Азии».

Я зашёл в дом, бросился на диван, уткнулся лицом в зелёную плюшевую подушку и замер. «Хотя, здесь я встретил Себаргу...» Меня переполняли любовь и тревога. «Я просто завтра спрошу обо всём лейтенанта Исаева, — думал я. — Его ответ, конечно же, всё расставит по местам, не сомневаюсь... Но что же мне делать с моей любовью?»

Моё горло сжалось. «Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят, пушки с пристани...» — заговорил голос в моей голове. И понемногу на меня стала наваливаться дремота.

Грозовые и одновременно излучающие нежный свет глаза Себарги засияли во тьме. Засыпая, я плыл и плыл к ним, пока не растворился в ослепительной сини то ли её глаз, то ли какого-то озера...

Глава VIII, в которой Бог любви и судьбы, что в конечном счёте одно и то же, проясняет мне всё

Проснулся я поздно, судя по солнцу, заливавшему светом комнату. Мои ноги почти лежали на полу, что свидетельствовало о беспокойном сне. Пошатываясь, я подошёл к окну. Себарга была там... Она поливала из шланга, который тянулся из дома, длинный половик, расстеленный на асфальтовой дорожке перед крыльцом. Затем она тёрла половик шваброй, легко, как кошка, перепрыгивая с одного его края на другой. Заворожённо, я наблюдал за ней. В один момент — я увидел это — она скосила на меня глаза.

Я помахал девушке и мог бы поклясться, несмотря на то, что её лицо скрывал чёрный платок и открытыми оставались только глаза, что она в ответ улыбнулась. Напоследок полив дорожку чистой водой, она ушла в дом, оставив половик сушиться на солнце.

Зачем-то именно сейчас, приглаживая всклокоченные со сна волосы — я всё делаю с запозданием, — я смотрел на затворившуюся дверь. Облако нежности обьяло меня в эти мгновения.

«Доброго дня!» — сказал я ей мысленно.

И тут зазвонил телефон, оставленный мной в гостиной на столике у блюда из-под плова. Звонить мне мог только лейтенант Исаев или, что невероятно, кто-то из прошлой жизни в Волкогонске. Но звонил Деваштич.

Прежде чем ответить, я сделал паузу. Да, я опасался этого человека. Причём стал побаиваться его ещё до ночного разговора с девушкой в жёлтом платье. Уже во время телефонного разговора с ним я почувствовал, что Деваштич умён. И это был ум жестокого человека, человека, желающего казаться добрым и умеющего привлекать людей к себе за счёт одной страшной особенности: такие люди, как он, и в самом деле почти добры. Я знал в Волкогонске человека,

который убивал уличных собак, беря их в дом ещё щенками и выкармливая полгода с почти подлинной нежностью.

— Как спал, как ел, дорогой? Как плов Себарги? — поприветствовал меня полковник.

— Приветствую, Деваштич. Плов, который приготовила... она, — тут я запнулся на мгновение: я почему-то боялся произносить имя его жены, — был невероятным.

— Потому что она в воду для зирвака добавляет молоко. Никто так не делает. Знаешь почему?

— Почему?

— Никто не знает! — Деваштич засмеялся. — Она привезла рецепт из своего Вахана и никому его не рассказывает, даже мне, я случайно подсмотрел, а этому её научила мама-украинка...

Он сделал паузу, зная, что я произнесу нечто вроде «ничего себе».

И я действительно произнёс:

— Ого.

— Слушай, я тебе обещал кое-что рассказать. Вот, сейчас коротко расскажу о ней, — голосом струящимся, как молоко, добавляемое Себаргой в зирвак, продолжил Деваштич.

Я напрягся. «Зачем он рассказывает о ней именно мне?» — подумал я, но слушал с жадным вниманием.

Себарга, сообщил мне полковник, родом из горного Вахана, но мама у неё украинка из Харькова. Она очутилась в таджикских горах в начале восьмидесятых, после того как в своём Харькове познакомилась с солдатом местной комендатуры по имени Рустам, который был похож на индийского актёра Амитабха Баччана. Они гуляли в Карповском саду и ели мороженое. За её, конечно, счёт, ибо откуда деньги у простого солдата? И он решил связать с ней судьбу, но не из-за мороженого, а потому что влюбился.

Вскоре Рустам позвонил матери и сообщил, что едет домой с невестой.

— Отлично, — сказала та.

— Она украинка. Её звать Аня.

— О, вот как? — отозвалась мать.

— Но, мама... — замялся Шухрат, — она атеистка. В смысле, неверующая. Ни в кого.

— Ну что же делать, и так бывает... — миролюбиво отозвалась его мать.

Успокоенный Шухрат попросил довести новость до отца.

— Конечно, — ответила мать, — я оставлю ему записку.

— Почему записку?

— Потому, — ответила та, — что после того, как договорю с тобой по телефону, выйду из дома и утоплюсь в реке.

Но она не бросилась в реку, а побежала к мужу и сообщила ему, что его сын возвращается через месяц из Украины вместе с украинкой. Муж пояснил ей, что это естественно, потому что на Украине живут украинки.

— Но она атеистка, не верующая ни в кого... — воскликнула мама Рустама.

— Во что-то она верит, — успокоил её муж.

— В ад я её заставлю поверить, — пообещала она мужу.

Но через месяц, когда будущая невестка приехала в село, они подружились. Анна приучила её и прочих женщин Вахан-Калы к гречаникам в томатном соусе, а ещё — к привычке смеяться, если подступает смех, и плакать, когда подступают слёзы, — невиданная для сдержанных горянок вещь.

— Себарга вся в маму, — в этом месте рассказа пояснил Деваштич.

Вскоре молодые родили Себаргу. Схватки настигли Анну в момент, когда она возилась с саженцами в саду. Она обожала свой черешневый сад и всё свободное время проводила в нём.

— В этом же саду через двадцать лет лейтенант Исаев и встретил её дочь — Себаргу, — голос полковника посерьёзшел. — Она, как и её мама, любила возиться с черешнями. И в тот вечер Себарга с ними возилась, а потом отбивалась от моих людей. Мы как раз в тот вечер проводили операцию против местного бандформирования. Ребята увидели её в саду, они горячие, молодые, она красивая, и, конечно, они не выдержали. Но Исаев её вовремя отбил и привёз ко мне, в штаб бригады. Позже я переселил её в Джиенхон. И вот, Алексей, главное, что хочу сказать. — Я услышал треск зажигалки, он прикуривал. — Я предлагаю ей себя, своё имя, свой дом, а она говорит: «Я ненавижу тебя. Я не стану твоей женой».

Он выдохнул дым.

— Ну ладно, ненавидишь — ненавись. Но при чём тут быть женой? Я вот свой пистолет ненавижу чистить, но чищу же? Эх, Лёша-джан, переживаю я, обида лежит на сердце такая, что... И её жалко, она сирота. Пришлось же в ходе той операции положить всех в её селе, и её родителей тоже, её маму-украинку, туда-сюда... Но... — в этом месте голос Деваштича, доселе тёплый и тягучий, вдруг приобрёл холодные и презрительные интонации. — Но и не грохнуть её теперь нельзя. И я хочу, Алексей, чтобы ты это описал. Это будет твоя лучшая история.

Глава IX. Я осознаю, что духи Востока наказывают меня за всё моё вранье, послав Деваштича в роли одновременно судьбы и палача

Да, я сразу это понял. Чего-то подобного я внутренне и ожидал. Назовите это, ну, хотя бы совестью, хотя я не заходил бы так далеко...

Я вдруг ощутил сильный холод, меня словно подморозили внутри, зубы стали постукивать.

— Ведь ты восхищён? — с насмешливой вежливостью произнёс полковник. — Это тебе не твои выдумки за пять копеек. Алексей, бародар¹, если хочешь продавать Восток, продавай вот такое, настоящее. И я со своей стороны помогу, заплачу тебе настоящую цену. Я дам тебе даже в сто раз больше того, что назвал лейтенант.

¹ Брат (тадж.).

Буквально стуча зубами, я произнёс:

— Ты убил родных Себарги, её мать Анну. И ты убил свою прежнюю жену. Я видел кровь на картине.

— Не-нет, с первой женой произошло случайно, — голос Деваштича дрогнул. — Она накрывала на тот столик у дивана, где картина. Ну, раскладывала лепёшки, курутоб... Не знаешь, что такое курутоб? Уй, потом Себарга приготовит... Так вот как там с первой женой получилось...

Вновь раздался треск, Деваштич опять прикурил.

— Я, как говорил, захожу в комнату, дочка бархоткой пистолет, а она на стол накрывает. И я стал наводить пистолет на то, на это, потом на неё. И вдруг — раз, и выстрелил. Честно, Лёша, сам не знаю зачем. И кровь — раз! — как брызнет на картину...

Деваштич выпустил дым с каким-то одновременно горестным стоном. И вновь повеселел.

— Вот, видал? Ещё одну историю подарил. Разрешаю написать! Везёт тебе сегодня. Всё, тогда хватит грустных разговоров. Готовься. Завтра Исаев привезёт тебя и Себаргу ко мне в гарнизон. И окрасим новую картину, да, Лёша? — Деваштич захохотал. И отключился.

Минут пять я смотрел на телефон, ощущая нарастающий шум в ушах. Сначала я слышал какие-то всхлипы, а затем что-то, напоминающее злорадный хохот.

Я сделал один неверный шаг. Затем другой. И побежал к выходу, даже не подумав прихватить с собой сумку с вещами. Необходимо бежать вон из этого села, до ближайшего населённого пункта. И позвать оттуда людей, какую-то тамошнюю милицию.

Теперь я понимаю, что я тогда струсил. Я не столько думал о милиции, сколько пытался вообще покинуть Жиенхон с его сумасшедшим боссом. Просто бежать — я хотел лишь этого. Но, выскочив на крыльцо, я замер. Всё небольшое пространство перед домом заполняли люди. Здесь были все мужчины Жиенхона, всего около пятнадцати человек. Они стояли группками, кто-то сидел на корточках и чертил что-то ножом по земле.

В центре всего этого собрания находился лейтенант Исаев. Он разговаривал с неким невероятно косматым мужчиной в чёрном халате, надетом на голое тело. Из халата на груди выглядывали волосы, вернее, они свисали, как шерсть у яка. Позже я узнал, что это был муж Малики-полуцыганки. Завидев меня, вся компания, кроме лейтенанта, насупилась.

Исаев же закричал:

— Доброе утро, акои Алексей! Ну что, завтра едем к товарищу полковнику?

Я кивнул, стараясь сделать так, чтобы подбородок у меня не сильно дрожал.

— Отлично, — показал большой палец Исаев. — А товарищ полковник вот тут попросил нас подежурить у дома. Говорят, из Афганистана прорвались нарко-контрабандисты, иногда так бывает. Но вы спите спокойно. Мы тут до утра, да, Шавкат? — задорный юноша толкнул локтем этого косматого яка, и тот сделал ужасное выражение лица, по его убеждению, означавшее улыбку.

Я показал «но пасаран», отступил назад, за дверь, и почти застонал, оказавшись в одиночестве. Я никуда не смогу уйти отсюда. Деваштич потому и прислал их, чтобы я не сбежал. Я буду ходить в его доме до утра из комнаты в комнату, а затем приму участие в написании завтрашней «картины» — в убийстве женщины, которую люблю...

Я прошёл в южную комнату и посмотрел в окно. Себарги не было, хотя... Что бы я ей сказал? «Извини, любимая, да, я люблю тебя и завтра буду писать рассказ по мотивам твоего убийства»?

Я осел на пол, прижался затылком к стене под подоконником и закрыл глаза. Затем выхватил телефон и набрал номер участкового Шухрата. Едва он произнёс «салом, акои...», как я перебил его кричащим шёпотом:

— Шуха, помоги, я нахожусь в селе под названием Джиенхон, меня заставляют принимать участие в убийстве, ты должен...

Смех Шухрата заглушил мои дальнейшие слова:

— Акои Алексей, убивайте, пожалуйста, убивайте. Я хочу почитать эту историю, я обожаю ваши истории... Сейчас, извините, я в кабинете начальника РОВД. Но вы потом пришлите статью... — Он отключился. Я ударил кулаком по полу и стал набирать Брянцева.

— Олег, слушай, тут у меня невероятная история... — начал было я и, чуть помедлив, сбросил вызов. Не поверит, конечно, и он.

В глазах всех окружавших меня людей я — рассказчик экзотических историй. То есть лгун, причём лгун ради денег, что есть худшая разновидность нечестных людей.

А эта ситуация — моя расплата. И бесполезно жаловаться, мол, вдруг же миллионы, и им ничего за это не бывает. Да, вдруг в корыстных интересах миллионы и миллионы людей во всём мире, но именно ты сидишь сейчас на полу в азиатском углу азиатского селения Джиенхон, готовясь к соубийству любимой женщины, и ты совершишь это, ибо ко всему прочему ты ещё и трус.

Так я сидел под подоконником до самого вечера, то вздрёмывая, то распахивая глаза и с недоумением озираясь вокруг. Я думал о том, найду ли я в шкафу ещё бутылку коньяка.

Из оцепенения меня вывел козий вопль. Он доносился через окно. Вслед за этим раздался женский голос:

— Малика, ну я же просила вывести из сарая Луну. А ты тащишь Звезду!

— Луны, Звёзды... Я откуда знаю? Ты сказала — рыжую, я тащу рыжую.

Этот разговор — эмоциональный, на высоких тонах, далее продолжился на таджикском языке. Я вскочил и выглянул в окно. Разговаривали Себарга и Малика-полуцыганка. Вторая волокла за рога рыжую козу из сарая, примыкавшего к флигелю с дальней стороны. Коза упиралась. Она упиралась с такой силой, что тело Малики сотрясалось, словно полуцыганка исполняла танец живота.

Но смотрел я не на эту битву. И не на ещё двух девушек, что сидели неподалёку, возле крыльца, за расстеленным прямо на земле маленьким дастарханом и пили чай. У дастархана стоял уже знакомый мне тазик. Возле него, на тряпице, виднелся иссиня белый кусок бараньего жира. Вероятно, Себарга готовилась доить козу. А её гости, пришедшие на чай, помогали ей в этом.

С замиранием сердца, и это не литературный оборот, я наблюдал тогда за Себаргой. С открытым лицом, простоволосая — её платок был спущен до плеч, — она возвышалась за спинами девушек, пьющих чай. У неё всё те же глаза, похожие на переменчивое морское небо, глаза, выражавшие то ярость, то нежность. У неё слегка утиный нос и высокие скулы, розовевшие сейчас от злости на смуглом лице, её маленький, безупречно выписанный рот порой сжимался так, что надо было вглядываться, чтобы рассмотреть его. Она упирала в бока кулачки, увенчивавшие тонкие запястья, и препиралась с Маликой. Затем вдруг она махнула рукой, бросилась к сараю и, обхватив козу за зад, навалившись, стала толкать её, помогая Малике.

Наблюдая за этим, я засмеялся. Моя депрессия ушла, и в какой-то момент я не выдержал. Распахнув окно, я выскочил во внутренний двор и побежал к ним.

— Ой-вой! — в страхе закричала Малика, разжимая руки.

Себарга внимательно глянула на меня, также отпустив козу, и та немедленно шмыгнула обратно в тёмный провал сарая. Две пьющие чай девушки приподнялись над дастарханом.

Глава X. Мы знакомимся и бежим в новую жизнь, ибо любовь — всегда побег

Я остановился, чувствуя себя идиотом.

— Извините, — пробормотал я.

Я должен был повернуться и уйти. Но не смог, я застыл на месте и смотрел куда-то между Маликой и Себаргой.

Полуцыганка, успокоившись, произнесла:

— А, это ты. Здравствуй, Алексей.

— Я хотел помочь, — объяснил я.

— Ты и помог. Эта гиена с рогами опять в сарае. Ненавижу её... Тогда что... Давай, чаю выпей, — она показала на дастархан.

Я кивнул и почти на цыпочках церемонно проследовал к дастархану. Краем глаза я видел, как Себарга ткнула в мою сторону пальцем и вопрошающе кивнула полуцыгане. А та, хитрая, пожала плечами...

Одна из двух девушек, сидевших у дастархана, налила мне в пиалу чай из белого фарфорового чайника. Я сделал глоток и поставил пиалу обратно. Себарга села напротив меня, Малика где-то сбоку. Полуцыганка шумно откусила от огромного, похожего на кристалл куска навата, запила шумно чаем и посоветовала Себарге:

— Отдохни, дорогая. Молока у тебя сегодня не будет.

— У меня сегодня будет козлятина, — пригрозила девушка.

Я поднял глаза. И вновь опустил. Я взял кристалл сахара поменьше и осторожно надкусил.

— Э, ты осторожнее с ним... зубы в порядке? — спросила меня Малика.

— Пока не жалуюсь, — сказал я, соврав, конечно.

— Я вот не могу его есть. Шахло, а ты? — спросила полуцыганка одну из девушек.

Та ответила по-таджикски.

— И не говори, — вздохнула Малика. Она покосилась на меня. Затем обратилась к Себарге: — А ты, джонам? Тоже болит живот от навата, как у Шахло?

— Никогда не болел, — сообщила девушка, глядя куда-то в сторону.

— Вот здесь у меня иногда от него болит. — Малика показала на нижнюю часть живота. — Нават или не нават, но прямо болит. — Да... — Она посмотрела на октябрьское солнце сквозь кусочек навата. — Там же ещё виноградный сок. Кусочки проходят по животу, ранят изнутри, а виноградный сок — раз — и вдобавок разъедает ранки. Я поэтому иногда вместо виноградного добавляла абрикосовый сок.

Одна из девушек, названная Шахло, что-то произнесла по-таджикски.

Малика возмутилась:

— Как это хуже виноградного? Неет, потом ко мне зайдёшь, а тебе дам попробовать.

Шахло что-то коротко ответила.

— Ай, — полуцыганка махнула на неё рукой. Повисла тишина.

Я поставил пиалу на дастархан и встал.

— Спасибо, мне пора.

И откровенно, не таясь, глянул на Себаргу. Она сидела полубоком к дастархану и наблюдала за куском бараньего жира, приготовленного ею для дойки козы. Её скулы всё ещё розовели. А её синие глаза продолжали испускать непонятную мне сосредоточенную злость. Она повернула голову в мою сторону, произнесла «всего доброго» и поднесла к губам пиалу, сосредоточенно вглядываясь вглубь неё. Я подумал, что, скорее всего, зелёная лужица чая там посинела.

— Пока, Алексей, — произнесла Малика, послав мне разочарованный и несколько презрительный взгляд. Девушки кивнули.

Я пошёл к своему к окну. Оказавшись внутри комнаты, я вновь сел на пол. Я знал, что сейчас, в эти секунды, являюсь самым презренным существом на земле. Вернее, это знало моё сердце. Ибо голос разума шептал: «А что ты можешь сделать, Алексей?! Ты в чужой стране, в чужом селении, где происходят чужие, непонятные для тебя события. Тебя убьют, вот и всё. Что, что ты можешь?»

Так говорил мне голос разума. Но я знал ему цену. Господь, создавая человека, наделил его умом и сердцем, а дьявол позже добавил человеку «разум».

Я сидел и смотрел сквозь комнату. Передо мной появилось озеро, меняющее оттенки: с синего на золотой, с золотого на голубой. Над ним появилось небо, какое-то... женское, что ли?.. Перламутрового цвета. Я засыпал с открытыми глазами. Наконец заснул полностью.

Всю ночь грохотала гроза, бил дождь, я ощущал его, не просыпаясь. Открыв глаза, я сидел ещё минут пятнадцать, размышляя. И почти не шевелясь, притом что было ощутимо холодно. Затем поднялся и глянул в окно. Весь двор был залит водой. В окнах флигеля не горел свет. Себарга ещё спала.

Я думал с тоской и надеждой: а вдруг вчерашний разговор для Деваштича был безумной шуткой? А вдруг сегодня ничего не будет? И я тогда останусь в Джиенхоне, ибо я поклялся никогда не возвращаться в свой Волкогонск. Я дождусь расставания полковника с Себаргой, затем я дождусь её внимания ко мне, может быть, даже дождусь от неё любви. И неважно, сколько уйдет на это времени. Мне потребовалось тридцать пять лет, чтобы сделаться настоящим — не плохим или хорошим, а настоящим, таким, каковым я являюсь. Неужели я имею право требовать от Бога, чтобы меня полюбили за меньший срок?..

Ливень кипел во дворе Себарги, скрыв его туманной завесой. У крыльца виднелась забытая тряпочка с бараньим жиром, покрытая крупными пузырями.

Я смотрел, как они лопаются и вновь надуваются... Надуваются и лопаются... Перед глазами вновь возникла картина озера, его поверхность неподвижна, почти мертвенна. Лишь кое-где надуваются и лопаются пузыри. Я словно бы засыпал... Я распахивал глаза и бил себя по щекам. Скоро подъедет уазик Исаева, и я буду вынужден что-то делать — предавать свою любовь, а в конечном счёте — душу. Или... Но способен ли я на большое дело — вялый, скучный волкогонец, лишённый способности биться с волками... И я вновь смотрел и смотрел в окно на льющийся дождь, на пузыри, возникающие и исчезающие на тряпочке с бараньим жиром.

«Шу-шу-шу...» — шептал дождь, обволакивая двор, весь мир, меня самого без остатка. И я вновь закрыл глаза, как делал это, кажется, тысячу лет...

...И резко распахнул их. Раздался рокот подъезжающего автомобиля. Я вздрогнул, бросился в гостиную и глянул там в окно.

Это был уазик Исаева. Автомобиль, шурша галькой, периодически отстреливая её, развернулся таким образом, чтобы задом подкатить к торцевой двери флигеля. Из уазика выскочили две фигуры и, горбясь под дождём, побежали к двери. Один из них был точно Исаев, а второй... Я прижался к стеклу. Вторым был тот вчерашний заросший як с ужасной улыбкой. Именно он, подлетев к двери, ударил в неё ногой, снеся её, и парочка стремительно вбежала внутрь.

Зазвонил мой мобильник. Это был Исаев.

— Ако Алексей, — привычно обратился ко мне лейтенант, но голосом холодным и жёстким. — Выходите на крыльцо через десять минут. Мы уезжаем. Да?

— Да, — ответил я.

Раздался крик. Я немедленно побежал в южную комнату.

Там во дворе шла битва с участием Себарги и того заросшего «яка». Обхватив Себаргу поперёк живота, бандит пытался втянуть её в дом. Девушка извивалась, крича и цепляясь ногами и руками за лестницу. Из дома выскочил Исаев. В несколько прыжков он оказался внизу лестницы и схватил Себаргу за ноги. Вдвоём они потащили её наверх. В какой-то момент Исаев закричал — девушка на мгновение высвободила одну ногу и ударила его в живот. Исаев в ярости хлестнул её по лицу. И ещё, и ещё.

Я распахнул окно, выскочил во двор и побежал к ним. Заросший як, увидев меня, что-то выкрикнул. Лейтенант обернулся.

— Да-да, помогите, Алексей ако, — тяжело дыша, произнёс он. — На эту суку двоих нас не хватает.

Я с разбегу ударил его по голове. Неистовое бешенство утроило мои силы. Никогда я не испытывал столь испепеляющего чувства ярости и никогда, возможно, не испытаю впредь. Лейтенант закачался и упал на колени. Заросший як в недоумении ослабил хватку, и Себарга немедленно вскочила. Я вцепился ей в руку, и мы побежали вниз, в сторону сарая. За ним виднелась цепь можжевельника, заменяющего, видимо, забор с южной стороны флигеля.

Глава XI, в которой мы бежим к Женскому озеру

Мы молниеносно продрались сквозь кусты. Здесь нас встретил невысокий саманный забор с широкой расщелиной, в которую мы втиснулись и побежали через двор такого же невысокого домика. Вдали, метров через пятьсот, виднелась горная речка, густо обсаженная безлистными тамариском и можжевельником. Пробегая во дворе мимо небольшого топчана под виноградником и заметив лежавшую на нём грудку чёрных и синих чапанов, я прихватил несколько, движимый чувствами не человеческими, а пронизательно звериными. Эти чапаны мне понадобятся.

Мы достигли берега реки, пройдя между густыми кустами почти в человеческий рост, и замерли, озирая реку. Она бежала с гор и пропадала где-то в низине в пелене дождя, катя свои мутные воды, похожие на тонны битого стекла.

Я повернулся к Себарге, она угрюмо смотрела на воду, взял её за руку и сказал:

— Не бойся. — Затем чуть стиснул её ладонь. И повторил: — Не бойся.

Она улыбнулась и хотела что-то произнести, её глаза из синих, холодных, стали голубыми и тут же опять посинели — в моём кармане зажужжал, задвигался телефон. Это звонил Деваштич. Я задрожал. Но это был не страх — меня вновь объяла ярость. Я ненавидел полковника и за Себаргу, и за то унижение, которому он подверг меня, заставив вчера испытать постыдное чувство страха.

— Да? — резко бросил я.

Полковник ответил дружелюбно:

— Я знаю, что вы ушли к реке, и уже дал указание Исаеву. Все мужчины Жиенхона идут туда. Её будут убивать минут тридцать. А потом долго — тебя. У меня одна только к тебе просьба: не топитесь там сейчас, ладно? А то лишите меня...

Я сбросил звонок и прислушался. Себарга вскинула голову, прислушиваясь тоже.

— Да, слышу шум, — сказала она. — Они у дома Рабийги.

— Рабийги? — переспросил я, лихорадочно пересчитывая халаты-чапаны.

— Да, которую ты оставил без этих чапанов.

Халатов было четыре, как раз то что нужно. Я связал рукавами два чапана, получился некий тюк. Затем проделал ту же манипуляцию с двумя оставшимися и, придвинув поближе к воде, сказал:

— Продолжай слушать. Как только они приблизятся к нам, метров за триста, скажи мне об этом.

Девушка кивнула.

Я вновь взял её за руку. Мы замерли. Странно, но, стоя на берегу реки, в те мгновения я улыбался. Лгун, производитель экзотических восточных историй, на этот раз не я историю — история вела меня за собой. Рядом со мной стояла прекрасная девушка, где-то уже недалеко нас настигали жестокие бандиты, передо мной текла река, за ней вырисовывались сквозь пелену дождя горы... Что-то вроде гордости и азарта, соединённые с любовью, испытал я тогда, сжимая руку Себарги. Она почувствовала это. Её скулы порозовели. Надеюсь, не от злости на этот раз. Она чуть помедлила и деликатно высвободила руку. Мы молчали. Река слегка шумела, пытаясь рассказать нам свою историю.

— Они близко, — произнесла Себарга.

Я немедленно, один за другим, бросил в реку свои тюки. Они поплыли вниз по течению, медленно кружась. Девушка с недоумением посмотрела на них, а потом на меня.

— Слушай, сказал я ей, — слушай, что они говорят. — Она кивнула.

Вверху слышались возбуждённые голоса, среди них я опознал тонкий голос лейтенанта Исаева. Затем раздался топот.

Себарга придвинулась ко мне и сказала на ухо:

— Они побежали берегом реки вниз по течению за чапанами. Они приняли их за нас и хотят перехватить до поворота реки на запад у села Чорсу...

— Ясно, вперёд! — Я схватил Себаргу за руку, и мы помчались берегом вверх по течению, туда, где река выходила из гор.

«Получилось!» — ликовал я. Более всего я боялся, что бандиты сумеют разглядеть в чапанах чапаны и ничего больше. Я надеялся лишь на неважную видимость, которую создавала пелена продолжавшегося дождя. Да, он всё ещё хлестал, и, насквозь вымокшие, но давно не замечающие этого, мы бежали с Себаргой в горы по узкой тропинке, что тянулась между кустов тамариска и можжевельника, проложенной, видимо, речными кабанам.

— Куда мы бежим? — спросила девушка.

— В горы.

— Вверху, я слышала, где-то есть зимовка чабанов — избушка и спички.

— Отлично.

Вскоре кусты закончились, мы выскочили к какой-то двойной седловине, заросшей диким абрикосом. И здесь передохнули от изнурительного бега. Себарга разглядывала землю, упираясь руками в колени и тяжело дыша. Стоя рядом, я хотел её как-то поддержать, тронуть за плечо, но моя рука, дёрнувшись, вернулась на место. Не хватало, чтобы помимо бандитов Себарга начала бы опасаться и меня.

Продолжая разглядывать землю, она сказала свистящим голосом:

— В горах будет холодно, чем выше, тем холоднее. У нас есть примерно полдня, чтобы добраться до зимовья.

— Почему полдня? — уточнил я.

Она улыбнулась.

— В той одежде, которая на нас, мы протянем где-то часов семь. Если не отыщем зимовку.

— А можем не отыскать? — ещё раз уточнил я.

Себарга тут совсем развеселилась: её глаза стали голубыми, а губы сложились в чарующую улыбку.

— Ещё как, — ответила она.

Мы посидели немного, затем Себарга организовала ужин, нарав три пригоршни диких абрикосов — рябых и кислых.

— Ешь-ешь, — сверху мало кислорода, а нам нужны силы, — сказала она, заметив выражение моего лица.

И мы двинулись в горы.

Мы шли вдоль какого-то ручья, по его крутому сыпучему берегу, мимо заброшенных летовок и ледниковых озёр. Продирались через удушливые можжевельниковые кустарники, заросли шиповника. Вскрабкивались на горные карнизы. Они зачастую были столь выветрены, что приходилось, вжимаясь спиной в скалы, идти мелким приставным шагом.

Мы двигались то стремительно сбегая с круч на альпийские луга, то почти вертикально забирая вверх.

Постепенно краски тускнели. По очереди вокруг исчезали тополя, кусты тала, полыхающего шиповника. Ручей расширился и притих. Береговые отвесы стали круче и изгибистей. Замолкли, исчезая, птицы. Становилось тяжелее дышать, сердце стучало — подступала зона разреженного воздуха. Небо, чем ближе становилось, тем сильнее прижимало к земле. Кое-где приходилось вставать на колени и ползти, обдирая ладони о камни. Под нами скрипела только каменная осыпь, смешанная со снегом и кровью — нашей кровью. Иногда я оглядывался: внизу, в разрывах облаков, горбились холмы, пригорки, сверкали реки, дрожала на ветру паутина из дорог и тропок, курились дымы какого-то посёлка.

Воздух становился всё более разреженным. Ужасно кружилась голова. Себарга сорвала пару шишек можжевельника, обладающего нашатырным действием, растирала их в ладошках, нюхала сама и давала понюхать мне:

— Это поможет, нюхай обязательно.

За очередным оснеженным гребнем началась полупустыня. К вечеру, уже в сумерках, мы добрались до полной пустыни. Это была одна из знаменитых памирских долин, где ветер дует одновременно с четырёх сторон, воздух и летом состоит из колючих хлопьев, где сотни оттенков белого и столько же чёрного, и на десятки километров под ногами скрипит одна лишь галька, пропитанная солью. Кажется, что в таких долинах нет ничего живого. Даже если что-то и представляется таковым, например, горные козлы, что стоят кое-где в прорезях скал, как в храмовых нишах — языческие боги. Здесь — сбросивший альпийскую

маску, обнаживший подлинное лицо, состоящее из камня, соли и замёрзшей синеватой воды, настоящий Памир.

И, наконец, пройдя под обледелой аркой, мы увидели лежащее посреди долины озеро. На фоне окружающего чёрно-белого хаоса его голубые и тёмно-синие краски ослепляли. Берега, выложенные полупрозрачным серебристым камнем, блестели, как платиновая оправа. В народе этот камень известен под названием «лунный» — это разновидность калиевого полевого шпата. Над южным берегом во весь горизонт вздымался горный хребет. Вверх от озёрной глади уходил розоватый круг света. И небо сверху нависало такое, как бы сказать... женское, что ли... жемчужное, перламутровое, необычное.

И таковым оно было лишь строго в границах озера, в точности повторяя его береговые изгибы, как его оттиснутый вверху слепок. Вне же этих жемчужных красок простирались обычные для этих высот чёрно-синие глубины.

Глава XII, в которой рассказывается о якобы существующем Женском Божестве, которого якобы не существует

Вглядываясь в долину, мы заметили на противоположном берегу озера некое жилище.

— Зимовка чабанов, — сказала Себарга. — Слава Всевышнему. — Её лицо было красным от горного ультрафиолета

— Слава Богу! — подхватил я.

И вгляделся в озеро. Это оно. Это его я видел несколько раз во сне. И вот оно встретило меня здесь. По случайности или согласно чьей-то воле?

— Ты что? — спросила девушка, заметив моё замешательство.

— Всё нормально, — я еле растянул обожжённые холодом губы.

Хватаясь за валуны, мы спустились вниз неверным щебнем и зашагали по серебристому берегу, который сопровождал горный хребет с террасовидными склонами и острыми пиками. Он тянулся сплошной, почти нерасчленённой стеной с резко выдающейся вершиной в центре. Её форма была столь гладкой и округлой, что покрывающее вершину снежное полотно казалось туго натянутым шёлковым чехлом, скрывающим какой-то театральный реквизит.

Мы шли берегом озера, я насторожённо разглядывал его. Я заметил, что Себарга также бросает задумчивые взгляды на розоватый круг света, тянущийся от озера к небу.

Вскоре мы достигли замеченного жилища — то ли зимовки чабанов, то ли чего-то другого. Приземистое строение было выложено из красных скальных обломков. На крыше виднелась труба дымохода.

Я толкнул деревянную дверь и вошёл первым.

Изнутри дом представлял собой большую комнату с двумя щелями в западной стене. Они были прорезаны в качестве окон, для освещения, и затянуты наклеенными кусками прозрачного пластика.

По центру основной стены находился закопчённый очаг.

— Тут всё нормально, входи, — позвал я Себаргу.

Слева от очага виднелась горка хвороста, из-под него тянулся хвостик какого-то небольшого свёртка. Я вытащил его и развернул. Внутри находилось с несколько десятков спичечных коробков. В некоторых были соль и перец. Справа от очага виднелся ещё один свёрток из шерстяного одеяла. Развернув его, я обнаружил внутри целую гору консервов — рыба и тушёнка, а также сухари в пластиковом прозрачном мешочке.

Перед очагом было расстелено два одеяла из ячьей шерсти. Это постель. И, кажется, мужская. Не думаю, чтобы чабаны брали с собой женщин на высоту пять тысяч метров.

Я занялся очагом. С трудом разламывая хворост замёрзшими руками, в какой-то момент я обернулся. Себарга смущённо разглядывала ложе из ячьих одеял.

— Мы разберёмся с местами для спанья, — успокоил я её.

И попросил пообдирать с веток кое-где сохранившиеся сухие листья. Она кивнула и ловко принялась за работу, присев рядом на корточках.

Вскоре я подложил шуршащий ком листьев под хворост в очаге и поджёг его. Пламя вспыхнуло. Какое-то время мы стояли перед очагом на коленях, как огнепоклонники-зороастрийцы. Себарга дрожала в своём мокром платье.

Я встал.

— Я выйду ненадолго, а ты разденься и повесь сушиться свою одежду. А пока закутайся в это...

Я вытряхнул из шерстяного одеяла консервы, положил его рядом с девушкой и вышел из дома.

Снаружи совсем стемнело. Женское небо над озером исчезло. Сейчас небо холодно сияло серебром — вышла громадная луна. Розоватый круг света скрыла полумгла. Сами воды озера лежали недвижно-мертвенно, словно нарисованные. Тишина и покой. Природа умеет спать и не видит беспокойных снов, в отличие от человека. Я подумал, что ранее уже видел это озеро. Но сейчас меня это не волновало. Я ощущал, что окружён мистикой истории, которая ведёт меня за собой с самого утра, а возможно, и все последние два года. А раз так — я могу лишь следовать ей, не задавая бесполезных человеческих вопросов.

Я вернулся в дом. Внутри заметно потеплело, Себарга смотрела на огонь, обёрнутая в хитон, то есть в шерстяное одеяло, похожая на таинственную жрицу в глупом фильме о Востоке. Она уже успела соорудить сушилку у очага. От скальной стены, закреплённая там шпилькой, тянулась какая-то резинка, привязанная к рогатине, воткнутой у очага. Известно, что у женщин в любой ситуации обнаруживается несколько резиночек, даже, кажется, у обнажённых. На этой резиночке сушилось её платье и ещё что-то, что я не стал разглядывать, стыдливо отведя глаза...

— Спасибо, — сказала она, услышав скрип двери и мои шаги.

— Ага.

Я подобрал две банки консервов и оглядел ближайшую стену. Отыскав самый острый скальный обломок, приставил к нему верхнюю часть банки и ударил ладонью по нижней. Острая грань пробилла железо, и тогда, ловко проворачивая банку, я взрезал более половины крышки, затем отогнул её.

То же самое я проделал со второй. Затем достал из пластикового пакета сухари и всё это положил на ячье одеяло рядом с Себаргой.

Она взяла сухарь и улыбнулась:

— Где ты так ловко научился открывать банки?

— Вот здесь, в этом доме, — честно ответил я.

Я быстро съел свою рыбу и придвинулся к очагу, чтобы подкинуть хворосту в огонь. Себарга за моей спиной продолжала есть. Она делала это медленно и стыдливо, сообразно женскому правилу, согласно которому есть с удовольствием — это порок.

— Я думаю, мы должны остаться здесь, — произнёс я.

— На какое время?

— Навсегда, — обернулся я. — Ты не понимаешь, о чём я?

Всё она понимала; глядя в банку, с лёгкой полуулыбкой, она произнесла:

— Я знаю тебя два дня.

— И я тебя.

Я закинул в очаг обломок горящей ветки, выскочившей к моим ногам, и спросил:

— Говорят, твоя мама украинка?

— Была. Она говорила мне, что она — влюблённая женщина, и это её национальность. Она любила отца, он — её. И он тоже говорил, что любовь — его национальность.

— Да-да, — сказал я. — Деваштич рассказывал. — И спохватился: — Извини. Я не должен произносить это имя.

Себарга положила рядом с собой консервную банку. Её глаза посинели, но голос оставался спокойным.

— Его люди убили и её, и отца, и дедушку с бабушкой.

— Может... может... — пробормотал я, стараясь защитить Себаргу от ужаса произнесённых ею слов, — может, он не давал приказа, может, и не знал вначале об этом, а потом...

— А потом он меня изнасиловал, — сказала Себарга. Она подняла банку и попробовала продолжить ужин. — Уже в Джиенхоне.

Она окончательно отставила банку и начала оглядывать ячью шерсть вокруг себя и даже водила ладонью по одеялу в поисках крошек сухаря.

Я неотрывно смотрел в огонь. Луна добралась до «окон», закрытых пластиком. И серебряный свет повис над нами, словно летучая пыль. «Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят», — пробормотал я.

— Поэтому, наверное, я и оказалась здесь, на женском озере... — произнесла Себарга.

— Женском? — удивился я.

— Угу, — кивнула Себарга. — У нас говорят о женском озере, лежащем где-то в горах. Говорят, что озеро неким путём ведёт к женскому богу, существующему лишь там. Некоторые женщины из сёл уходили в горы, чтобы найти это озеро.

— Находили? — я ухмыльнулся.

— Неизвестно. Они не возвращались.

Я засмеялся, восхищаясь неизвестным мне конкурентом, создавшим эту историю.

— Ещё три дня назад я бы записал твою историю и заработал у Олега как минимум двести долларов, продав легенду о женском озере, ведущем к женскому Богу, — сказал я.

— А что сейчас? — Себарга отломил кусочек сухаря и запустила его в консервную банку, собирая остатки.

— Сейчас... у меня есть ты, — я бесстрашно взглянул на девушку. У неё зарозовели скулы, она хотела что-то сказать. Разом утерав мужество, я выкрикнул: — Ничего не говори! Я хороший. Малика говорила, что я хороший.

Она улыбнулась и задумалась.

— Малика... — произнесла она. — Её отец цыган. Она не знала его. Да и её мама знала его лишь сутки, — столько времени цыганский табор стоял в этом селе. Потом табор уехал в Самарканд. Мама же Малики была вдовой. До встречи с её отцом она потеряла мужа, то есть муж бросил её и уехал к какой-то официантке в Душанбе. Вот. А этот цыган просил её поехать с ним. Она, наоборот, просила его остаться. Нет... — Себарга покачала головой, — не могу, говорит...

Она уставилась на огонь. И тут вдруг заметила предмет туалета, что сох на резинке у очага и от которого я ранее отводил глаза. Себарга молниеносно сорвала его, сунула куда-то под себя и бросила на меня испуганный взор. Я сделал вид, что ничего не заметил.

— Цыгане вечные релоканты, — сказал ей, чтоб замять инцидент.

Проницательная Себарга ответила слабой благодарной улыбкой. Затем продолжила:

— Малика пошла в него. Три раза пыталась сбежать из дома. И — сбежала. Мама её рано выдала замуж. И неудачно: муж поднимал на неё руку. Однажды она не выдержала и сломала ему за ужином челюсть сковородкой. Родня вызвала врачей, милицию. Её арестовали, началось следствие. На второй день её привели в дом мужа, чтобы провести следственный эксперимент. Ей дали сковородку, посадили его за дастархан и попросили показать, как всё было. «Было так, — говорит Малика, — мы сидели, ели, и тут я беру сковородку...» И во второй раз сломала ему сковородкой челюсть. Она выбежала из дома, бросилась в какую-то попутку и в итоге оказалась в Джиенхоне, здесь жила дальняя родственница её матери, старушка, она умерла через год. А перед смертью успела выдать её замуж за мужчину по прозвищу Як, бывшего зэка. А кто бы ещё взял её замуж?

— А-а, — вспомнил я того, шерстистого. — На вид свирепый тип.

— И трусливый, и глупый, — гневно подхватила Себарга. — Сел он когда-то за то, что пытался ограбить с напарником, Мурадом, дом в каком-то селе. Соседи, услышав шум, вызвали милицию. Яка схватили прямо у дома. И ведут к узику. Проходя мимо клёна во дворе, он говорит: «Мурад, спускайся, нас поймали».

Я засмеялся, но через силу. Ужасно хотелось спать. Меня уносило в сон. Закрывались глаза и у Себарги. Голос её слабел.

— Так что... Так что вот так, Алексей... — сказала она, роняя голову.

Костёр, дощёлкая ветками, догорал, но у нас не было сил подбросить хворосту. «Где же я её видел?» — подумал я.

— Алексей, мне кажется, что я уже видела тебя, — пробормотала Себарга. — Я всё гадала — где?

«А?» — пронеслось в моём сознании. Я хотел разлепить глаза, но не смог, провалившись во тьму.

Очнулся я уже под утро, обнаружив себя сидящим, с головой, склонённой на грудь. Из прорезей-окон струился лёгкий свет. Было зябко. Снаружи шёл дождь. И, судя по двери, дул ветер. Периодически дверь вздрагивала, сотрясаемая шипящей озёрной водой.

Себарга лежала на боку, укрывшись с головой одеялом. Моё сердце ёкнуло от нежности и тревоги. Я набил очаг хворостом, набросал листьев и поджёг. Потянуло теплом.

Я прилёг на шкуру рядом с Себаргой. «Что она там говорила про меня?» — подумал я. Глаза начали слипаться. И я вновь задремал...

Мне приснилось озеро, его вздымающиеся волны. Казалось, что небо пытается притянуть их к себе, но они каждый раз срываются и с грохотом падают обратно. И, не сумев подняться в небо, в ярости стараются выброситься на берег...

И здесь сквозь сон я услышал крик Себарги:

— Алексей, проснись, они пришли...

Глава XIII, рассказывающая о том, что они всегда приходят

Я открыл глаза. Себарга стояла в дверях, уже успев надеть платье. Она вглядывалась вдаль в направлении той осыпи, по которой мы вчера спустились на берег озера. Я подошёл, взял её за руку и уставился туда, куда смотрела она. Сквозь пелену дождя я увидел с десятков букашек, ползущих вниз по осыпи.

— Это Деваштич и его люди. Они нашли нас, — произнесла Себарга. Её лицо было белым, как бумага.

В долине между тем нарастала буря. Над горным хребтом вытянулся вал из штормовых облаков. Озеро, разбухшее, уже не вмещавшееся в берега, мерно вздымалось и опускалось.

Стоя в дверях, мы смотрели на приближающихся джиенхонцев. Я сжал ладонь Себарги. Кажется, это был жест капитуляции. Её глаза почти почернели.

— Постой.

Отпустив её руку, я выскочил наружу и, обежав дом, уставился в горную цепь, видневшуюся за ним. Кажется... Да нет, не кажется, а точно: я разглядел некий проход в этой цепи — что-то вроде ущелья. Оно ведёт на север, в сторону Киргизии. Неизвестно, сколько километров отсюда до границы, неизвестно, как и за счёт каких сил мы могли бы добраться до неё, но это хоть какой-то шанс, ибо всё остальное... Я оборвал дальнейшие размышления и бросился обратно с криком:

— Себарга, собирай сухари и консервы, мы бежим на север.

В дверях её не было, внутри жилища — тоже. Я выскочил наружу и обвёл местность глазами. Себарга стояла у берега, близ кипящей пены. Она подняла руку, предупреждая меня не приближаться.

— Беги туда один. Я куда надо пришла. Теперь это ясно. Спасибо, спасибо. И прости...

Она без раздумий вошла в озеро и спустя мгновение скрылась в нём.

Я ринулся к берегу. Я зашёл в озеро по пояс и жадно ощупывал его глазами.

— Ты обманула меня! — завопил я, сотрясаемый штормом. — Мы назначены друг другу с рождения мира, мы те самые две половины, поэтому ты знаешь меня, поэтому я знаю тебя, поэтому мне казалось, что я тебя где-то видел! А ты меня. И ты обманула! И себя саму, и меня тоже! Обманула, обманула!

В бешенстве я оглядывал пегие волны. А затем нырнул. Я погрузился в круговорот, но вскоре вошёл в почти недвижные глубины. Распахнув глаза, я озирался вокруг. Её тело я обнаружил в странных розовых водорослях, которыми был покрыт откос метрах в четырёх от берега. Я схватил Себаргу за волосы и поплыл вверх. Выскочив из воды, почти задохнувшийся, я тащил её за руки по гальке, по обломкам скал, по обрывкам водорослей, по песку, раскалённому от холода. Он обжигал до костей мои колени, когда, нависнув над Себаргой, я делал ей искусственное дыхание, не обращая внимания на приближающихся людей. Они находились уже метрах в трёхстах от нас. Я даже видел краем глаза, что первым шёл Деваштич, что он закрывал лицо рукой от ливня. Кажется, даже видел его улыбку под смоляными усами. Вот он вытаскивает пистолет и в восторге стреляет вверх.

В следующее мгновение берег затрясся. Та куполообразная вершина горного хребта, похожая на театральную декорацию, зашаталась. В небе показались облака, растянутые в меловые иероглифы. И с гор на озёрный берег тут и там легко понеслись лавины. Они заволокли побережье дымом сотен тонн обрушившейся снежной массы. Упав на Себаргу, закрывая её от лавины, я почти потерял сознание от страха...

Прошло два века.

Я открыл глаза. И глянул в сторону берега искоса, не вставая. Невероятно, но снежные лавины не тронули нас. И, кажется, только нас. Всё прочее пространство озёрного берега покрывал снег, смешанный со скальными обломками, толщиной в три-четыре метра. Небо расчистилось, штормовые облака ушли, обнажая жемчужные высоты, от озера струился розоватый дым.

Я пробормотал:

— Кажется, это твоих рук дело, неведомое женское божество. Нет?

Себарга подо мной пошевелилась. Она тоже открыла глаза и обнаружила моё лицо, прижимающееся к её щекам.

Она попыталась встать.

— Привет, русалка, — сказал я. — Я добыл тебя из озера. Теперь ты моя добыча.

Она дала мне пощёчину...

Глава XIV, которую я не знаю как назвать, ибо как описать счастье?

Моросил дождь. Минуту назад мы вышли с Себаргой из вагона трамвая и стояли в начале аллеи, вглядываясь в её янтарные глубины. Липы сейчас, в октябре, казались вылепленными из пчелиных сот. Даже страшноватые, изображающие голову Медузы Горгоны спинки парковых скамей выглядели сейчас золотыми клубками, застывшими в меду. Даже лужи от дождя на плитке аллеи светились чем-то горчичным.

— Пошли? — Я тронул её за рукав пуховика.

Она кивнула. Мы двинулись, но, дойдя до третьей скамьи, Себарга остановилась. И глянула на меня. Успокаивая, я поцеловал её в висок. Она кивнула. Мы вновь зашагали к дому.

О том, как мы добирались до Волкогонска, я, возможно, напишу отдельный подробный рассказ. Как завернутые в ячи покрывала, пройдя тем замеченным мною ущельем, мы вышли на автотрассу Хорог-Бишкек. Как добрый киргизский водитель грузовика, вёзший гранит, рассматривал нас и затем сказал почти со страхом:

— Садитесь.

На границе — у нас не было никаких документов — он что-то сказал крошечному пограничнику, и тот, оглядев двух странных мохнатых существ, кивнул, мол, трогай.

В Бишкеке водитель привёз нас на Ортосайский базар. За свои деньги он купил нам штаны и верхнюю одежду. Я не сопротивлялся, понимая, что иначе путешествие двух людей, обёрнутых в одеяла, прервётся в отделении милиции. Мы попрощались с водителем, я взял у него телефон, чтобы вернуть когда-нибудь деньги. После мы отыскивали институт истории, взяли там адрес профессора Каната Ибраева и в тот же вечер заявили к нему домой. Профессор, милый, как подавляющее большинство профессоров, и его жена встретили нас с великим гостеприимством, вlepив мне вначале подзатыльник за историю с версальскими узорами.

Мы прожили у него неделю. Оказалось, что он близок к тамошнему киргизскому президенту, который некогда являлся его студентом и «был тогда большим балбесом», как объяснил нам Ибраев. Он сходил к нему на приём. И через неделю Себарга получила паспорт гражданки Киргизии. Мне же в российском посольстве очень полный и очень любопытный молодой консул, задавший сто вопросов и громко ахавший от ответов (я был искренен), вручил стандартную справку на возвращение. Ибраев одолжил денег на самолёт и...

Постучавшись в дверь своего дома, я незаметно отошёл назад и встал за спиной Себарги. Она от волнения даже не заметила этого. Её скулы покрывали золотые пятна. Или это тени от лип? Дверь открылась. На пороге стоял отец.

— Здравствуйте... уважаемый... — произнесла она и со страхом заозиралась.

— Александр Александрович, — помог я из-за её спины. — Привет, папа!

* * *

Прошло полгода. Я пишу эти строки в своей комнате за столом, напротив спящей Себарги. Она вошла в наш дом как некогда утерянная неотъемлемая его часть.

Мой отец, вновь заговоривший, первое время забавно крутился вокруг неё, словно боясь за меня. Словно она могла в любой момент раствориться в воздухе и оставить его сына в одиночестве, как оказался в одиночестве он сам. Мою историю он выслушал с чрезвычайно серьёзным видом и настоял, чтобы я написал обо всём этом.

— Я устал от историй, папа, — возразил я.

— Этим тыкрепишь её существование. Ведь не зря говорится: что написано пером... Если бы я в своё время додумался до этого при жизни твоей мамы... — Он замолчал.

Я обнял его:

— Ты прав. Начну сегодня же.

И вот — пишу, ночью, и не верю, что это произошло на самом деле. Не сошёл ли я в самом деле с ума на почве экзотических историй? Верно ли, что я вообще отъезжал из дома? Может, и войны никакой не случилось?

Я оборачиваюсь и смотрю на неё. Да, рядом со мной спит живое свидетельство того, что всё это правда. Себарга — есть. И война есть... Какая между этим связь? Я не знаю. Да и знать не хочу.

Я разглядываю её слегка утиный нос, безупречную линию губ, пространство закрытых глаз...

Вдруг это пространство начинает дрожать, увеличиваться и распадаться на водяные нити.

И — пузыри. Я вижу пузыри. Они надуваются и лопаются... лопаются и надуваются на тряпочке с бараньим жиром, приготовленным Себаргой для дойки козы, а также на пиалах, из которых мы недавно пили чай.

Грохочет гром. Я стою у окна южной комнаты и рассматриваю тёмные окна флигеля Себарги в ожидании уазика Исаева, который должен прибыть утром...

«Шу-шу-шу...» — всё так же шелестит дождь, а небо на севере из-за молнии подсвечивается белым.

Бог мой, всё, что было, — было сном. Я не был в той долине, я не спасал Себаргу, тонущую в озере, я не встречал отца... но...

Но ничто не мешает мне повторить всё это наяву. Я сжимаю в ярости кулаки, чувствуя в них силу — это чугунные гири, способные обрушиться на волков всего мира с ужасающей силой. Я ничего не боюсь, и при этом я разумен, ибо теперь я знаю, что делать.

— Женское божество, — шепчу я, — помоги нам, помоги...

Анна Золотарёва

Что написано сердцами

* * *

Франциск молил о смерти чтобы в вечной
воскреснуть жизни — умер и воскрес
а я паршивая заблудшая овечка
Твоих небес

привязываюсь ко всему земному
бреду без цели блея — Боже мой
дойду ли я когда-нибудь до дому —
хочу домой

то волк страстей терзает то кормушка
прельщает славы то засну то в пляс
любви и милости великой побирушка
но придет час

явлюсь в бессонницу овечек счетоводу
барашком вспенюсь на морской волне
иль стану агнцем закланным в угоду
родной стране

* * *

вышла дурочка из дома
что не помнит потеряла
вкруг неё струится время
на неё взирают звёзды

Золотарёва Анна Анатольевна — поэтесса, переводчица. Родилась в 1978 году в Хабаровске. Окончила Хабаровский институт искусств и культуры по специальности «Психолог — социальный педагог». Училась в Литературном институте им. М.Горького. Работает в Российской государственной детской библиотеке. Публикации в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дети Ра», «Дружба народов», «Знамя», «Интерпоэзия» и др. Автор книг стихов «Зрелище» (М., 2013) и «Несуществующий свет» (М., 2024). Лауреат многих литературных конкурсов и премий. Живёт в Москве.

побоку река проходит
по другому травы встали
а она летит касаясь
маковкой сливовой ночи

что накоплено веками
что осмыслено умами
что написано сердцами
что воздвигнуто руками

как сокровища хранила
умножала прибавляла
не заметила прореху
и теперь пустоголова

вся теперь пуста в пустую
льётся песня сыплет слово
благодать нисходит светом
ходит дурочка сияя

* * *

чубушник — жасминовый самозванец
расцвёл повсеместно теперь трепещи
ты скоро станешь совсем оборванец
тебя раздербанят в хлам москвичи

они понесут тебя в потных ладошках
к любовникам тайным где ткнут соловьи
и лягут на парковых тёмных дорожках
улики бескровные ветки твои

растащат на ахи и охи в плохие
восторгом дрожащие впишут стихи
где дышит судьба бушуют стихии
и пахнет жасмин как любимой духи

прихватят домой возьмут на работу
занюхают белые вусмерть цветы
как имя твоё откуда и кто ты
не зная и знать не желая кто ты

* * *

лучший танцор — дирижёр
к палочке чьей пришит
звнящими нитями хор
смычков и воздух дрожит

латунные рты труб
золотые горлышки флейт
тот инструмент груб
а этот чистый елей

бок изгибает рояль
на все октавы горазд
дубася струнную сталь
и низко гудит контрабас

вот танцор задрожал
руку поднял — тишина
воздух рассёк и в зал
обрушивается волна

и грохот оваций окрест
и только о нём разговор
чей танец играет оркестр
тот и лучший танцор

Лучший день

значит будем смеяться и веселиться
ведь совсем уже от тоски одурели
как смеются с ума посходившие птицы —
снегу-то навалило в апреле —
застрелиться!

вот хохочет ночь — чёрный рот свой открыла
полдень корчится — колокольчики в горле
ну давай озаряй же унылое рыло
смехом сполна дарованным горним
всем дурилам!

тот кто с самого детства был к скорби приучен
только смеевом с ней и умеет бороться
и глядишь по-над тьмой закоулков излучин
вырастет день напоённый солнцем —
самый лучший!

* * *

Весной в пальто осеннем тепло,
Но долго в нём не гуляй,
А то решишь, мол, встань на крыло,
Брось всё и лети!

Такой весны не помнит никто —
Она как блуд горяча:
Скидай — кричит с порога — пальто!
Разум задузив.

Такой весны мы ждали давно —
Пришла, и как с нею быть?
Её за дверь — влезает в окно,
Будь! — простынет след.

И если я исчезну за ней,
Кто вспомнит: была не была?
Зачем являлась сюда? — За ней
И поднять стрижа.

llorando

сильный дождь не может идти вечно
ничего не может идти вечно
вечно только то что всё конечно
да и то наверное не вечно

где я где я та что ожидала
что когда-нибудь моё настанет время
та что слов точила злые жала
и высмеивала слово бремя

что была крылата и летуча
огневласа — из такой породы —
то ль сама орлица то ли туча
ветром уносимая свободы

а потом решила встать когда-то
и смиренно охранять чужое поле
чтоб другой сноровистый оратай
урожаем знатным был доволен

и когда уже так много много
прожито сжимаюсь и немею —
подступает осень дней к порогу —
дай! а ничего и не имею

вот теперь ценю я скоротечный
сильный дождь лиловых туч строенье
зыбкое нежданную встречу
и невыверенное стихотворенье

Александра Сорокина

Перелётные

Рассказ

— Что за птица идёт по воде?

— Качурка.

Я обернулась и увидела, что Рахим от южного солнца — загорелый, в то время как я — варёная. Мои светлые волосы пушились во все стороны, его тёмные и гладкие были зачёсаны назад. Я впервые надела платье с вырезом, он вышел по-дворовому: в мятой футболке, старых шортах. Для нас Рахим не наряжался, для себя и подавно.

— Жаль, мы не ходим по воде.

— И хорошо, — он поставил ногу на хлипкую скамейку.

Не может сесть по-человечески. В прошлый раз мы играли в «правду или действие»: он заставил меня залезть на дерево, я накрасила ему губы. В прошлый раз я глядела сверху, но мы всегда наравне. Рахим — настоящий мужчина: гоняя в «казаки-разбойники», ловит ту, кто сильнее сопротивляется.

Я кусаюсь. Он ловит меня.

Хорошо, человек не ходит по воде, он и без того выпендривается.

Рахим стоит на земле и считает себя взрослым. Гордится тремя седыми волосками, говорит прокуренным голосом. Мне нравится слушать любой его бред едва ли не больше, чем издеваться над ним.

— А что ты здесь делаешь?

Уличное застолье не заканчивалось.

— Стою.

— Ты не любишь праздники.

— Я и не веселюсь.

— Заметно.

Рахим был серьёзный, пасмурный. В нашем теннисном клубе он такой один. Остальные сбивались в стадо, кучковались вокруг молодого тренера, ради которого я купила ракетку.

- Костя зовёт в команду.
- Ты не умеешь играть.
- А ты — общаться.
- Я слишком устала, чтобы тебя бить.
- Лучшее, что слышал за два года.
- Лучшее — впереди.
- Уже нет. Отца переводят.

Он достал из кармана мобильник, облезлые кнопки жалобно запищали. Я молча следила за качуркой, скользящей по огромной луже, которую птица по наивности приняла за пруд. Рахим ушёл, я думала утопиться. Не помню, сколько энергетиков выпила. Помню, как подвывала счастливой Алёне по пути домой. Лучшая подруга потому и лучшая, что живёт в соседнем доме. Печёт вкуснейшие пироги с ягодами и совсем не замечает, что мне плевать на Ваню. Конечно, Ваня ей признался! С этими двумя давно всё ясно, но им мои тучи не разогнать.

Я попрекнула бесчувствием. Следующим вечером мы стояли у подъезда Рахима. Курносый и косолапый Ваня заикался: «Эт-т-т где-сь?»

Длинный двухэтажный дом — или барак? — стыдливо прятался за кирпичной пятиэтажкой. Железные балконы, разбитый порог, дверь без домофона — в Москве облупленного старика давно бы снесли... как легко на юге! Застройка плотнее, нормативы проще — окна в окна с новостройками. В тесноте сокровенному нет места, потому ли Рахим умный такой?

— А розовый тебе к лицу! — рассмеялась Алёна.

В махровом халате он был зол и смешон.

— Что вам нужно?

Внутрь не пустил.

— От-т-мечать пришли! — Ваня крутанул вперёд рюкзак с едой и выразительно похлопал по надутому кожаному животу.

— Что?

— Твой отъезд.

Да, это я. Чего это я?

— Отец спит, — нахмурился Рахим. — Уходите.

— Пошли во двор, — не сдавался Ваня. — Харе ломаться!

— Альфа-самцы не выходят в халатах, — слова выпрыгивали сами, я не успевала их ловить.

— А бета-самцы? — парировал Рахим.

Разбойникам закон не писан, но по горам бегать запрещено. Даже у моей учёной матери есть ружьё. Её заботливые руки заплетали мне косы, ветклиника «Заботливые руки» открылась в Ванином доме, рядом с секцией дзюдо. В подвалах лечат животных, калечат людей. Старики не разнимают: «Атаман Платов приветствовал мордобитие». Дабы не исчез воинский дух. Ух!

Разбойничая, мы с Алёной часто пили чай на её балконе. Смеялись над тем, с каким усердием и отчаянием мальчики прочёсывают дворы. Лучший обзор открывается с крыши, но их начали закрывать после того, как наша одноклассница

сорвалась. Ей не удалось шагнуть с парапета на общий балкон в подъезде. Её мать закрыла школу шпагата и уехала в Москву, а мы не знали, что сказать.

Отважная многонациональная братия просуществовала ещё полгода, а потом разлетелась — один заикнулся о чувствах, другой их не разделил, переругались все. А вчетвером мы не были командой.

— В «казаки-разбойники»? — предложил Ваня, когда спустились вниз.

— Игра для мелких, — отказалась Алёна.

— И Рахим в халате. — Да, меня не остановить.

— Тебя это так беспокоит... — Усевшись на лавочку, он закинул ногу на ногу. — Костя халатов не носит?

Почти забыла, что не промахивается.

— Дешёвая провокация, — ну а я не уклоняюсь.

— Это моя лавочка, — согнал нас чей-то дедушка с газетами в пакете.

— Куда теперь? — спросила Алёна.

Ваня махнул рукой, и мы перенеслись к реке. Каждый на своих двоих, а Рахим — босиком (кошмар). Мы были юны и смелы, однако на входе в парк ступали: вместо фонарей горели ручные фонарики. Душным майским вечером в беседках что-то распивали-распевали, спали бомжи и целовались старшеклассники. Мужчины в спортивном лежали без дела и в зной. У них не было денег пировать у осетин, лечить зубы у армян или нанять ингушей-охранников. Приходилось спать.

Щедрый, благодатный край! Буйство красок, и небо — чистейшее! Бывают дни, хоть с пылесосом ходи, ни облачка не втянешь. «Что ж людям не живётся?!» — спрашивала мама.

Я случайно зарядила Рахиму локтем в кадык, он молча взял меня за локоть и повёл за собой. Змейкой мы огибали движущиеся горы мусора, спускались по заросшим тропам и не заметили, как потеряли хвост. Едва не нагнувшись (снова), я ухватила за чужую голую коленку, как за выступ. Под халатом были шорты, ладонь обожгло, как от крапивы. Рахим, явно не в своём теле-уме, не обратил внимания. Несговорчивое солнце спешно скрылось за горизонт, но низкая полная луна ещё не каталась по крышам.

В седьмом классе с нами что-то произошло: вместо того, чтобы воевать с пацанами, девчонки садились к ним на коленки. Жгли волосы плойками, стягивали лодыжки ремешками босоножек на каблуках (высоту измеряли линейкой). Загнанные зубрили бежали из школы домой — скорее за компы, другие, неправильные, бежали за гаражи. Слушали рок, обсуждали прошедшие драки. И на спор рисковали: при зрителях я решительнее, могу хлебнуть алкоголь, чтоб никого не целовать. Отстаньте уже. Правда или действие? В городе настолько нечего смотреть, что мы слонялись по продуктовым, любовались полками. То заставленными, то совсем пустыми. Надо же, кока-кола с ванилью... И шаурма подорожала. Не печалься, Ваня! Ловкий Рахим был по-спортивному сложен, не пил алкоголь, потому что не хотел. Как бы в шутку я лохматил его шевелюру. Кто-то из девчонок пустил слух, что у него — парик. Неправда! Кто врал о первой любви, воображал её, кто боялся секса, а кто —

делился опытом. Яна была из последних, пока не сорвалась. А я... застряла между.

Математик сказал Алёне, что черкешенки изящны, а русские — «коровы». Ещё он сказал, что я буйная, энергия моя мечется, а у действий нет вектора. В дневнике написал короче: «Курила в туалете. Поведение 2». Я не курила, я с ним спорила. Дура. Говорят же, мужчин надо хвалить дважды в день. Я брезговала. А Яне (что сорвалась) как-то засунули каблук в рот: «На, соси».

Люди не равны.

Рахим и я... сели на противоположные стороны замкнутых в кольцо скамеек, в стороне от рыбацких точек. Нас охраняли облезлые, хохочущие садовые гномы. Я ждала: вот-вот скажу. Я же репетировала! Например: «Что ты за человек такой? Есть нормальные парни, а есть...» «Что я сделал?» — спросил бы он. Но я молчала, и Рахим отвернулся, чтоб закурить.

Мог бы дать нам исчезнуть в дыму. Мог спрятать на базе, куда после школы тащил меня, беглянку, обхватив под коленками, закинув на плечо. Металлическая паутина куполом нависала над песочницей — из неё не выбраться, запрещено. Его белая расстёгнутая рубашка была в пыли, волосы и шея взмокли. Я до последнего царапалась, намереваясь распустить ему вены. Как ленты.

Бесит.

— Куда они провалились? — громко возмутилась я. — Уверена, это Ваня...

Рахим протянул сигарету. Растерявшись, я поблагодарила. Крутила её меж пальцев, пока не переломила.

— Ненавижу запах.

Чистосердечное.

Он пересел поближе и взмахнул рукой, чтоб отогнать дым.

— Что было в том рюкзаке?

— Ты ел сегодня? — Тишина. — Купим ещё, — пообещала, будто взяла кошелёк.

От нервов взяла только себя. Чем я пахну?

— Ты в этом платке похожа на верующую, — его шёпот опалил мне ухо.

— Голова грязная, — откровенно назло.

— А помыслы?

Такой довольный. Знает, как со мной разговаривать.

— Ты выглядишь глупо в этом халате.

— Пофиг, я уезжаю в Ташкент.

— Повтори ещё триста раз.

— Давно они вместе?

— Алёна с Ваней? Один день.

— Его отправят в военно-морское.

— Все разъезжаются.

— И Костя?

На корт Костя приезжал на посаженной тойоте, в которой был застрелен его брат-легенда. Тот летал с сумкой наличных: поднялся — и опустился, — на поставках оружия в ЦАР. Подражая ему, Костя откровенно лихачил. Однако стоило мне повзрослеть, как перестал брать на руки. Моя двоюродная сестра

закончила пятый класс, но вопросы о ней я пропускала, как мячи, и Костя от меня отказался: «Все русские — шлюхи».

— Мы не были вместе. Честно!

Нас покусали комары, Рахим расчесал моё запястье. Я пьяна, будто переела винограда. Лицо горячее, глаза напротив — круглые, чёрные.

— Я вспомнил, где достать еду. Если не боишься.

Да, с его лицом положено играть любовников.

— Не боюсь.

В частном секторе лаяли грациозные свирепые доберманы. Мы шли по другую сторону высокого забора. Рахим рассказывал про мужика из Нальчика, что держал двух самоедов. Держал в руках отелей тридцать по региону, а начинал под мостом — с публичного дома «Сауна». Там до сих пор открыта его же автомойка. Рядом с шашлычной, где жарят по специальной технологии: кусочки со спичечный коробок. Женщины — нечистые, не должны притрагиваться к мясу. Десять очков мужчине у мангала! По выходным Рахим мыл машины, и эта незаконная подработка делала его почти недостижимым.

Шлагбаум отсутствовал, но в домике охраны мерцал рассеянный свет. По периметру — малоэтажная кирпичная застройка. Нотариус, ремонт обуви, ивановский трикотаж, бочки из Кавказского колотого дуба. Всё это богатство сторожил семидесятилетний бабник, которого содержала мать: оба славились необъяснимой, раздражающей живучестью. Рахим прошмыгнул на пост, а уже через минуту вывалился из домика, поигрывая ключами: «Аркадий отдыхает».

Неокрепший асфальт проваливался, Рахим то и дело замедлял шаг: засомневался, пускать ли на мужскую территорию? Нас встретила полуголая девица с грудью, какой у меня точно не будет.

Слава Богу, эта сука картонная.

В рабочие часы мойщики трутся возле неё, зазывают бесстыдно, как проститутки за складом игрушек Карена. Все друг к другу приглядываются, но в тот вечер за нами не следили: неработающие камеры нужны для устрашения, а стеклянные глаза брошенных на стоянке машин прикрыты плёнкой тонировки.

Мы могли сойти за мираж: в пыльном городе водителям часто мерещатся автомойки — оазисы с чистой водой. Даже такие, из ненавистных сэндвич-панелей. Внутри мне провели экскурсию: офис, он же комната для клиентов, кабинет директора, три бокса, занавески полиэтиленовые, не все раздвижные. «Не запутайся, а то задохнёшься». В технической комнате стоит поршневой компрессор, похожий на мини-боеголовку. Днём клиенты-шейхи лежат на кожаных диванах, едят сухофрукты и шоколадки. По телевизору им доказывают, что жить лучше в золоте и блёстках, а СПА достойны и женщины, и машины. Шейхи чешут бороды, пока пляжные мальчики сушат пылесосом тканевые коврики. Случайно не опала?

Рахим набросил на голову капюшон халата и принялся хозяйничать. В раздевалке, камерке в шесть метров, гудел низкий холодильник. На пластиковых стульях лежали пачки тряпок и губок. Моет посуду Рахим явно лучше меня. Лет через десять расскажу в интервью, как он ухаживал: то высмеивал, то смущался.

Грубые руки не слушались. Присев на корточки, Рахим засунул голову в холодильник, понюхал чью-то крошку в кастрюле и выругался. Закрыв плечом застывший на дверце жир (вроде, селедка), перебирал огурцы-помидоры, вертел в руках кусок сыра. Плесень на нём была местная, не французская. Лучший игрок в пионербол, Рахим бросил мне йогурт, но промахнулся.

— Тебя не будут искать? — и дверцей по затылку! Но об этом ни слова. — Любишь сулугуни?

— Всё люблю.

— А дошик?

Доширак для своих, конфеты для гостей, рахат-лукум — под запретом. С него и начнем. Разберёмся за столом в клиентской. Все разборки начинаются за столом. «Да возьми ты пакет! Побросаем в него». Но Рахим крутился, пытаясь оттеснить меня к выходу, а сам тормозил, как Ваня. Если бы не воинственный вид, мог бы сойти за главного школьного м-м-мировотворца.

Да выхожу я! А то дадут по рукам? Ну а вдруг... Вдруг он хотел сделать мойку двухэтажной, обслуживать не приоры, а спорткары, и ездить на все формулы как главный механик. Я могла сказать «всё будет», но нет.

Или да? На веранде парижского кафе будем поливать вафли белым шоколадом.

— Бери помидоры, и нарезку, и сметану... — командовала я. — Потом ограбим банк, как те двое... Как их звали?

Хотела, чтоб он ответил: «Какие у тебя планы!»

Подкрепившись, мы разомлели: Рахим откинулся на спинку дивана, а я ворочалась, пока, осмелев, не положила голову ему на живот. Твёрдость прессы меня устроила. Наверное, там была кнопка, потому что Рахим погладил меня по голове и заговорил.

Где-то с неделю назад заезжал бывший глава района, его раскрутили на полировку, а потом он пропал. Приезжали горцы, которых обслуживали бесплатно... не перебивай... да не было пальцев в багажнике! Наведывался эколог, выступавший против захвата-застройки природоохранных зон. Такой забавный! Трясся над дедовской «Волгой» ГАЗ-21, воскрешал её по частям. Пригласил к себе на конеферму. Ночью все спали, а трезвый Рахим вздрагивал, когда собаки лаяли на шакалов. Московские подсутились, эколога посадили, бизнес его отобрали. На мойке была душевая: чтоб, ополоснувшись, выйти с чистой душой.

«Я их всех ненавижу», — признался Рахим посреди своего рассказа, в разгар глубокой ночи, наступление которой мы проморгали. Вдвоём украли свет, погасили всех. Рахим грыз ногти, мне это не нравилось. На безымянном изложил теорию: людям, которые ничего не изобрели, нельзя носить оружие. Клянусь, он бы заплакал, если б умел.

Исповеди я привыкла наблюдать со сцены. Не могла же я ему хлопать? Похлопала по плечу. Я тут.

— Что значит АД?

Я задрала голову: Рахим был надо мной и подо мной, но не со мной.

— А ну, хватит! — я резко села и вцепилась в его жёсткие волосы.

— Ай! — завопил Рахим, согнувшись пополам. — Ты охренела? Берега попутала?

Я соскочила с дивана и побежала в пустой бокс. У входа висели красные комбинезоны: люди — живая мишень.

За мной гнались.

— Руки за голову!

Я сняла с настенного крепления чёрный шланг и направила на противника пистолет. Красный метровый бак, похожий на школьный огнетушитель, стоял у моих ног.

Рукоять нетяжёлая, или это у меня рука лёгкая?

— Ты кому угрожаешь?

— Вы арестованы.

— Не тот пистолет, — Рахим повернулся ко мне спиной и подкатил к себе ожидавший в углу жёлтый чемоданчик. — Ты держишь пеногенератор, а у меня АВД. — И зачем-то добавил: — Керхер свинью порезал.

Чемодан — не чемодан: к его бокам Рахим подсоединил два шланга. Один вёл в котельную, к насосу, второй был метров десяти. На конце — пистолет с длинным жёлтым стволом.

Нас будто сняли с предохранителя.

Рахим вытащил из ведра щётку для салона, подкинул её до потолка — и выстрелил водой. Пластик лопнул, щётка разлетелась надвое, её чёрные усы упали позади меня.

— Ты выстрелил! — я заливалась от радости.

Мы устроили дуэль на водяных пистолетах. Я лавировала-лавировала, хотя струя и без того в последний момент заботливо обходила меня.

— Получай! — Эхо как в спортзале.

Я поскользнулась на покатом полу — и разрежала резиновые сапоги врага. Рахим выволок из комнаты пакет с продуктами, в воздух взлетел пакет кефира.

В сырости лёгкие хоть выжимай.

Насквозь мокрые, мы залезли в семёрку директора — разбитую бэу, припаркованную в дальнем боксе. У женщин нет прав, но я за рулём. Магнитофон сломан? Нормальный у меня вкус. Нет, диско не для лохов.

Плечи накрыли мягким полотенцем.

— А себе?

— Я не заболею, я же не ты.

Ужасные мысли толпились в моей голове. Я сидела, они лезли.

— Давай уедем?

— Куда?

— Москва, Нью-Йорк... У тебя есть амбиции?

— Я не брошу отца.

Его отца считали пьющим и безвольным: работал на учениях, а в остальные дни приходил на развод и занимался своими делами. Прапорщик, ответственный за аквариум. Но теперь его переводят.

Вдарим по газам!

Мы неслись к морю, стоя на автомойке. Право руля! Проехали поворот. К чёрту эту дыру! Мы врезались в защитную ролету, я ударилась затылком о подголовник. Взыла сирена, Рахим схватил меня за плечи:

— Сумасшедшая!

— Убивают! Режут! — горланила я.

— Тебе не на теннис надо, а в театральный.

Он всегда смеётся надо мной, но смех лечит.

— От тебя можно услышать что-то хорошее?

— Ты поступишь, — Рахим зарядил мне два щелбана.

И поцеловал.

Кажется, так по-человечески мы не говорили никогда.

Дома я улеглась на ковёр прямо в одежде. На подоконнике распустился ярко-жёлтый бутон кактуса. В магазине соврали, что не зацветёт.

— Как пижамная вечеринка? — мама разбудила, приоткрыв дверь.

Стеклянную, прозрачную. В комнате царит порядок, а в голове — бардак. Его не видно.

— Ну что? — С утра не соображаю.

Что ей надо?

Моя удивительная мама не проверяет уроки, не любит тёток из родительского комитета... те пасут детей, как скот. Нет, моя мама воспитывает по-другому: после моего побега из дома она подарила мне «Над пропастью во ржи». Под её присмотром я прочла книгу за вечер, а потом тайком сделала из страниц двести корабликов. На море меня не отпустили, от кемпинга оградили, отправив подрабатывать в единственную в нашем городе библиотеку.

— Как Алёна? Гипс уже сняли? — В одном нижнем белье стройная мама копается в тумбочке, ищет украденную заколку. — Если она снова впарила тебе добавки для вечной жизни...

Я перекатываюсь на спину и закрываю глаза рукой. Волосы матери неприлично длинные. Когда я сбежала, папа грозился вымести ими пол.

— Мы всю ночь чинили комп.

Мой локоть пахнет мужскими духами. Почему апельсиновые?

— А что случилось?

— Ваня — идиот. Скинул фильм с вирусами.

— А тот мальчик с поломанными ушами тебя не обижает?

— Нормальные у него уши.

Рахим не боец, он отличник. Карен или Рубен прочил ему техникум: будет чинить холодильники и сплиты.

— Ты не бойся, наш папа проведёт с ним беседу.

Мой папа — подрядчик, он всяких рахимов, отцов всяких рахимов бригадами увольняет. Я — недоношенная, мой брат погиб в утробе, а маме запретили беременеть после тридцати. От безысходности папа учил меня разбираться в футболе.

— Придурок! — ругался на британского тренера. — Зачем выставять на пенальти чернокожих?! Ты, Жанна, не кривись. Это не расизм, это медицина.

У негров — самая неустойчивая нервная система. У них на ногах — мышцы, которых нет у белых.

— Это какие?

— А он не думает! Нехрен всех равнять! Не будет кубинец работать, как китаец. Знаешь, какое у них оружие? Тяпка!

— Китайцы — математики.

— Потому что их дофига. Но скажи мне, нахрена равнять бельгийца, который красит свой забор, и русского, у которого забор сломан? В моём детстве была шутка «Еврей-дворник». Знаешь почему?

— Они учёные и скрипачи, — покорно ответила я.

— Но еврей — это состояние души, — вставила неортодоксальная мама.

— И евреи не идут на бокс, — разогнался папа, — а кавказцы...

После банки пива: «Бьют».

После ещё одной: «Убивают».

Но Рахим обожает математику, он лучший в задачах на движение. С изобретением машин люди начали спать с теми, кто живёт дальше соседней деревни. В смешанных семьях рождаются самые красивые дети.

Я сижу перед зеркалом, мама заплетает мне косы.

— У меня три пары плюс защиты, — вздыхает она. — Не забудь, вечером фотографируемся на паспорт. Вера на кухне, скажи ей, что хочешь на завтрак.

Я ничего не хочу.

Мне исполнилось четырнадцать, или двадцать, или шесть, или двадцать шесть. А может, я только готовлюсь родиться?

По паспорту Рахим, мать его, Заурович, а я пока без паспорта, пока просто Жанна. Здесь будущее кажется невозможным. Здесь я превращусь в *них*. По пути из школы вижу, как женщины-мулы, красные от солнца, мокрые от пота, тащат продукты с рынка, кормят армию-ораву, смотрят тупые сериалы. Вера без семьи. Из-за моей семьи на её ладонях — шишки, на голенях — синяки. Она готовит нам третий год, с тех пор, как мама взбунтовалась.

На кухне солонка обнимает перечницу. Я подтягиваюсь на руках и усаживаюсь на барную стойку. За окном барабанит дождь, я стучу по дереву, в ритм не попадаю. Музыкальный слух у меня от чёрта, не от Бога, но в школьном спектакле петь не требуется. Достаточно выучить текст на английском. Нас больше, чем ролей, так что золушек четыре, а крёстная — одна.

Была я.

Папа обещал не трогать Рахима, если откажусь от постановки. Школу можно пережить, если представить, что химия — это живопись, а физика — танец.

Долой театр! В нём служат одни дуры. От Москвы все беды, а я ею брежу. Чужие тексты читаю выразительно, свои — от сердца, — пишу с ошибками. Нестрашно, это ошибки сердца.

Я открываю красную раскладушку и набираю номер, сохранённый в контактах. Набираю, зная наизусть. Пробираюсь через долгие гудки, уши закладывает, в раковинах лопаются пузыри. Слышу голос из глубины:

— Как здоровьице?

— Тётя, осмотри меня. Я себе не нравлюсь.

Рахим заразил хрипотцой. Тётя врачует на кораблях дальнего плавания, из каждой поездки присылает вещи, заряженные энергией: руку Хамса, «око сатаны», бронзовую статуэтку Ганеши. Во Владивостоке её ждёт фрегат «Паллада»: осенью поднимет паруса и унесёт в кругосветку. Тётя обречена скитаться: не может сойти на берег, как Деви Джонс из «Пиратов Карибского моря». Её нынешний возлюбленный — госпитальное судно «Разящий», — бросил якорь в морском порту, в трёх часах езды от нас. Папа видел сестру, говорит, у неё отросли щупальца, а сердца нет: отсырело на краю земли. Человеческая форма уходит, меняется. Бездомная тётя была даже на Бали.

— Конечно, приму. Только отцу не говори...

У меня не враньё, а вся жизнь показательная.

Сколько времени? В двенадцать карета превратится в тыкву.

Горячую воду отключили. Вера притащила мешок картошки, пытается включить кофемолку. Сломалась. В который раз слышу причитания, что двадцатый век всех перемолол — и на семейном древе не осталось листьев. На истории об этом ни слова, на биологии тоже.

Я держу чайник на весу, он отчего-то закипает.

— Не выйдешь, пока не поешь, — своим рабочим телом Вера закрывает выход из кухни.

Отказываясь, хватаю кастрюлю с остывшей водой. Держу двумя руками, но вода всё равно льётся через железный борт. Корабль отбывает, жизнь убывает. Не нужен мне паспорт.

— Бандитка!

Вере стоит ополоснуться. У меня хватает ума всучить ей кастрюлю и нырнуть под локоть.

Плющ оббивает наш высокий забор, в проезде соседский мальчик катит детскую коляску, внутри лежат две бутылки питьевой воды. Мальчик замирает, услышав муэдзина. Я сегодня без крестика. Рабочие обедают, устроившись на земле. Они сегодня кладут асфальт. Дорогу в проезде не взрывали, она просто старая. На нашей улице пахнет гарью, в выбоины с щебнем стекает дождевая вода.

Вера кричит с балкона:

— Шас ливанёт!

— Это бьёт жизнь!

Многих бьёт жизнь.

Оставьте Рахима, отстаньте от Рахима. А кто его будет воспитывать?

Я. Сомнения не терзают, но, испугавшись своей порывистости, я мешкаю перед его дверью, тяжёлой, закрытой, непохожей на мою. Рахим сдержан тугими петлями, но я верю, что он не глухой.

— Что с тобой?

Мои волосы — влажные, но он смотрит в глаза. Придерживает дверь спиной, за ней кто-то скребётся.

— Помоги! Я оглохла!

— Из-за меня? — Он поднял бровь, мои взлетели обе.

Кажется, слышу только его.

От боли готова кататься по полу: жалуюсь, жалуюсь, жалуюсь... Рахим встряхивает меня за плечи: не верит, что от майских дождей у местной стреляет в ухо. Что дома никого нет, друзей нет, телефона нет, что тётка обязательно вылечит.

В квартире бьётся посуда и слышится мат. Я порываюсь зайти, но Рахим отталкивает меня и хватает за руку. Мы сбегает по сбитым ступеням, бежим в центр, где мемориал солдатам Великой Отечественной, памятник погибшим в Чечне и православная церковь. Бежим до ворот школы: там сын папиного прораба Артурчика режет ящерицу. Во дворе косят не траву, а наши задатки. На корню.

Рахим отпускает мою руку и вытирает лоб изнанкой футболки, а я тяну его дальше от школы, от отца, тяну на себя. Пойдём со мной, я знаю, кто нам поможет. Потянем время, авось распутаем. Останемся в нейтральных водах.

На автобусной остановке галдят три торговки с клеёнчатыми сумками. Это наши люди? Чушь, наших здесь нет. Я осматриваюсь, чтоб чужие не засекли.

— Это наш автобус взорвали в марте? — гаркает одна в лицо соседке.

— Не, то был «Икарус».

— Вообще-то, — лезет третья, — взорвали наш. А «Икарус» в январе.

Ну извините.

Все вместе толкаемся в советском автобусе: Рахим держится за поручень, а я — за него. Другой рукой он прижимает меня к груди. Я носом бьюсь в его шею. Чувствую, как бьётся жилка. Какая-то жилка внутри меня.

— Рахим!

— Скоро доедем.

— Я хочу на Бали.

Склонив голову, он смеётся мне в ключицу, мажет носом по красной родинке на плече: на жаркий, но не жестокий остров Бали хотят все, кто там не был.

— У тебя даже паспорта нет.

Подумаешь, взрослый! Старше на полгода, с матерью прожил полгода, пока ту не забрали в больницу с аппендицитом. Больница Ипатова — психиатрическая. Аппендицит там не лечат, а вот сектантов — да.

Его матери некуда спешить, а мы едем дальше, вдоль поля поникших подсолнухов. Целая туча подсолнухов! Непогода позади. Мы едем молча, как самые близкие.

Слышится: «Фас!»

Пассажиры нервничают или спят. Водитель бьёт по гудку. Кондукторша — в балетной пачке поверх кружевной кофты, а контролёр — в розовых шортах и блузке в мелкий цветочек. Женщины на службе не знают возраста: поздно молодятся, рано старятся.

Люди прогуливаются по веренице узких улиц — периферии городской кровеносной сети. Дороги в портовых городах будто выходят из моря или сползают с гор. Купив на рынке чёрную кефаль, хромая бабушка выпускает её

с причала. Дохлая рыба не уплывает. Тигры плавают, но на набережной их держат в клетках. На постамент взобралась жена моряка, мальчишки лезут ей под бронзовую юбку. Дети помладше визжат на аттракционах, пускают пузыри, лопают сахарную вату. Я голодна, мне это нравится.

В пятницу днём мужики начинают праздновать выходные: кидают в багажники фейерверки и хлопушки. Лохматый пожилой казак патрулирует общественный пляж, пока его дружинники (по виду — сыновья) отдыхают в парке. Кто в черкеске, кто в кителе, а этот ещё и в орденах! Какие — не понять! Опираясь на парапет, старик с тоской вглядывается в даль: на другой, желанной стороне гавани заново собирают пострадавшие корабли. Цветные контейнеры выставлены на обозрение: их можно подцепить железной клешнёй и поставить на рельсы. Пыльные товарняки отбывают в регионы, разносят соль земли. Я видела её своими глазами, в открытых вагонах, когда мы шли по мосту.

Гудят новоприбывшие балкеры, подле них теснятся танкеры. За мазутным терминалом работает новенький цементный завод. Мы щуримся от такого богатства.

Автодорога выходит из города, петляет в лесах, которые вывозят за рубеж. Меж гор остаются пансионаты, базы отдыха и кемпинги (туда меня не пустили). Одноклассники жаловались на запах солянки и закрытую смотровую площадку: её забрали нефтяники. Их репутация давно в пятнах.

Через мост — база Военно-морского флота. Казак трёт глаза, но отсюда её не разглядеть, только расслышать. Здесь вольная зона, там — закрытая.

Мы с Рахимом успели обсохнуть, но желтозубый рыбак всё равно пялится на меня. Прихлёбывает кофе, распутывает канаты в посудине «Моби Дик».

Название на вырост?

Среди малых траулеров пассажирский теплоход кажется гигантом. Ярко-красный, местами ржавый, он зазывает на морскую прогулку. В кассу — очередь: понаехали из соседних деревень. Сфотографируются — и обратно! Тётя обещала освободиться через час. Счастье, будто дали «Оскар»! Голос из трубки — в моей голове. Эта ясность — то, что нужно в море и на земле.

— Жанна, это глупый план, — Рахим его разгадал. — Реально заболеешь.

— Но ты же хочешь сбежать? Я вижу!

И умоляю.

— Нас вернут, ты уедешь в Москву...

— Заткнись.

Гадости надо говорить громко, не на ухо.

Он обнимает со спины, оплетает мои голые плечи и в отчаянном порыве целует в висок. Это всё корабли! Стоящим на набережной вскружили голову. Мне мерещится, что в море опрокинули весь солнечный свет.

— Отца там повесят.

Облака не пришвартованы.

«Тьфу ты!» — выругавшись, казак кутается в китель.

Налетевший ветер забирается под одежду: мнёт тела, как массажист. Папа считает, не надо уворачиваться. Надо первым бить в морду.

Ветер распахивает пластиковую дверь морского вокзала, её ударом гнёт металлический поручень. Прогулка всего полчаса! Когда оплачиваю билеты, Рахим сторонится меня. Его смуглая кожа не боится солнца, он создан для жарких стран. Вот-вот перепрыгнет ограждение, уйдёт по воде. Сам по себе.

— То была не качурка, — говорит Рахим. — Она не ходит по воде.

— Пожалуйста, не выпендривайся.

«Особенно, когда я похищаю тебя».

— Сыграем в «Казаки-разбойники»?

— Не хочу! — топаю ногой.

Мамочки прижимают младенцев к груди. Поглядывая на нас, качают головами. Пришвартованные лодки качаются сильнее тех, что идут на полном ходу.

Проигрывает тот, кто медлит.

Надежда есть! Я вижу, как неунывающий буксир тащит угрюмую баржу.

Рахим толкает тёплым плечом:

— Давай сыграем! В последний раз.

— Отстань.

— Значит, я выиграл.

Он наваливается на меня, душит собой. Не зря тренировал захваты! Я не пацан, но тоже с кулаками. Жаль, сумка на ремешке — мягкая, тряпичная. Отталкиваясь от Рахима, я вырываюсь.

— Не подходи! — развернувшись, кричу ему в лицо. — Предатель! Ты не можешь бросить меня! Я не такая, как они!

Прорезался голос, он твёрдый, поставленный. Я говорю всем телом, оно трясётся. Впервые говорю за себя, потому что никто, даже Рахим, и слова за меня не скажет.

— Ведёшь себя неадекватно. — Он хватается за ремешок моей сумки и дёргает на себя.

Я на верёвочке.

— Не трогай меня! Трус! Слабак!

Во мне клокочет ненависть, и я воюю за её свободу. Рахим поднимает меня над землёй, перехватив за талию, сдавив живот. Не выдохнуть. Я размахиваю руками, чтоб взлететь, бью пятками по его коленям.

— Помогите! Режут! Убивают!

Гениальная актриса на миг себе поверила.

— Не переигрывай, — хрипит Рахим.

Звучит предупреждение. Это выстрел? Дали сигнал с корабля? Нам туда! Пора! Пора! Но Рахим падает на спину, а я на него. Сжимает зубы, как может. Вообще не может. Какие распахнутые глаза!

— Рахим, не выпендривайся, — я бью его в плечо. — Рахим! Алё!

Меня тошнит. Я чувствую свой язык как инородный, мокрый, склизкий. Чувствую корень языка. Не смогла себя послушаться, теперь слышу только себя.

Чайки кружат над телом, пока его не унесут. В полицейском участке висят портреты пропавших девушек, меня среди них нет. В суде — хаос: протоколы не готовы. «Террорист ликвидирован», — докладывает казак. Надо было кричать:

«Пожар!» Почему меня допрашивают как свидетельницу? Кто выстрелил первым? Я?

Успокойся, все понимают, говорят все, кроме отца убитого. Из казака выбивают подробности, он предстаёт то растерянным, то озлобленным. Доходит до вопля: «Только винят! Что плохое, сразу русские! У всех стран есть проблемы, у малых народов — проблемы. А у русских — нет проблем! Закончились русские! Культура умерла! Дух умер!» Вера бормочет молитвы, казака везут в больницу Ипатова. Грязное здание без ремонта, с решётками на окнах. Охраняется на краю поля, закапывает в чернозём, лечит им. Юг всё лечит.

Я забираюсь в кресло, подтягиваю к груди щупальца. «Шоу через пять минут», — говорят в наушник. Помнится, у папиного прораба (да, Артурчика) было две жены и две семьи: незаметная и незаменимая. Я поступила, мастер взял меня восемнадцатой театральной женой. Мы делились на тех, над кем он смеялся, и кого успокаивал. «Прорыдайся в туалете и возвращайся», — просил он меня. А добрые слова? Где мои добрые слова?

Четыре года я слушала воду и училась изображать любовь. Московские мужчины закатывали истерики. «Вы песчинки, — повторял мастер. — Плаваешь в океане, глядите на звёзды, пока пространство постепенно расширяется». В настоящих тропиках мелкие красные прыщи высыпали на лоб, как туристы на песчаный остров. Надо пересмотреть питание, вникнуть, что за фрукты на столе.

Шоу не через пять минут, шоу каждые сто двадцать минут. Не было вчера: штормовали. В гримёрке смотрюсь в зеркало и вижу своё отражение во втором, третьем. Я в рыжем парике, маскирую лицо. Лайнер идёт на скорости двенадцать узлов. Косы я расплела.

На похороны скидывались дворами, в военной части озаботились ветхостью служебного жилья. Человек жив, пока его помнят или поминают? Прошло больше лет, чем мы были знакомы. Но из некоторых воспоминаний приходится выбираться, как из ямы. Раз в год пересказываю себе тот день, боясь что-то забыть. Боясь припомнить то, что его изменит.

Закусываю за Рахима.

Он заземляет меня. Он — моя земля.

Владислав Резников

Новый мандарин

Рассказ

Пьющая Учительница Физкультуры шла по дороге из переспелых мандаринов. Они уводили её всё дальше от цели маршрута — гимназии № 101, где через пять минут у неё начинался урок в 11 «В».

От дома до гимназии было всего триста метров, два перехода по зебре и один пешеходный бульвар, — не спеша, на всё пять минут. Выйти со двора, пересечь бульвар, мимо бетонного укрытия, войти в калитку с пикнувшим магнитным замком и мигнувшим зелёным огоньком.

«Привет, Оксан!» — сказать, если на охране Оксанка.

«Здоров, алкашка!» — услышать в ответ, или...

«Привет, Мишань!» — если Мишка.

«Привет, Клавунь», — скажет Мишка и будет глазами провожать её зад, пока она не скроется в дверях гимназии.

Давным-давно, ещё школьницей, она спалила Мишку, обернувшись и словив его похотливый взгляд, показала средний палец — не для такого козла в саду ягодка росла. Но ей уже было приятно мужское внимание, хоть и охранника, тогда казавшегося совсем безнадёжным стариканом — ему же почти тридцать!

А что, нормальный зад, улыбнулась она себе, для сорока-то годков с хвостиком — упругий, сильный, — её одиннадцатиклассницы с их рыхлыми ягодницами, отожранными в ростиках, ей завидуют.

«Какой Мишаня, дура? — одёрнула она сама себя. — Мишаня сидел на воротах, когда ты сама была одиннадцатиклассницей!»

Тогда ни калитки железной, ни замков магнитных, ничего этого не было. Это сейчас безопасность, безопасность, — время такое. Тогда просто будка стояла, и он в ней, как пёс сторожевой, — такой вот Мишаня всё ей подмигивал.

Резников Владислав Григорьевич — прозаик, сценарист. Родился в 1978 году в Белгороде. Автор книг прозы «Знаки пустоты» (2015) и «Нутрь» (2015), «Небесный бадминтон» (2022). Печатался в литературных журналах, в т.ч. «Наш современник», «Дружба народов», «Сибирские огни». Живёт в Белгороде.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 4.

Её незатейливый маршрут переломился уже на первом пункте, — выйдя со двора и повернув голову влево, глянуть, нет ли подъезжающих к переходу машин, Клава увидела первый мандарин.

Даже подумать ничего не успела — пошла к нему.

Поднять! Схватить! Мой!

Он лежал один, такой яркий на фоне белого, только выпавшего снега, роящегося в свете утреннего фонаря. Спелый, почти переспелый, такой, знаете, который, когда берёшь в руки, не твёрдый, тугой воздушный шар, надутый так, что страшно дотронуться — вот-вот лопнет, — а мягкий, как...

Нет, не как складчатая ягодица старшеклассницы.

«...Как хомячок», — подумала она и улыбнулась этой мысли. Представила, что если взять его в ладонь и чуть-чуть сжать, то можно почувствовать быстро-быстро бьющееся-колотящееся его хомячье мандариновое сердце! Ей немедленно потребовалось взять его и как можно скорее почувствовать всё это!

Разделявшие их двадцать метров стремительно сокращались, и когда она уже решила подобрать мандарин...

Нет, — замедлить шаг, остановиться, чуть наклониться, чуть присесть и только тогда подобрать — столько действий ради одного действия, — вдруг появились прохожие! Идущие навстречу, идущие рядом, идущие где-то ещё, — их вдруг стало так много! Она же привыкла, что их нет, что никого нет, привыкла никого не замечать.

В самый последний момент она не замедлила шаг, а только с досадой проводила взглядом оставшегося позади рыжего хомяка, махавшего розовой ладошкой, и виновато улыбнулась тяжёлому угрюмому танкеру в чёрном пальто и чёрной шляпе, с которым едва удалось избежать лобового столкновения.

Ей стало вдруг неловко вот так вот просто посреди улицы остановиться, подобрать, забрать себе оброненный кем-то мандарин.

«Что я, божж, что ли? — сказала себе Пьющая Учительница Физкультуры. — Что я, мандаринов себе не куплю? — ответила она себе и зашагала уверенней. — А ведь такие надо еще поискать! — дополнила она ответ. — Такие, чтобы... — Она пожимала в ладони воображаемого хомяка, ощутила биение его горячего моторчика. — Да поняла я, поняла!»

— Передай-ка... — сказала Оксанка и подвигала пальцами в направлении бутылки.

— Тебе всё мало? — спросила Пьющая Учительница Физкультуры, взяла из корзинки мандарин и покатила по столу Оксанке.

— Водки дай, говорю!

Оксанка поймала мандарин и, лениво замахнувшись, не отнимая локтя от стола, залепила точно ей в лоб. Клава повалилась со стула, вместе со стулом.

Они лежали с Оксанкой на полу плечом к плечу и хохотали, радуясь, что это был всего лишь мандарин, переспелый и довольно мягкий, а не грейпфрут или арбуз. Потом сидели спиной к тёплой батарее, допивали нагретый до комнатной температуры мандариновый парламент. От запущенной в лоб

мандаринки оставались две последние дольки, а её вывернутая наизнанку шкура лежала между ног Клавы в форме морской звезды или какой-нибудь амёбы, увеличенной до размеров ладони сорокалетней с хвостиком женщины с упругим задом. Она разливала остатки по рюмкам, как вдруг поставила бутылку и обхватила лицо ладонями. Плечи затряслись. Оксанка молча положила ладонь ей на колено, чуть сжала, легонько похлопала. Пьющая Учительница Физкультуры молча закивала.

Нужный переход на бульвар остался позади, и она решила обойти дорогу по пешеходной зоне, прерывающей бульвар. «Ладно, проехали», — подумала она и больше не оборачивалась на свою случайную и упущенную утреннюю находку и потерю.

Уже перейдя бульвар, она должна была повернуть направо, к гимназии, но снова глянула влево, просто бросила взгляд, чтобы вдруг — ну, мало ли — не столкнуться с какой-нибудь ползущей баржей, убедиться, что тротуар свободен.

Мандарин лежал у самого перекрёстка, перед светофором. Это в противоположную от гимназии сторону. Она не собиралась его подбирать, но... Хм, но что? «Ну как что? Чего он там лежит?»

Она пошла к нему посмотреть, чего он там лежит, не сводя глаз. Когда горел красный светофор, оранжевая в глубоких порах кожа отливала красным, когда загорелся зелёный, стала отливать зелёным.

«Логично!»

И вдруг...

— Рыхлая! — воскликнула Клава. — Она рыхлая!

Она вспомнила это слово и от радости рассмеялась. Не просто мягкая, а такая, что когда начинаешь чистить, протыкая ногтем податливую кожуру, она прямо отщёлкивается от разбухшего от своей спелости мандарина. Как будто кнопочная застёжка на куртке — щёлк, щёлк, щёлк! Как пузырьки воздуха в обёрточной плёнке — хлоп, хлоп, хлоп! Как будто кожа не плотно облегает, а лишь касается его несколькими белыми ниточками, которые только и ждут, чтобы их скорее оборвали! Мандарин внутри этой кожуры — как воробушек, которого держишь в ладони, и тебе нельзя ни сжать его, чтобы не сдавить, ни ослабить пальцы, чтобы не выпустить — так учила она гимназистов, как правильно держать кисти рук во время бега.

У Мишки всегда получалось выбирать как раз такие, и они всегда были самыми сладкими — щёлк, щёлк, рыхлыми — хлоп, хлоп, как пуговики.

— Как ты их именно такие находишь? — вертит его, измятого, налюбоваться не может.

— Эт сорт такой, Клавунь.

Ох уж эта его хитрая ухмылочка!

— Клавдия Вадимовна! Вы с нами? — Лизавета Дмитриевна, директор гимназии, щёлк-щёлк пальцами у неё перед лицом.

Лизка, с которой они по горсточкам отсыпали анашу из коробков её старшего брата и убегали с уроков труда курить за ёлками. Лизка, которую в институте она отговорила делать аборт от случайного студента-итальянца, перед достоинствами которого невозможно было устоять.

— Отчество ребёнку какое запишем? — спросили в загсе. — Отец есть?

— Нет.

— Без отчества писать?

— Пишите Витториевна.

— Как?!

— Витториевна, имя отца — Витторио, — отвечает Лизка, а у самой слёзы из глаз катятся размером с горошины.

— Может, тогда хоть Викторвна?

— Витториевна пишем! — вступается Клава. — Женщина, вы слышите, что вам мать говорит? Горшкова, Николь, Вит-то-ри-ев-на!

Теперь Николь, красавица-дочка Лизкина, четвёртый год подряд носит корону мисс Тот-Же-Университет-Где-Была-Зачата. Или нет, третий. В прошлом году из-за бомбёжек конкурсы все отменили.

Лизка, которая теперь Лизавета Дмитриевна, директор их родной гимназии, почётный педагог города. А она...

— Да-да, Лизавета Дмитриевна, я слушаю. — Клава вздрогнула и вернулась в себя, удручённо сидящую со скрещёнными на груди руками в директорском кабинете, проваливаясь в сон, которого была лишена в ночное время.

Стоя перед зеркалом в ванной, она зашила себе веки, сперва намазав суперклеем, чтобы никогда не открывать глаза, чтобы спать и видеть сон, в котором всё как прежде, в котором они — *все* — вместе. Но потом это стало невыносимо — подменить реальность сновидениями, а тем более чередовать одно с другим, не получалось, и она разорвала нитки. Продрала глаза и ножницами отрезала веки, чтобы глаза никогда не закрывались, чтобы уже никогда не спать и никогда не видеть, потому что так, как было, уже не будет, потому что *их* не будет! Так, как было, никогда не будет.

— Что вы слушаете, Клавдия Вадимовна?! Клав, ну в самом деле? Что с тобой?!

Тут же на стуле сбоку виднелся завуч по учебной работе, Пал Фомич Цуцин. Лет пять назад на новогоднем огоньке Цуцин уснул в учительской без штанов, почему-то со спущенными до колен трусами, а Клава, тогда ещё Не Пьющая Учительница Физкультуры, вместе с Лизкой, тогда ещё *не* директрисой, а учителем истории, украсили Цуцина бумажной мишурой, привесили шар на его короткий обрезанный стручок, вставили в безвольную ладонь и зажгли бенгальские огни, пока он не пришёл в себя.

— Пал Фомич? Здрасьте, и вы тут? — сказала Клава, на что Цуцин только мелко закивал. — У нас педсовет или что-то такое?

Лизка села напротив неё в своё директорское кресло, стала терзать золотую ручку и пристально сверлить Клаву.

— Так, а что... я не понимаю... я что-то вытворила ужасное? — спросила Клава так, словно внезапно очнулась.

— Надеюсь, что ещё ничего не вытворила. Но ты себя вообще давно в зеркале видела? Ты знаешь, как тебя прозвали во всех родительских чатах?

— Нет. Как? — Клава непонимающе смотрела на Лизавету.

Лизавета переглянулась с Цуциным, наклонилась ближе и уже тише продолжила:

— Клав, давно у тебя с этим проблемы?

— Да с чем?! Я ничего не понимаю!

— Клавдия Вадимовна, — робко послышался Цуцин, — в своё время, не так давно, ну, я думаю, вы в курсе, у меня был период, и тоже были проблемы... с зависимостью от алкоголя...

— Что? Вы что, считаете, — Клава прижала руки к груди, беспомощно глядя то на Цуцина, то на Лизку, — что я алкоголичка?

— Ты же даже сейчас никакая! Тебя же рубит, ты спишь сидишь! У тебя язык постоянно заплетается!

— Да потому что я не сплю по ночам!

Клава резко встала со стула, и стул опрокинулся.

— Посмотри на меня! Посмотрите на меня! — Клава провела ладонью перед глазами. — Как мне спать?! Я не могу даже глаза закрыть! Мне нечем закрыть глаза. Потому что если я их закрою, потому что, если я хоть на секундочку усну... Вы знаете, кого я вижу во сне, Лизавета Дмитриевна? Вы знаете, кого я вижу!

Цуцин что есть силы вжался в свой стул.

— Период у вас был? — Клава посмотрела на Цуцина. — А сейчас у меня период! Сейчас у всех период, если вы заметили.

Лиза не смела поднять лицо на бывшую одноклассницу. Только проговорила искусственным голосом:

— Клава, ну зачем так? Мы всё понимаем... Мы же тебе отпуск предлагали. И предлагаем. Сколько нужно... чтобы... отдохни, успокойся... ты не хочешь.

— Отпуск? А переживу я этот отпуск? Не подумали?

Она не собиралась подбирать этот мандарин. Только подойти поближе и ещё раз увидеть, как рыхлая и брызгающая от прокола ногтем кожура меняет свой оттенок с красного на зелёный. Представив эту выпускаемую струю, Клава замедлила шаг и машинально зажмурилась, чтобы от брызг не защипали глаза.

Красный оттенок снова сменился на мягкий зелёный, и кто-то, внезапно обогнавший сзади, даже не снижая скорости, только обдав волной растревоженного снега — хват! — и подобрал мандарин. И так же быстро и внезапно исчез впереди, среди спин и лиц тёмных танкеров в шляпах.

Хват! И она стоит раскрыв рот у перехода с молчаливым вопросом: «А как, а где, а что это было? Это же мой, это же был мой мандарин! Люди, вы видели? Он украл мой мандарин!»

Хват! Рука незнакомца, как стрела управляемого гимназистом крана в автомате по ловле мягких игрушек, навелась и по кнопке — на! — и точно, под попку, под хвостик загребла нержавеющей пальцами рыжего хомяка или воробушка. И теперь ни сжать, ни выпустить его должна рука кого-то, кого она

больше никогда не увидит, да и сейчас он никак не отобразился в памяти — только кисть и голое запястье, выехавшие из верхней одежды, и — хват! — заехали обратно.

Также с открытым ртом Пьющая Учительница Физкультуры стала разворачиваться на нужный курс. Она чувствовала себя ограбленной, осиротевшей, одинокой, обездоленной. Чувствовала себя голой посреди заполненной людьми улицы. Кто-то незнакомый отобрал у неё *всё*. Хотелось сжаться, спрятаться, хотелось плакать. Но больше всего ей захотелось — и от этого желания резко пересохло в горле и лоб покрылся испариной — ей захотелось водки.

— Вот, теперь ты настоящая Пьющая Учительница Физкультуры! — сказала Оксанка перед тем, как отрубиться, когда они допили бутылку мандаринового парламента. — Теперь хоть не так обидно.

— А чего, Оксан, как считаешь, из двух одинаковых отличниц одна вырастает в директрису, а другая в пьющую учительницу физкультуры?

— Ты ещё и Дурная Учительница Физкультуры, а не только Пьющая...

Они так и лежали на полу кухни, уже подложив под головы подушки и укрывшись пледом. Клава на спине, трезво глядя в потолок, Оксана справа от неё, калачиком свернувшись, на боку. Вокруг них расплзлись и застыли пятнами белые мандариновые амёбы.

— У тебя папка кто? — продолжала сонно бурчать себе под нос Оксанка. — А-а-а. Никто. У тебя вообще папки не было. А у Лизки папка кто? А-а-а. Директор универмага. Это же как дважды два, как анекдот про сына полковника и сына генерала. Дура дурой ты, Клава, дура дурой.

Третий мандарин лежал выше по улице, довольно далеко, но было невозможно его не разглядеть — оранжевый шарик на свежем белом снегу. Уже подходя к нему, Пьющая Учительница Физкультуры услышала, что у неё звонит мобильник. По карманам. Главное не выпустить мандарин из поля зрения, чтобы никто... Из школы. Блин!

— Алло!

— Клавдия Вадимовна, здравствуйте! — мелодичный тоненький голосок. — Это Николь Горшкова, практикантка ваша.

А, наша красавица, наша мисс Спортфак-2022! Мисс Белгородские Губы и Ресницы Черноземья-2025! Чао рагацца! Рыхлая мордочка, погружённая в сверкающий снег, на предельно возможной скорости приближалась.

— Эмм... Да, Николь, привет! Что-то случилось?

И вот — то, что требовалось от неё: без раздумий в самом начале пути — резко затормозить, остановиться, чуть наклониться, чуть присесть, по кнопке — на! — стальная рука с растопыренным ковшом игрушку — хват! Встать. А можно не вставать. Можно сидеть, можно стоять, можно лежать здесь, посреди тротуара, на пуховом девственном снегу, одной во всём мире...

— Да, в общем, нет, тут просто урок... уже начался... Мне как обычно? Проводить?

На всей земле, во всей вселенной никого, никаких танкеров и барж, никого, кроме неё и её щёлк-щёлк, хлоп-хлоп! Рвутся белые ниточки! Руки раздирают, и во все стороны разлетаются куски рыхлой, брызжущей оранжевой шкуры! Она задыхалась и с трудом глотала воздух.

— Да-да, начинайте без меня... ну, там, разминка на месте, в движении, пять кругов, мальчишки пусть волейбол...

— Да не переживайте, Клавдия Вадимовна, я всё знаю, я всё сделаю! — Голосок у неё тёплый, ластящийся, как кошечка к лодыжке.

— Да-да, Николь, я скоро буду.

По две, по три дольки сразу она жадно закидывала в рот и наполнялась жизнью. Дольки лопались на зубах, растекались по языку, она кричала и смеялась, жуя и глотая сочную плоть, возвращавшую ей жизнь.

— У вас всё в порядке? Вы как будто задыхаетесь... Вы едите?

Она кивала и глотала.

— Да-да, я уже сейчас...

Потом, потом, Николь, сейчас не могу, сейчас занята, сейчас мне нужно побыть одной, одной во всей... И вдруг Николь, словно тайком, словно прикрыв трубку ладонью с кошачьими коготками, словно озираясь, словно её могли подслушать, словно какой-то пароль или какие-то тайные слова, сказала:

— Тётъ Клав, я маме не скажу. Я всегда вас прикрою!

Открытые глаза открылись.

Не одна! Ты не одна! У тебя есть жизнь, целая жизнь, новая жизнь, новый путь, новый мандарин! Сотни и тысячи новых мандаринов!

Она прикроет! Николька прикроет! Николь Витториевна Горшкова, которая сейчас проводит её урок с одиннадцатым «В», её урок с её одиннадцатым «В», с её юным спортивным задом в её одиннадцатом «В», на который глазел из будки своей Мишаня, для которого, для единственного, росла в саду ягодка, потому что...

— Ты дура, Лизка! Сейчас ты её выскребешь, а потом вообще родить не сможешь!

— Кому нужна я с ней буду?!

— А кому нужна ты будешь без неё?!

Она прикрыла Никольку в её сложный период, а теперь Николька прикроет её. И Оксанка прикроет, да что там, — Лизка прикроет, и этот, обрезанный, прикроет...

— А эти студенты итальянские, они же такие смешные! Им в общежитии выделили блок на четыре комнаты с одной ванной и одним душем на всех, сказали, что этот блок имеет юридическую силу посольства и является суверенной территорией Италии. Так они и поверили, и у них столько гонору было! Любая русская девушка должен гордиться, что им дозволено побывать на кусочек Италия. Я стою, с них ухахатываюсь, а эта, слышь... — Клава легонько потыкала Оксанку в спину, — Лизавета Дмитриевна наша смотрит на него влюблёнными глазами. Ну, думаю, баба поплыла!

— Клав, а ты можешь заткнуться на минуточку? Я щас пять минут посплю и домой поеду, — подала голос Оксанка.

— Не, а там как не поплыть? Все высокие, спортивные, где надо накачанные, где надо стройные, пресс в кубиках, в штанах штуковины их итальянские болтаются. Все как на подбор: волосы чёрные, глазки блестят чёрные, щетина чёрная. Ни дать ни взять Сильвестры Сталлоуни, Рембо Первая Кровь. Свои заклинания выкрикивают. Бонасера, синьёрины! Чао белла! Аморе мио! Там уж как не поплыть?

— Ну а ты-то чего не поплыла? — снова ожила Оксанка.

— А я куда? В суверенную Италию? У меня же Мишаня был уже.

Оксанка тревожно обернулась и посмотрела на Клаву.

— Да нормально, — сказала Клава, — всё нормально.

Помолчала Клава и заговорила, словно вспомнила что-то важное:

— А сейчас Италия нам официально враг. У них и закон вышел о военной помощи Украине. И самоходки, и артиллерию...

— Клав... — перебила Оксанка.

— ...Гаубицы и бронетранспортёры, и вооружение на миллиард евро! И наёмников, наверняка, отправляет, да что там наверняка? Конечно, отправляет...

— Клава, хватит! — Оксанка повернулась к ней, обняла за плечо и потрясла. — Клава!

— ...Может, этот, кто знает, папка Николькин, сейчас ракету наводит на университет, в котором выучился и дочку свою зачал на суверенной территории Италии! Бонджёрно! Аморе мио!

Этой ночью на полу кухни Клава спала без снов, укрытая пледом. Отросли у неё новые веки с ресницами ещё длиннее прежних. Слышала только, как Мишаня тихо походил, чтобы её не потревожить, укрыл потеплее, пособирал амёб с пола, поставил в ведро пустую бутылку, вымыл посуду. Слышала, как грелся чайник. Мишка и Мишка-младший пили чай и тихо смотрели новости. Тихо, чтобы мамку не разбудить. Клава спала и улыбалась им сквозь сон, и слышала — в новостях опять про то же. И нет этому края, и нет конца. Слышала голос Мишани:

— Даже не думай, сын. Ты пойдёшь, — я за тобой пойду! За шиворот из окопа вытащу и домой приволоку! И убью! А мать нас обоих убьёт!

Оксанка вытерла руки полотенцем для посуды, повесила сушиться. Прошла в спальню хозяйки. Возле нерасправленной кровати на тумбочке стояли в рамке два фотопортрета.

На одном улыбающееся, с его постоянной хитринкой лицо Мишани, на другом — как будто его копия, только моложе лет на тридцать, такая же, с озорной хитринкой.

— Спите, мальчики, земля вам пухом. И мамке жить дайте и спать по ночам спокойно, — сказала Оксанка, вышла из комнаты, погасила свет.

Надела свой чёрный форменный бушлат, посмотрела на спящую на полу кухни Пьющую Учительницу Физкультуры с зажатой в руке мандаринкой и вышла из квартиры.

Константин Шакарян

Последнее время

* * *

Колокола звонили по тебе
Или по мне... По ком ещё, по ком?
Колокола водили по губе
Сухим от звона, жёстким языком
И вновь кололи души, как дрова,
И воздух омертвевший колебали,
Произносили вещие слова
И эхом перекачивали дали.

Колокола... А мы с тобой вдвоём.
Звонят они... А мы ведём беседу.
Беснуются... А мы ещё споём
И пустим слово чуткое по следу
Истории, пространства и судьбы.
Ни звон, ни взрыв, ни грохот — не помеха.
...И слижут соль колокола с губы,
Оглохшие от собственного эха.

* * *

В последнее время... А время всегда
Последнее, как ни крути.
В песок утекает оно, как вода,
Песком засыпает пути.

Песчинок его прокопчённых не счесть,
Просоленных вод — не объять.
А всё же последнее — было и есть,
И будет последним опять.

Шакарян Константин Ашотович — поэт, переводчик, литературовед. Родился в 2000 году в Москве. Окончил в 2021 году факультет русской филологии Ереванского государственного университета. Публиковался в журналах «Звезда», «Новый мир», «Дружба народов», «Новый журнал» и др. Автор книги стихов «Новый день» (М., 2024). Лауреат нескольких литературных премий. Живёт в Ереване.

Боюсь оставаться со словом вдвоём,
Коротким и страшным, — война.
В последнее время с тобою живём,
В последние ли времена?

Кто были последними — первыми там
Пребудут по воле Отца...
А время последним останется. Нам
Его провожать до конца.

А время волной вымывает песок,
Песком окаймляет волну...
А время — от гибели на волосок —
Привычно играет в войну.

Последнего времени люди, вовек
С тобой не расстанемся мы.
Последний сгущается на небе снег
Последней на свете зимы.

Весь мир он засыплет на вечный покой,
Весь белый чернеющий свет
И тот — исчезающий, тёмный, большой —
Последнего времени след...

* * *

Нет на кладбище ориентира.
Где тут запад и где тут восток?
Словно ты на обочине мира
Свой затерянный ищешь исток.
Видишь — скопище прожитых жизней
Обретается к праху лицом.
Заросла эта память... Живи с ней
Как живётся — и дело с концом.

Ты — не прожит ещё и не выжат,
Если рвёшь эти травы у плит.
Что тобою на кладбище движет,
Долу клонит и помнить велит?
Сколько сора — почти не земного,
Что уходит корнями во прах,
Новой жизнью подняться готово
На усидчивых этих камнях...

Я стою перед вами во прахе
Меж крестов изнурённой земли.
Запевают незримые птахи,
Муравьи копошатся в пыли...
И сквозь жизнь, что беспмятно длится,
Обращаюсь к ушедшей родне:
«Не скорбите по сущим,
и лица
Обратите из праха ко мне».

Цицернакаберд¹

Зачем же ласточки старались?..

А.Цветков

Ласточкина крепость — Цицернакаберд.
Экая нелепость, Боже милосерд!
Ласточки, летите! Что вам до земли,
До глухих событий в вековой пыли?

Время пролетело, пылью обдало.
Лишь душа о тело бьётся тяжело.
Что там было, где там затерялся след?
Тьма встаёт за светом. Тёмен белый свет.

Ласточек не видно. Небо в облаках.
Солнышко невинно светит кое-как.
Памятника пика тянется на свет —
Векового крика каменный скелет.

Вся земля — могила, Господи прости!
Что происходило на земном пути?
Небо потемнело — тучи залегли.
Что ему за дело до слоёв земли?

Меж землёй и небом оборвалась нить.
Памяти не требуй — нужно дальше жить.
Памяти хватило на музейный зал.
Вроде отпустило. Вроде всё сказал...

Вся земля — могила. Небо ни при чём.
Вспоминать — не в силах. Помнить — обречён.
Ласточки куда-то улетели прочь.
Небо виновато прячется за ночь.

¹ *Цицернакаберд* (ласточкина крепость — с армянского) — мемориальный комплекс, посвящённый геноциду армян 1915 года.

* * *

В.

Догорают наши впечатления,
Брошенные прожитому в печь.
Что от них осталось? Только *тление*.
Слово рассыпается и речь.

Истлевают чудные мгновения
Меж останков радостных минут
И часов счастливых...

Тем не менее
Жизни нашей ходики идут.

Разными ведомы циферблатами,
Врозь друг с другом тикают не в лад.
Может быть, ещё сохранны атомы,
Что в себе прошедшее таят?

И в атомистическом строении
Наших судеб, слитых на ура,
Отложились — при разъединении —
Память двуединого добра?

Дай-то Бог... Рассчитывать на что ещё?
Прошлого похрустывает лёд.
Времени ледовое побоище
В душах наших всё ещё идёт...

* * *

Язык доводит дальше Киева —
Пути не выдумать печальней.
И Киев тот, и языки его
Меж молотом и наковальней.

Приверженность к серпу и молоту
Не сберегла от горших бед нас.
И ныне быть уже расколоту
Тому, что не союз, но этнос.

И ны... не быть? За ны убитые
Звучаний тех не распознают.
Земля, земля — могилы, плиты и
Опять могилы прорастают...

(Ах, эти скользкие созвучия,
Что не дают пробиться к теме,
Мелодикой своею мучая
В угодую ритменной системе!..

Они нугою смыслов тянутся,
Звуча и горестно, и вязко,
Покуда с тихим *навсегданыща*
Не завершится наша сказка.)

Условимся: не дальше Киева.
Не выдаст Бог, язык рассудит...

Солдат уходит — и ноги его
На всей земле уже не будет.

* * *

У Бога живы все,
А мы живём убого,
Не белкой в колесе —
Синицею в руках.
Вся жизнь от сих до сих —
Не мало и не много,
Чтоб уместиться в стих,
Не рассыпаясь в прах.

И горе — от ума,
И даже строки эти,
Упругие весьма,
Да полые внутри.
Стиха прядётся нить
У праха на примете.
Да что там говорить...
А ты не говори.

На свете счастье есть,
Безвольно-беспокойно,
Оно — про нашу честь,
Меж прахом и стихом.

А то что рядом с ним
Не вирусы, так войны,
О том не говорим.
Не будем о плохом.

Когда б вы знали, из
Какого сора — Боже! —
Сбивали сотни изб
По матушке Руси!
А сор — не выносить.
(Всегда — себе дороже.)
Да что тут говорить...
Молчи — не выноси.

Как носит нас земля?
Кто взял нас на поруки?
Куда ведут, пыля,
Последние пути?..
А где-то журавли,
Не пойманные в руки,
Скрываются вдали
У неба взаперти...

Александр Барбук

Злые боги полей и могил

Рассказ

Сегодня, сейчас — то же самое, и почти каждый раз. Ночью со станции — домой, один, в пустую квартиру. Поднимаешься на лестничную площадку, достаёшь ключи и отчётливо слышишь, как там, в глубине комнаты, раздаётся стук и чудятся мягкие собачьи шаги — мой ротвейлер спрыгивает с дивана, чтобы встретить меня у порога, виляя хвостом.

Однако я знаю, что Дойч лежит в лесу. Приблизительно в километре от дома. Под тремя елями. Я сам его там похоронил. Лет десять назад.

Но по-прежнему Дойч — мой охранник, мой сторож.

И пожилой отец, живущий на юге, до сих пор прибегает к помощи нашего пса. Вечером, пробираясь по лестнице вверх во мраке заплёванного подъезда, если слышит он вдруг подозрительный шорох или чьё-нибудь нечистое дыхание, говорит в темноту: «Дойч, рядом!.. Дойч, спокойно!..» И звенит ключами, как звенел здесь когда-то металлический ошейник-строгач. Каждый вечер в гиблом районе на окраине города кого-нибудь шарашат, режут заточкой из напильника, могут убить ни за что.

Но никто никогда не обидел отца — не забыта ещё чёрная тень собаки, скользившая под окнами печального девятиэтажного гетто. Не забыта история, как однажды в соседней татарской деревне на улице Каранфиль огромный баран угрожающе близко приблизился к маме, и как Дойч бросился и убил животное, перекусив посредине спины крепкий бараний позвоночник.

К сорока с лишним годам после долгого самокопания я точно определил, за что я люблю людей и за что не люблю.

В человеке должна быть нежность.

Всё остальное — неважно. Всё остальное — *слюбится*.

Потому что нежность всему виной — любому поражению, любой победе.

Барбук Александр Владимирович — прозаик, сценарист. Родился в 1970 году в Симферополе. Учился на филологическом факультете Симферопольского государственного университета и на отделении прозы Литературного института им. Горького. Лауреат VI Международного литературного Волошинского конкурса за рассказ «Чёрная аптека». Живёт в Симферополе и Подмоскowie.

Я не знаю, сумею ли завершить эти мои записки и где-нибудь напечатать. Десяток неоконченных романов, повестей и рассказов лежит в картонных коробках мёртвым грузом.

Всегда удивлялся, когда мои приятели прилюдно объявляют: «начал роман о том-то...» или «заканчиваю в родной деревеньке Передрюево эпохальную повесть, в которой...»

А если не закончишь?.. А если не напишется?.. А если, наконец, выйдет дрянь? Есть в тебе хоть капля суеверия, страха, панического начала?

Нет, всегда заканчивают. Всегда выходит.

И редко когда не дрянь.

Никакой же тайны нет, правда? Никакого риска.

Смотрю кинокомедию «Не упускай из виду» с Пьером Ришаром. Фильм, который видели с мамой в Евпатории, год приблизительно 78-й, после 1-го класса. Пригород Евпатории, военный санаторий, куда достал путёвки дедуля, почти что ночь, летний кинотеатр, морской ветер с Каламитского залива. Четырёхразовое питание, солдаты, служившие садовниками, горы гнилых водорослей на пляже, солоновато-горькая вода из-под крана, которую невозможно пить, безденежье (на всём сэкономили), беспощадные комары (огромные красные растекающиеся пятна), дневник внеклассного чтения, его нужно было заполнить впечатлениями и рисунками (общая тетрадь с зелёной обложкой — всё большей частью делала за меня мама, и от этого мне потом долго было стыдно). Помню, как мама пыталась учить плавать, как я боялся моря, боялся маму, когда она вдруг стала делать это слишком резко (мамин отец, мой второй дедушка, научил её, девочку ещё, плавать просто — столкнув с лодки). Нет в живых теперь ни дедули, ни мамы, ни её отца, ни её младшего брата Владимира (умершего в прошлом году; я ни разу не видел его). Старая добрая кинокомедия тянет вместе с собой грустный ряд картин; не могу уже нырнуть в неё с головой, как раньше. Помню до сих пор словечки и фразы из этого фильма, которые мы так любили повторять. Наверное, можно было выбрать другой фильм, а не этот, — смеюсь и одновременно страшно. Однако тянет. Места вчерашнего счастья и сегодняшней боли, почти что ужаса. И вот всё это кружится и танцует под застрявший в башке идиотский мотивчик вечеринки в весёлом поезде — композитор Владимир Косма. Режиссёр — Клод Зиди.

Всю ночь, будто ожидая какой-то гостыи, исступлённо драил свою холостяцкую квартиру.

А под утро присел в кухне у окна, закурил, задумался, засмотрелся невидящим оком на странное свечение алюминиевой воронки от развинченного кофейника, и вдруг как-то предельно ясно понял, что сегодня уму.

Ни страха, ни жалости. Спокойное, будничное озарение: спор проигран.

За эти несколько лет полной свободы ни разу не пожалел о своём решении.

Но спор проигран. И это уже очевидно.

Откинулся на спинку стула, достал из пачки последнюю сигарету и одними только губами и кончиком языка, по твёрдому фильтру в виде пропеллера на срезе узнал немецкий West. Давно уже, несколько месяцев, из-за безденежья

и двух неоплаченных больничных кредитов не могу покупать себе сигареты. Но после больницы, после разных процедур и новых таблеток, после всех этих фокусов с накачкой кислорода прямо в кровь я стал испытывать настоящую табачную ломку. И я придумал один несложный приём. Я брал эту самую пачку, шёл на станцию и около часа прогуливался вдоль перрона, встречая и провожая московские электрички, в которых ездили теперь не просто пассажиры, а доноры сигарет.

Я щёлкнул зажигалкой, глубоко затянулся, выпустил струйку дыма.

Это последняя в пачке, а значит, скоро опять на станцию, по сигареты.

Меня предупреждали. Мне говорили. Я только отмахивался. Я работал тогда в большом офисе крупной компании. Узнав о моём решении уйти, уйти в никуда, начальник сказал: «Слушай, тебе сороковник, не надо. Прошу тебя. В сорок — уже поздно. Ты полюбишь одиночество, бедность, своё чёртово человеческое достоинство, ты станешь гордиться шрамами, но это не принесёт тебе счастья. Ты разучишься жить среди людей: унижаясь, ты начнёшь, чувствовать себя униженным. Ты разучишься умирать каждый день ради жизни в целом. Не один ты такой, полуребёнок-полуподросток. Многие, слишком многие не могут понять, что с ними случилось. И хорошо, что у них нет времени думать об этом. Мы все должны искать только одного — забвения. Искать в нужном месте, в самых мёртвых пластах нашей жизни, в работе, в тупом изнуряющем душу труде, а не там, куда ты собрался. Думаешь, ты один такой? Десять из десяти таких, как ты, потерпели поражение. Только не говори, что ты будешь одиннадцатым. Система десятизначна. Пять из десяти, пожелавших вернуться к прежней жизни, уже не смогли адаптироваться и погибли. Так устроена жизнь. Вспомни свои выходные дни — субботу и воскресенье. Вспомни, как всего за два дня ты начинаешь чувствовать приближение ужаса, кошмара, медленно сходишь с ума, потому что забвение становится не таким прочным, забвение даёт течь, забвение пропускает воздух, — но потом снова понедельник, ты успокаиваешься, и так до пятницы. Так мы живём. И если хочешь жить, — умри, стань роботом, функцией, выключателем самого себя. И тогда система даст тебе немного времени и немного денег. Ты дождёшься старости и увидишь внуков. Но целиком выйти из неё невозможно. Тебя ждёт поражение. И пожалуйста, не говори потом, что ты лучше других, потому что ты хотя бы попробовал. Свобода — это говно! Иди, жри свободу! Потом расскажешь, как тебе было весело!»

Бараний рог сизого дыма величаво разворачивается над моей бритой головой. Я внимательно слежу за фигурой, гадая во что она превратится и что она будет для меня обозначать. Бараний рог превращается в бумажный свиток, спустя секунду свиток становится похож на неприличный цветок с фотографии Нобуёси Араки, затем цветок становится хомутом, а хомут — венком, и уже венок, значение которого мне неинтересно, начинает распадаться и превращается просто в ничто, в пелену домашнего кухонного тумана. Ночь за пыльным стеклом медленно сходит на нет, хотя небо за все эти ночные бдения так ни разу и не потемнело. Это Север, к которому ты так и не смог привыкнуть. Это северная природа, платина июньской ночи.

Когда-нибудь это случится. Почему не сегодня?

Сегодня будет хороший ясный день. И завтра тоже. И послезавтра.

Земля прогрелась, подсохла, легко поддаётся копке.

Ещё никому не удавалось взглянуть на лица тех, которые поднимут, а затем опустят твою крышку.

В одном современном словаре я прочитал: «Забвение — устаревший термин для обозначения утраты информации из памяти».

Докуривая сигарету, вспомнил о дочери и подумал, что через несколько дней, когда меня уже не будет, она войдёт в кухню и застанет всё то, что сейчас вижу я: этот развинченный кофейник на вафельном полотенце, бритвенные приборы, сложенную посуду.

И я вдруг представил себе, как она разрыдается, и от этого неожиданно почувствовал что-то вроде облегчения. И ужаснулся этому.

Она далеко, она не успеет, и это хорошо. Ей всего тринадцать. Ей не нужно видеть подробности, ей не следует участвовать в этой странной мистерии с погружением лодки на дно.

Она войдёт в эту кухню через неделю, увидит стопку чистых тарелок, прочищенные части гейзерной кофеварки и, главное, эти бритвенные приборы.

«Дорогая моя, любимая девочка! Когда ты получишь и прочтешь это письмо, меня уже не будет рядом с тобой. Мы уже не сможем встретиться, гулять в парке, бросать друг другу мячи, ходить в зоопарк смотреть на слонов или кривляться перед зеркалом. Помнишь, как мы кривлялись? Мы складывали губы в виде пятачков и делали вид, что мы — свинки. Ничего этого, к сожалению, уже не будет. Это и многое другое останется только в воспоминаниях. И мне бы хотелось, чтоб эти воспоминания не мешали, а помогали тебе жить дальше. Помогали быть уверенной в себе, спокойной и любить меня тихо, бесслёзно, без боли в сердце, так, как будто я рядом и в любой момент мы сможем встретиться. Пишу это именно потому, что сам я не сумел жить правильно после ухода моих близких, потому что с уходом каждого из них — дедушки, бабушки, мамы — какая-то часть меня отлетала в их сторону, становилась мёртвой и жила не тем, что действительно было нужно мне и нужно им, а жила пустыми воспоминаниями о них.

Я испортил свою жизнь.

Моя жизнь превратилась в одну сплошную скорбь о них, в пустые мысли о том, что всех нас ждёт такое же, и вместо того, чтобы идти вперёд, я как будто замер, застыл в одной точке. Поэтому я пишу. Я хочу, чтобы ты избежала этой ошибки. Мой уход не должен мешать тебе жить. Я не желаю отнимать у тебя ни одного дня твоей драгоценной жизни. Пусть воспоминание обо мне и наших днях будет только светлым и беспечным, как весенний ветерок. Этот ветерок буду я. Я буду всегда рядом. И я буду счастлив только тогда, когда счастлива будешь ты.

Твоя чудесная мама рассказывала мне, что несколько лет назад, когда тебе было около шести, ты спросила её о смерти, и она ответила: смерть — это сон,

из которого не возвращаются. Твоя мама очень умная. Тебе повезло с ней. И мне повезло, что когда-то я встретил её и много лет был с ней счастлив. Она сказала тебе правду. Это только сон, и, думая обо мне, ты должна думать так, как будто твой папа просто спит в соседней комнате, или ночью в соседнем городе. Ему не больно, он ничего не боится, он просто спит. Я думаю, что именно так оно и будет...»

Лишь бы нашли вовремя. Лишь бы не по запаху. На этот случай у меня была договорённость со старой знакомой. Она звонила каждый день и проверяла. У неё был ключ, у неё были все телефоны и адреса электронной почты. Она всё сделает. Она не подведёт. «А тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток», — вспомнил я строки, которые так любил повторять К. — один из моих профессоров в далёком южном университете, человек яркий, необычайной жизненной силы и на вид — почти что бессмертный из-за львиного облика, так схожего с обликом бога Зевса.

После смерти мамы я забрал у отца Дойча. Ему было уже лет двенадцать, он с трудом ходил, тянул задние ноги. У меня ещё была жена, терпевшая меня. Он летел в деревянной клетке, сколоченной мною накануне ночью, летел в багажном отсеке Ту-154. Я не хотел отдавать его в багажный отсек — совсем маленький, тёмный, нельзя было разогнуться, я боялся, что пёс либо задохнётся, либо умрёт от страха. Но работник аэропорта, попросивший помочь запереть клетку, сказал: «*Не бойсь*, я сам недавно так бесплатно летал». В самолёте я откупорил бутылку белого портвейна и, никого не стесняясь, просто плакал. Мы совершили посадку в Шереметьево-1. По балкону я бежал вниз к багажу. В зале стояло множество снятых с ленты чемоданов и сумок, там же была клетка с моим псом. Он вилял обрубком хвоста. Меня встретил американец, поэт и выпивоха Мишка Иглин, у которого в соседнем доме была комната в коммуналке. Я, пьяный, достал из сумки пилу, распилил клетку и пнул её ногой. Культурный Миша сказал, что это не комильфо, и отволоч клетку куда-то к мусорникам. Мы сели в такси, поехали на Сходню. Я сказал водителю: он не укусит. Таксист ответил: у меня самого ротвейлер. Дома нас ждал свежий борщ. Я налил Мишке и себе по тарелке и навалил борща Дойчу в его родную эмалированную миску, которую привёз с собой в багаже. Потом сходил в хозяйственный, купил точно таких же досок и реек, которые выкинул в аэропорту, саморезы, скобы, сел на пол, взял пилу, молоток, отвёртку и соорудил для миски подставку. Таковую, чтобы мой пёс не наклонял голову во время еды, а миска бы не вываливалась. Эта подставка и эта миска хранятся у меня до сих пор. А Дойч прожил почти до пятнадцати лет. Когда дело стало совсем плохо, кто-то посоветовал: езжайте в Химки. Там есть бородатый врач — вы узнаете его, — он берётся спасти любых собак. У него самого — старый седой ризеншнауцер. Железный стол, ветеринарная клиника в Химках. Бородатый врач пытается вытащить Дойча с того света. Я рядом, помогаю, придерживаю морду и шепчу ему что-то на ухо. Я чувствую запах из его ушей — это ни с чем не сравнимый, мой любимый запах ушной серы ротвейлера, моего ротвейлера. Дойч умер, но после укола в сердце и каких-то манипуляций врача, вдруг ожил. Всего на минуту. Он стал дышать, двигать

лапами, но потом умер второй раз. И уже мёртвый, в судороге, разодрал до крови зубами мою руку. Обратно мы снова ехали на такси. Я — в салоне, он — в багажнике, в чёрном пакете. Дома я вытянул его из пакета, положил боком на подстилку. Целое полчище блох, о которых я не подозревал, покинуло мёртвое тело и набросилось на меня. Позвонила жена, спросила: «Вы дома?» — «Дома». — «Всё нормально?» Я ответил: «Нет. Приезжай». Она приехала. Он лежал в комнате, как живой, на своём привычном месте. Из коридора она ласково позвала его. Он не встал. Она зарыдала и бросилась его обнимать. Потом спросила: «Что с твоей рукой?» Я не ответил. С моей рукой всё нормально. Теперь я знаю тайну. Даже после смерти твоя собака сохраняет полезные рефлексy. А значит, ничего не изменилось. Смерть относительна. Дойч продолжит нас охранять. Позже примчался с лопатой на своей «шестёрке» безотказный Боря Голкин. Мы поехали в ближайший лес. Три сросшиеся ели возле берёзовой аллеи. Два букета цветов, свежий холм из глины. В конце я прошу жену и Боря оставить нас наедине. Я становлюсь на колени, я рыдаю, как мальчик, и прошу у него прощения. Я бил его. Иногда ногами. Так велел инструктор служебного собаководства, когда мы учились ОКД и защитно-караульной службе. Это ротвейлер. Либо ты показываешь, кто вожаk стаи, либо вожаком станет он — и собака будет потеряна. Но это враньё. На самом деле я пинал его, потому что он не вовремя просился на улицу. Потому что тянул поводок. Потому что после очередного мануального терапевта у меня адски болели спина и шея, или просто случалось дурное настроение.

И вот осень. Осенью обычно я езжу на родину, на юг.

Я оставляю пустую квартиру.

У меня нет теперь ни жены, ни собаки.

Мне некого больше мучить.

Я — вожаk стаи, состоящей из одного животного.

И теперь у меня только прошлое.

Я вспоминаю непрерывно. В самолёте я тоже вспоминаю. Мои одноклассники. Я помню их всех.

Кого-то уже нет в живых, кто-то спился бесповоротно. Я делаю вдруг открытие, что все, кого нет в живых или кто спился окончательно, — все они — из тех, кого укачивало в автобусе в первом классе по дороге в село Перевальное, когда мы ехали осенью на первый школьный пикник.

Не укачивало только Муратти.

Он пил и стал бездомным от гордости и самолюбия, красавчик Муратти — благородный Атос нашей четвёрки. Кто был четвёртым — не помню.

Зато помню по алфавиту весь список из классного журнала. Время от времени ниоткуда, как слова стихотворения или мелодия старого шлягера, ко мне прилетают слова давней школьной переключки.

Эта скрипящая шарманка в моей голове, в заднем отделе черепа, чуть слева, чуть снизу — я чувствую, что все они гнездятся где-то там, — начинает прокручивать мне мозги:

Аникин.

Барбук.

Бардин.
Белградов.
Беленькая.
Бондаренко.
Бромберг.
Ванеева.
Деревягин.
Диденко.
Жуйков.
Карпович.
Кешешьян.
Кретчак.
Куликовская.
Ланских.
Лосева.
Марченко.
Меньшиков.
Муратти...

— Ты не узнаешь его, — говорит Сушилов. — Он стал не похож на себя. Мы едем с Сушей на чёрном субару в гости к Муратти.

В двадцати километрах от города — село Пожарское. Долина реки Булганак, пасутся коровы, их доят в оцинкованные вёдра прямо тут же, на траве.

Когда-то здесь стояла неприступная скифская крепость Палакий, упомянутая Страбоном. От неё ничего не осталось.

Мы подъезжаем к дому татарина, у которого Муратти теперь батраком. Пасёт овец, смотрит за хозяйством, имеет за это свой угол.

Нас встречает хозяин; в тенистом дворике сидят под крышей ажурной беседки и пьют кофе с восточными сладостями его почтенные родители. Они курят. Татарская поговорка гласит: «Бир каве, бир тутун — зезфет бутун» — «Чашка кофе, трубка табака — вот и весь бал». Они кланяются нам, мы кланяемся старикам. Видно, что это ухоженные, счастливые старики. Никто из них не умрёт в одиночестве, в запущенной квартире на окраине города, как один за другим умирают мои товарищи и как, возможно, в скором времени доплыву я сам.

В этом доме, в этом уютном мирке простоты и неброского величия не представляют, что смерть — всего лишь зловонный запах на лестничной клетке. Соседа, не востребованного родными или друзьями. Соседа, две недели лежавшего на полу с телефоном в червивой ладони.

Муратти нет, надо его позвать, пошёл на соседнюю улицу в гости к теще — единственному близкому человеку. Мать умерла, жена умерла, — все умерли.

Со старенькой тёщей они пьют коричневый самогон из просроченных шоколадных конфет.

Это правда, его не узнать. Бронзовый загар на изменившемся лице, он старик. Мой одноклассник — старик. Но старик по-прежнему гордый и даже надменный.

Мы ковыляем, возвращаясь к дому татарина, три мушкетёра: Суша, Муратти и я. Двадцать лет спустя, даже больше.

Татарин выносит миску с маринованной бараниной.

Мы едем на шашлык к скалам и лесному роднику.

— У Рефата отличное мясо, без привкуса, — говорит Муратти. — А знаешь почему? Каждый день мы меняем под овцами подстил. Никогда наши овцы не спят в навозе. Если овцы спят в навозе, вкус его впитывается в мясо. К Рефату за чистым мясом приезжают от самого муфтия. Рефат добрый. Если б не он, что бы я делал? Татары лучше русских. Например, моя тёща. Она меня ненавидит. Я её — тоже. Она считает, я споил её дочь. Мы с ней пьём, молчим и закусываем конфетами. Иногда она хочет меня убить, но боится.

Мы под скалой в тени деревьев. Трещат в костре сухие буковые поленья.

Муратти стоит над нами и начинает поучать. Все мы, в городе, живём неправильно, вдали от природы. То ли дело он — выведет стадо на простор, вдохнёт всей грудью степного воздуха, и — километров двадцать. Каждый день. Однажды пешком до Альминской долины. Ты, Саша, в Москве вообще зажился. Умных слов нахватался, разучился простым словам. Ты же не знаешь даже, что такое Альма! Хотя бы Пикуля почитал, умник. Тошно мне с вами, ребята.

Я молчу. Я не был на Альме, но вспоминаю реку Сену, мост Альма, названный в честь нашего поражения, нашего позора.

Где-то там, в тех краях, обитают теперь моя дочь и её мама.

Я смотрел когда-то в даль реки против течения, но не увидел, — там должен быть мост «наших встреч», мост Мирабо. Вильгельм, Альберт, Владимир, Александр, Аполлинарий Костровицкий. Придумал сюрреализм. На фронте ранен в голову осколком немецкого снаряда. Трепанация черепа. Тюрьма за похищение из Лувра «Джоконды». Нежнейший Аполлинер.

А мы все тут просто гниём, просто гниём.

Костёр начинает тухнуть, Суша заговаривает о новых дровах, смотрит в сторону рощи. Вдруг одно из сухих деревьев, на которое смотрит Суша, трещит и падает.

— Ага, черноротый!.. — радостно кричит Муратти. — Ты — черноротый, Сушилов!.. Ты только сказал — и оно повалилось!

Муратти стоит на камне и возвышается над нами. Сейчас он смотрит на нас, как смотрел Иаков на своих рабов, — древний патриарх-овцевод в стране Ханаана. Адская уверенность не вполне здорового человека. Мне хотелось привезти ему из Москвы пачку сигарет Muratti. В самолёте в глянцево-м журнале я читал, что Muratti — бренд дипломатов, бизнесменов и прочих сильных мира сего.

По дороге обратно в автомобиле они с Сушей вспоминают баскетбольную сборную школы, центрового Мишу Шапошникова, самого высокого из нашего класса.

— Отчего умер Шапа? — спрашивает Муратти.

Суша в курсе всех дел. Шапа бросил любовницу и забрал у неё из дома подаренный видеомэгнитофон. Любовница заявила в милицию. Шапу кинули в предварилровку. Вскоре выпустили, но Шапа был уже заражён. Он кашлял

кровью и пил, пил и кашлял кровью. И долго не протянул. В тюрьмах — туберкулёз. Никто не пишет в глянцевах журналах о туберкулёзе.

И Шапу тоже, как Муратти, никогда не укачивало в школьных автобусах.

Грустно умереть, если тебе ещё нет сорока.

Я не то что хочу избежать.

Я хочу запомнить.

Который день — сильный ветер, и сидя на балконе, я научился определять его направление. Западный, северо-западный, северный — когда поддувает из подъезда сквозь щели металлической двери и раздаются звуки дешёвого духового оркестра. Южный бьёт прямо в раму, и стекло дребезжит. Восточный опрокидывает на балконе пустую картонную коробку «Нова пошта», и она без всякого звука падает на пол. И лежит там рядом с лосиным рогом.

Я смотрю на крыши родного города, пытаюсь глазами впитать его в себя, запомнить солнце, любимые горы.

После смерти всё будет просто. Мы будем спать и видеть сны.

Кто-то запомнит серые улицы Москвы, свой офис в полуподвале, курилку, коллег, факс, пришедший во время обеденного перерыва.

Но ходят слухи, что есть шанс прожить остаток как-то иначе, запомнить что-то другое.

Здесь, конечно, счастье (или как стал произносить, наслушавшись Вертинского, — «шчастье»). Счастье — видеть под ногами каштаны и грецкие орехи. Счастье — читать объявление на дверях супермаркета: «Срочно требуются сборщики яблок в Бахчисарайский район». Счастье — покупать на субботней ярмарке под домом розовые помидоры, слушая сетования фермера: как трудно выращивать их в отличие от обычных («много пустоцвета»).

Все эти картинки должны потом пригодиться.

Счастье — пить горький дёготь итальянской робусты, наблюдать пролетающих птиц — вчера я видел каких-то хищных вроде беркутов или сапсанов, сегодня — массовый пролёт чаек, в начале октября будут полчища полевых чёрных птиц.

На ближайшем рынке — доза *шчастья* просто от вида сетчатого мешка с жёлто-красным перцем — он, такой полный и солнечный, лежал одним боком на ржавом прилавке, — я научился делать кадры просто для себя, в своей голове, в верхнем правом отделе гигабайты таких картинок. Нужные сохраняются надолго, пустоцвет стирается сам по себе.

Шчастье слышать возле подъезда «привет, Саша» от пожилой соседки, не забывшей меня. Много лет знаю её и различаю издали по походке. Но только сегодня определил суть этой походки — она идёт энергично, с лёгким наклоном вперёд, и каждые три-четыре шага едва заметно, на мгновение, наклоняется сильнее и ускоряется — как бы для того, чтобы начать бежать стометровку, однако не начинает, — когда-то она преподавала в университете физкультуру.

Я сижу на балконе — неделю, две, месяц — неподвижно.

Кофе, сигареты, ветер, тёплое солнце, иногда музыка.

Больше ничего не надо.

Звук лифта. Все эти постукивания, гул, нарастающий скрежет, пробивающий этажи по дороге наверх в тесной шахте, — всё в определённом неизменном порядке, странная, родная месса примитивного механического органа, — ты помнишь её уже столько лет! Это свой, родной, отличимый лифт; другие звучат иначе. Запоминай его, он тоже — твоё счастье.

Кто-то повесил в лифте зеркало — его разбили. Кто-то потом повесил икону — её содрали. Все кнопки выжжены газовыми зажигалками. Потом поставили блок металлических, против вандалов.

Мы — вандалы.

Много в Крыму красот и солнца; но если ты здесь родился и вырос, со временем понимаешь: радиация красоты не сделала тебя, твои мысли, твою судьбу счастливей; а солнце выжигает иногда наши жизни раньше срока, раньше смерти. Все эти боги солнца и огня, —

Аполлон,

Гелиос,

Митра,

Тонатиу,

Ра,

Шамаш,

Ярило,

— требуют человеческих жертв не меньше, чем злые боги полей и могил.

Второй день подряд два часа сна, и всё. Комары на восьмом этаже. Прогулка по парку в пять утра, где уже новое поколение собачников: другие лица, другие шкуры. Ряд металлических гаражей в сдержанных тонах, разъединенных жарой, солнцем, дождями, туманами, ржавчиной. Можно остановиться, смотреть на эту старательную, со вкусом проделанную работу. Неплохое занятие. Местные живописцы любят, напротив, — интенсивные экзотические краски.

На днях видел двух подравшихся ежей. Видел работавшего над стволом дятла. А сегодня кривой столб с отодранными проводами на самом краю обрыва издавал под ветром такие звуки, как будто дятел принялся и за него.

Только очень старые мужчины ходят в нашем парке кругами, как я, — без собаки, без подруги, без всякой цели, ради странного удовольствия ходить просто так.

Читал «Безобразова» и второй его роман. Возможно, вернусь к этим романам ещё. Стихов его не люблю. Романы же прочитал с огромным удовольствием. Главным образом, мне нравится его оптика, способ построения фраз — всё это тонкая ручная, нефабричная работа. Много риска, но, рискуя, он никогда не отступает и остаётся верен своему способу нанесения разных слоёв красок и слов. Это в чистом виде художественная проза. Много замечательных мыслей и наблюдений. Насчёт сюжета и образов ничего не скажу, в какой-то момент меня это перестало интересовать. Трудно сформулировать, чем могут нравиться какие-нибудь вещи Рембо, которого Поплавский очень любил, но для меня и Рембо, и Бодлер с его «Путешествием», и Поплавский — это просто такие произведения огромной личной свободы. И как-то, мне кажется, прямым

потоком она передаётся всем нуждающимся. Вообще, нечасто дочитываю книги до конца, но эти дочитал, и надеюсь, ещё перечитаю, потому что стал сейчас перелистывать его том и снова захотелось начать с любого абзаца.

После хорошей горной прогулки (обязательно в одиночку), приблизительно через неделю, заметил, не сразу, — пробиваешь в себе небольшое окно света и воздуха. Потом оно начинает сужаться, зарастать и снова становится одной из твоих чёрных стен. Думаю, что окно это будет долговечней, если никому не рассказывать о нём, и ещё долговечней, если ходить в горы без фото, без гаджетов, вообще на время отключать всякую связь, а мобильный оставлять дома. И у каждого, кому это нужно, наверное, собственные рецепты по добыче света и воздуха.

Мой рецепт — растягивать время.

Помню, как научился этому в начале 2000-х в Музее кино на Баррикадной. Я часто спасался там, когда совсем накрывало. Когда время внутри сжималось и день превращался в час, месяц — в день... Спасался, разжимая, растягивая и удлинняя время внутри себя. Шёл туда на весь день, покупал билеты на три разных фильма подряд (совершенно неважно, что это были за фильмы; и билеты тогда стоили копейки). Смотрел, помню, Дзигу Вертова, раннюю классику немого кино, какие-то проходные немецкие фильмы, финское документальное кино про гибель фермерства после вступления Финляндии в ЕС... Дома, за телевизором и компом, минут через десять от скуки и рассеянности переключился бы на что-нибудь другое. Дома что-нибудь жевал бы при просмотре, ставил бы на паузу, чтобы сбежать на кухню за кофе. Но, покупая три билета, сидя в тёмном зале, ты как бы приговариваешь себя до конца дня. Три по полтора-два часа, *которые нельзя поставить на паузу*, — и время начинает разжиматься, удлинняться. К концу дня, после всего, наступало успокоение, потому что день снова становился длинным, как день. А к концу недели (я мог тогда провести таким образом целую неделю, две) — совершенно выздоравливал, как здесь, просто сидя на балконе.

Чатырдаг, ласточки, сороки, чайки, скворцы, голуби, воробьи. Внизу, на дорожке школьного стадиона, — лошадь, на ней верхом мать и маленький ребёнок — так они гуляют вечером каждый день. Ближе к ночи на этих же дорожках бегуны с фонариками, и по стуку ног можно определить, кто бежит, — мужчина или женщина. В четыре утра начинает мычать муэдзин из татарской деревни. Вот она в навигаторе — улица Мерхамет, улица Каралез. При западном ветре несёт навозом из этой деревни, перемешанным с запахом дубовых рош. Вчера вышел купить дыню. По дороге от подъезда до рынка насчитал четыре козы и восемнадцать припаркованных автомобилей. Рынок перестроили, зашёл в первый попавшийся магазин. Продавщица — маниакальная старуха, выдающая монологи в жанре Stream of consciousness. «Ах, Леонид Аркадьевич, подумать только, семьдесят лет! Семьдесят лет, аренду подняли, всё свежее, только с ветки, берите пакет, накладывайте! Яблоки не испанские, а крымские, дедушке

легче, лечится грязью, коленки уже болят, но не так, подарок в студию, ах, Леонид Аркадьевич!»

В Ялте — скука. Но можно просто крикнуть псу «пошли гулять», и лучший друг на целый вечер тебе обеспечен. Можно бежать за ним, делая вид, что хочешь укусить его за ухо или за хвост. Он же — рычит и класает зубами возле твоей ноги. Но мы понимаем, что это только игра. Он жив. Он — пёс. Он — из того же тонкого мира, где живут собачьи души, и где живёт душа моего Дойча.

Ночью не спал, курил на балконе, слушал аудиокниги и часа в три ночи снова смотрел вниз на стадион, где в темноте наматывал круги один какой-то велосипедист. Кто он, что, почему так поздно, — я гадал, но ничего не понял и не разглядел. «Архиерей» на слух ещё лучше, чем глазами, — там поворот, смена интонации, тональности практически после каждого предложения, совершенно живая ткань. Так же, как и «Моя жизнь». Но в «Моей жизни» как-то странно среди общего драматического рассказа (отношения с отцом, с сестрой и пр.) вдруг выпрыгивает Чехонте (комические имена главных героев Мисаил, Клеопатра, — причём в напряжённом диалоге между ними), и вообще много чеховской кислятины. В «Архиерее» с последним «не ндравится мне это» тоже перебор. А вот «Отец Сергей» — каждое слово на месте, внутренний редактор отключается через пять минут. Этим Лев Николаевич, видимо, и отличается.

Сегодня первый день, когда холодно. Пошёл в Старый город снимать дождь и туман, по дороге вышел возле загса, чтобы сфотографировать мальчика, продающего новобрачным голубей, но вместо него был его большой и толстый напарник, и я развернулся.

Бродит много невест в идиотских платьях местного пошива. По мрачному городу гоняют мерседесы и ягуары, украшенные венками.

Кажется, Блейк называл это «свадебные катафалки».

С самого утра с балкона в соседнем подъезде не останавливаясь кричала сумасшедшая алкоголичка. Мат, проклятья и пр. И никто не пытался её заткнуть, вызвать милицию — понимали, что это, видимо, бесполезно. Но вот я вышел покурить, вижу — идёт по дорожке из школы девочка лет двенадцати, такая очень приятная на вид, останавливается под балконом сумасшедшей, смотрит и кричит очень уверенно: «Не орите!» И ор прекращается. И уже больше часа — тишина.

Вчера, когда ехал на маршрутке домой, а пробивавшийся из занавешенных окон южный, яркий, хотя уже почти вечерний свет, вспыхивая поочерёдно то на лицах попутчиков, то — отражениями в стёклах и зеркалах, то проходя полосами по салону, то тебе прямо в глаз, а оттуда — узким лучом направленно в черепную коробку, наполняя её на секунду каким-то сумасшедшим светом, который так же временно ослепляет мозг, как ослепляют глаза искры от газовой сварки, я подумал: зря. Зря были все мои врачи и страхи последних лет, зря в Новогорской клинике высоких медицинских технологий меня прокачивали собственной же кровью, засовывали в трубу, лечили магнитами, ставили капельницы, прописывали

горы таблеток от грусти, — потому что вот оно! — лекарство от бессонницы, панических атак и тотально серого неба над тобою и в твоей башке, — вот он (я назвал его «вечерний дорожный электрофорез»), может быть, единственный заменитель лекарствам и большинству грустных мыслей — сеанс ритмичного ослепления, временного полного отключения мозга (по нынешним симферопольским расценкам — всего тринадцать р. за билет).

Днём вышел на полчаса из дома проветриться. Плато, виды, знакомые места и запахи. В лужах лёд, но так — тепло, зеленеет трава.

Как скучно это казалось лет в десять — просто гулять между деревьями по тропам и дорожкам. И как нескучно теперь. Не мог загнать себя домой. Кругами — полчаса, час... четыре часа. Прошёл мелкий дождь. Перед закатом на западе — солнце в тумане. И ничего больше не нужно. Моё место.

Откуда я завтра уеду.

Обычное утро на конечной остановке, край города. Двойной эспрессо (60 р.), батончик «Зебра» (18 р.), две сигареты «Кент-8». Скамейка, прекрасный обшарпанный вид рынка, напоминающий своими одноэтажными лавками декорацию старого вестерна. В небольшой лавке, где готовят, — богатый выбор сладостей, чая, кофе и вообще всего. Кофе — от каких-то контрабандных турецких пакетиков до самого дорогого итальянского и гватемальского. Продавщицы улыбаются, давно знают, за чем пришёл я или водитель маршрутки. Обстановка домашняя. Кругом на улице — небогато одетые деловитые люди. Кто-то едет за покупками в «Ашан» (у французов всё дешевле), кто-то спешит на работу. В уличном тандыре пекутся лепёшки и самса. Много автомобилей — от бережно сохранённых «Москвичей» прошлого века до «Рендж Роверов». Много нарядных школьников. Много жизни. У края дороги рассуждают о политике двое водителей. Пожилой татарин (в его маршрутке — голубой флажок с тарак-тамгой Гераев) вздыхает: я знаю только одно — это продлится недолго, мирно нам жить не дадут. Его седой визави отвечает: всё будет нормально — теперь у нас подводные лодки «Посейдон», способные вызывать цунами у берегов Атлантики.

Я возвращаюсь в Шереметьево.

Таксист-таджик — мой брат по изгнанию на север, — подвозит меня к подъезду.

И вот снова: лестничная клетка, ключи.

Там, в глубине комнаты... Сейчас всё будет, он соскочит с дивана. Но почему-то медлит. Видимо, крепко спит. Приятно спать на диване хозяина головою на мягкой подушке.

Мысленно я даю ему команду и начинаю шумно отпирать дверь.

Он спрыгивает с дивана. Я слышу его шаги.

Владимир Лидский

Два рассказа

Братья по смерти

...ей страшно было зайти, но — зашла, ткнула дверь и зашла, в сенцах стоя, топталась, дрожала, а и по-прежнему страшно, — ладонь потела, сжимая смертоносную сталь, и холодок влаги щекотал спину... кто там? услышала, вздрогнула и... решилась: рванула дверную ручку и переступила порог, а он сидит там внутри, а перед ним стол, а на столе миска, а в миске каша, и он кашу ест, хотя не ест, нет, не ест — жрёт, и тут она заходит и говорит: у вас дверь не закрыта, а он говорит: тебе чего, детка? а она говорит: смерти твоей, вот чего, и сжимает рукоять пистолета, а он говорит: не делай этого, детка, зачем? что я тебе? а она говорит: иуда ты, вот чего, — а пистолет тяжёл, трудно его поднять, но надо же тяжесть такую одолеть, чтобы убить жирную жадную жалкую жабу, и она, скрепясь, вздымает оружие и, качнув рукою, жмёт на спуск... такой грохот! и дым, похожий на сизый туман, ползёт по хате, и пороховая вонь медленно вплывает в ноздри, а человек за столом, даже не успев вскрикнуть, валится лицом в кашу, в драгоценную перловую кашу, которую не всякому в конце сорок пятого года можно было сыскать; так смерть и нашла Гапея, а убийцей была детка, Петруся, пятнадцати лет, пришла и наказала предателя, а кому ещё было наказать? некому, ведь погибли все, — мог наказать, правда, Салажонек, — фамилия его была Салажонек, ну, не героическая фамилия, да, а что делать? родился с такой фамилией, стало быть, и живи с ней, а геройство не в фамилии, геройство в жизни, которая дадена тебе одна, и попробуй-ка стань героем в ней, ежели ты и не бойкого десятка, а скорее, против того — робких свойств; у Юрася был младшой брат Генусь, отрок, их так и звали все — Юрась и Генусь, а отца звали Агей, ему было пятьдесят, он Юрася поздно родил, а Генуся и того позже; в сорок первом, весной, Юрасю как раз вышел срок в армию идти, его и призвали, взяли в Лиде, а повезли в Минск, а из Минска

Владимир Лидский (Михайлов Владимир Леонидович) родился в 1957 году в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», сборников стихов «Семицветье» и «По ту сторону зеркала», нескольких киноведческих книг. Постоянный автор «ДН». Публиковался в журналах «Знамя», «Новый журнал» и др. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Бишкеке.

куда-то в пригород, не знамо куда, вот там часть его стояла до двадцать второго как раз июня, — ты же знаешь, сказал дед, двадцать второго там всё и началось... не спутал Салажонков? смотри, не путай их: отец Агей, старшой — Юрась, младшой — Генусь, такая была у них семья, а мать померла родами третьего, коему и имени-то дать не успели; вот, стало быть, Юрася призвали, и он в артиллерию попал, — призвали в апреле, и он служил до июня, изучая орудия и специфику стрельб, а там и черти в крестах летят с бомбами внутри самолётных животов, — разбомбили Лиду, Барановичи, Желудок, к Минску летают, а наши стремительно откатываются, и вот они уже за Могилёвом, за Оршей, за Витебском, и последний бой наш Юрась принял перед Москвой, — там рота была, командовал ротой лейтенант Шумов, и их уже давно трепали, от роты человек семьдесят осталось, стояли у деревушки какой-то, в поле, на линии обороны, там были окопы, блиндажи, укрепления и заграды; день был морозный, туманный, серый, — тягачи подъехали, расчёты, попрыгав с кузовов, отстегнули орудия и перекатали их; едва стали, замаскировавшись, как кто-то ахнул: танки! командир сказал: к бою! и каждый номер быстро сделал свою работу — сорвали чехлы с дульного тормоза, казённого и прицела, наводчик вставил панораму в *корзинку*, открыл окно в щите, другие номера развели в стороны станины лафета, откинули правила и опустили нижний щит... танки шли шахматным порядком, семнадцать танков, пехота шла с ними, у наших же — восемь орудий и снарядов мало, — так трое суток бились и посекло всех: пехота легла навек, наших парней осталось пятеро при одном орудии, лейтенант погиб, все погибли, даже сержанта ни одного не осталось, зато и фрицев побили; там было так: перед последней атакой сорок минут лупили орудия; наши, кто остался, сидели в окопах, ад был кромешный, гром, грохот, грязь, химическое зловоние от взрывающихся снарядов, земля тряслась, летели рои осколков и комья замёрзшей почвы, а потом — снова пошли танки, девять стальных чудовищ, — девять осталось, — девять взбесившихся псов, рвущихся неудержимо вперёд, грязных, заляпанных торфом, горячих, как огонь преисподней, и наши стали наводить пушки, жечь лязгающих сталью монстров, а иные парни, — если танки, неудержимо несясь, вгрызались в позиции, — выскакивали вперёд и бросались с гранатами под них, — трое бросились, другие бились, и вот уже их осталось два десятка, потом полтора, потом десяток, и вот рухнул в месиво торфа Ходжакулиев, славный парень, всегда угрюмый и молчаливый, и Санукян, вёрткий весельчак, пал за ним, и Потапов с Пронченко, и мальчонка Скурат, сын полка пятнадцати лет, подобранный в развалинах Орши, — все пали, ткнувшись в смешанный со снегом торф, раскинувшись среди снарядных гильз, и вот, солдат — пятеро: Сидоров, Коган, Смальцов, Абдуллин, — и Салажонков с ними, — все бьются, не сдаются, стоят на огненном рубеже и держатся впятером полтора часа, и только два танка уже осталось у немца, и пехоты человек двадцать, и наши последние силы теряют, а враг идёт и идёт, а парни стоят и стоят, не давая ему спуска... проходит время и вражеской пехоты нет, кончилась, и один только танк крутится по полю боя, пытаясь прорваться, но и наши полегли, — Смальцова с Абдуллиным накрыло осколками, Сидорову разворотило грудь, а худенький Коган последовал примеру смертников, бросившись с гранатой под танк;

и Юрась остался один, и он теперь не просто один, а один на один с танком, и танк в своём безумии не признаёт маленького солдата, прёт вперёд и не хочет считать его значимой преградой, но у Салажонка остался снаряд, единственный, и им надо с умом распорядиться, — Юрась истерзан и ранен, в левой руке у него два осколка и кровь залила всё тело, но он не сдастся, разве может он сдаться? — танк рычит, извергая фиолетовый выхлоп, лязгает гусеницами и несётся по полю битвы, Юрась торопливо берёт снаряд, скользкий и мокрый, — такой тяжёлый, что невозможно поднять, — на двух руках кое-как переносит его и, уже выбиваясь из сил, заряжает оружие... наводит, ещё наводит, доворачивает ствол пушки, чуть-чуть опускает и... стреляет! — танк несётся и словно бы выскакивает из-под снаряда, вырываясь вперёд... перелёт! мимо! — Юрась садится на землю и в изнеможении падает вбок, но тут танк замедляет ход и на тихой скорости подходит к орудию, сметает его и затихает... у Юрася ничего нет, ни автомата, ни пистолета, он гол перед танком, танк видит это и медленно начинает наступать... Юрась встаёт, пятится, поворачивается, бежит, а танк за ним, — Юрась бежит в сторону леса на востоке, уже ни на что не надеясь, но инстинктивно бежит, танк следует за ним, и так они крутятся, пока Юрасю не становится ясно: конец, всему конец... он поворачивается к танку и говорит, злобно плюнув: *твоя взяла, сссука!* — танк молчит, тихо урча движком, ждёт, как хищник, собирающийся прыгнуть на жертву, и вдруг медленно-медленно сдвигается с места, ползёт, наползает, теснит Юрася, и Юрась пятится назад, ступает мелко, сторожко и... падает в траншею — прямо на тела погибших солдат! — танк, зайдя сверху, утожит землю, ссыпает бруствер, желая раздавить маленького бойца, но не достаёт до него; Юрась ползёт по траншее, пытается спастись, и попадает руками в холодную сталь... всматривается — под ним перепачканный торфом и землёй *дегтярёв!* схватив его, Юрась прижимается спиной к стене траншеи и ждёт... лязг металла, тихий говор и на бруствере появляются два танкиста... Юрась лупит длинной очередью и успевает заметить, как один из врагов бросает в него гранату... грохот, комья земли и куски льда, а потом — медленно наползающая темнота... и спустя три дня две сестры милосердия находят Юрася, случайно заметив его едва дрожащую руку в засыпанном землёю окопе...

...и вот он лежит на койке и, открыв глаза, сквозь муть, рябь и серые сумерки видит: подходит сестричка, садится в ногах и говорит: с воскресеньем, солдатик! из тебя горсть железа вынули, как ты не помер-то? — он хочет что-то сказать, шевелит губами, но лишь слабый хрип исторгает его саднящая глотка и слеза скатывается по небритой щеке... сестричка является всякий день, несколько раз на дню, делает перевязки, уколы, возится с ним, и он уже в состоянии улыбнуться и даже сказать одно-два коротких слова... время идёт, и он идёт — на поправку, ему всё лучше и лучше, он выздоравливает, и руки-ноги на месте, только голова гудит, раскалывается и отказывается думать, проваливаясь временами в пустоту, а время идёт дальше, оно не может же не идти, хотя и стоит на месте, и вот он уже сел на койке, а потом встал, а потом и пошёл, а потом даже зажал свою медсестричку в углу, и она подарила ему поцелуй... это жизнь! он выжил!

...чего нельзя сказать о Генусе с Агеем, которые двадцать шестого июня ушли в лес, а с ними ушли ещё десятка два лидчан, и девочка Петруся ушла, — родители её работали в Хрустальной на стекольном заводе и явились в Лиде как только начались первые бомбёжки; здесь жили их старики, — и их тоже забрали, да вовремя: двадцать шестого они ушли, а двадцать седьмого немцы заполонили город, — уцелевшие в бомбёжке дома заняли под гестапо, госпиталь, гебитскомиссариат, в типографии сделали тюрьму, а в замке — лагерь для пленных, начались облавы, поиски советских работников, но в пущу немцы боялись заходить, опасаясь сюрпризов, и правильно делали, хотя у новоявленных партизан и было-то — две берданки на всех, но Агей, ставший во главе беглецов, хорошо понимал: надо выживать, а чтобы выживать, надо действовать, и стал действовать: взял Генуся и ещё одного парня — Осипа Крупика, вышли они из пущи и сели в кустах, за обочиной тропы, — две берданки, три пары глаз, уйма времени и ещё более терпения, день просидели — ничего, другой день — ничего, а есть-то нечего, что с собой взяли, подъели; стало быть, надо и впредь сидеть в кустах, карауля удачу, — третий день сидят, четвёртый сидят, а толку нет, колонна только прошла — машины, мотоциклы, и что с ними делать? две берданки — не оружие, а лишь несерьёзный юмор, как с берданками против автоматов? итак, — на пятый день слышат дребезг и видят вскорости на тропе худого одра, телегу и двух фрицев, телега гружёная, накрытая дерюжкой и тихоходная такая, что еле ползёт, тут наши партизаны и сделали стойку: двумя выстрелами стёрли фрицев со свету, завели конягу в лес и меж деревьев быстро-быстро двинулись в чащу, но как стало невмочь завалы объезжать, стали и заглянули под рогожку, а там! хлеб, мясо, крупа... удача! да ещё двумя *шмайсерами* разжились; распрягли лошадку, взяли её под уздцы и пошли в лагерь за подмогой; так стали партизанить и оккупантам вредить, — по первости было нелегко, потому что всякий день следует есть, пить и утверждаться в зимней пуще, а потом ничего, обвыклись, еду научились добывать, оружие и даже снесли с городскими подпольщиками, работавшими на обувной фабрике «Ардадь», где немцы устроили авиацеха, — там был один Емеля по фамилии Капачель, и ещё Петя с Колей, коих фамилии не упомяну, сказал дед, — так они сделали магнитную мину втихаря, вняв просьбе Агея, и Агей с Генусем, прокравшись в депо, прилепили её к паровозу, который готовился ради перевозки состава с немецкими войсками, и таким знатным салютом отметили партизаны проводы состава, что его грохот слышен был и в Хрустальной, и в Тарново, и в Белогруде, — по всей Лиде фрицы бегали, как тараканы, а сделать ничего не могли; в другой раз городские решили взорвать электростанцию, и Агей со своими людьми способствовал им, — четырнадцатого марта сорок третьего года электростанция взлетела на воздух, и здесь грохот превзошёл даже шум уничтоженного паровоза, улетевшего к чёртовой матери, — так они воевали и много ещё подвигов свершили...

...а старшой Агея, Юрась, лежал тем временем на госпитальной койке, выздоравливая, и уж совсем пошёл на взлёт, думая даже, что вернётся скоро в строй и будет дальше крошить врага почём зря, только была одна препона, которая *звалась Татьяной*, — медсестричка, которая за ним ходила... ну, да что

делать, придётся, стало быть, расстаться с Таней, ибо когда Родина зовёт, Таня отодвигается, — не вовремя влюбился! а и Таня влюбилась, пошла как-то к кастелянше, взяла у неё ключ от кастелянной и говорит Юрасю: пойдём со мной, солдатик, и Юрась встал с койки и пошёл, а она привела его к одной двери, отперла и говорит: заходи, видишь, тут есть, где полежать, и они зашли и любили друг друга, а потом Юрась говорит Тане: поедем со мной после войны в Лиду, покажу тебя отцу, брату и соседям, поженимся и станем жить-поживать, добра наживать, — так они и женихались, пока Юрась брал уколы, терпел перевязки и обмывку ран, а в один день проснулся утром, видит — сидит на краю его койки медсестра Таня и говорит: доброе утро, солдатик! — он говорит: доброе, Таня! — а она говорит: я не Таня, я — Надя, и Юрась смотрит на неё озадаченно, с неверием и думает: что это со мной? — тут Таня-Надя даёт ему бумажку, в которой начертано: *комиссован по ранению, предписана демобилизация и отбытие по месту жительства*, Юрась смотрит и говорит: приеду, стало быть, за тобой после войны, станем жить-поживать, добра наживать, Таня; а она смотрит на него с удивлением и повторяет: я Надя! куда мы поедем? никуда мы не поедем! ты чего, солдатик? — и так они сидят оба, недоумевая, и глядят друг на друга...

...а в Лиде тем часом является Гапей, помнишь ли Гапея? спрашивает дед, — тот самый персонаж, которого детка Петруся навсегда в архив сместила, — он был пришлый, родом из-под Львова, — в восемнадцатом году пришёл... является, словом, Гапей и идёт в пущу, — Гапей был лесник, охотник, и советская власть поставила его в свой час над лесом надзирать; он был ещё не стар, но как немцы вошли в Лиду, так и состарился нарочно, дабы подозрений ненужных не иметь: вырастил бороду, наподобие писателя Толстого, волосы длинные, чтоб, на лоб падая, скрывали весёлые глаза, и не мылся, чтоб выглядеть грязным стариком, а то немцы бы его спросили: чего ты, мол, не в армии? не шпионишь ли часом за гебитскомиссаром, чтобы убить начальство и торжествовать? — жил он скудно и малость голодал, потому что все в Лиде голодали, кроме, конечно, гарнизона оккупантов, и вот, голодая, надумал он идти в пущу для добывания еды, он же охотник, но с берданкой нельзя, немцы сразу его к ногтю приберут, как это так — советский гражданин, хоть и старый, с оружием в руках по городу идёт? ну, он берданку и не думал брать, она у него в огородной земле в промасленной ветоши покоилась, а смастерил несколько капканов (на зайца), пошёл в пущу, расставил капканы да и ходил всякий день, проверяя — нет ли в капканах зайчатины — голод утолять, долго ходил и столько серых ушастых надобывал, что даже обменивал их у немецких солдат на табак и соль, так как в Лиде страшный солевой голод был, — просто не было соли в Лиде, и жители её, кое-как выжившие пока и не попавшие до времени в гетто, жевали свою скудную пайку без соли, — у кого было что жевать, а Гапей стал прямо уважаемый, знаменитый, пресловутый, достославный и достопамятный, ведь он зайца добывал, мог продать или обменять, вот ему лидчане все свои жалкие бирюльки и спустили, а немцы его уже и товарищем величали, не в советском смысле, конечно, а в смысле — соратником и другом, он с немцами покуривал на досуге, а они ему шептали: что, пан Гапей, не желаешь ли в *Schuma*? то бишь в Шуцманшафт или, лучше сказать, — в *охранные команды*,

а он говорит: не, невозможно мне, несподручно, хлопотно, я же старый, мол, винтовку не смогу держать, да и слеп я почти как кротовый должитель, — тем и отмазывался, не желая в полицаи идти, ибо понимал: вернутся Советы — так сразу и повесят, и — ходил в лес, промышлял зайца, небрежением своим оскверняя лестные предложения фрицев да гансов...

...Юрась между тем всё ещё был в руках врачей и, лёжа в койке, бредил сутками, — все думали: помрёт, что в госпиталях, где бойцы всякий день мрут, не новость, а скорее обыденность, тем более что из него вынули осколки, да кое-что не вынули, так как не смогли, но вдруг к удивлению врачей температура его спала, он пришёл в себя и даже поел казённой каши, а сестричка Таня (Надя?) причесала его и сказала: сто лет жить будешь, солдатик! живучий ты, чертяка! — он ободрился и с того дня выздоравливал: сам ходил до ветру, гулял во дворе и строгал деревянные палочки ножом; так ободрился, что добыл карандаш, химический, клочок бумаги и написал письмо отцу: *дорогой папа Агей Сильвестрович как есть я твой старшой кровный сын Юрась хочу отписать тебе что давеча был ранет и ранетый болел а нынче здоров почти здоров и даже влюбился в медсестру Таню с коей Таней хочу предстать перед твои строгие глаза ты уж благослови нас на жизнь мы станем вместе век коротать может и детей наживём а ты благослови мамы нету хоть ты благослови Таня хорошая сверх ожидания выходила меня смертного мы с ней дружно заживём я только сначала на войну схожу буду изводить немца пока не изведу и потравлю приехать не смогу а потом как фашистскую гниду истребим возьму Таню приеду к тебе ты жив будь а уж мы приедем и ты благословишь а то благословить то больше некому мамы ж нету у нас а ты благословишь и мы заживём тебя как отца будем почитать и в обиду как постареешь не дадим твой сын навеки Юрась и имени твоего я не уроню;* тут он свернул бумажку в треугольник, послюнил карандаш и написал: *город Лида улица такая-то дом такой-то в собственные руки Агею Сильвестровичу коли жив жду ответа как соловей лета,* а на обратной стороне треугольника, снова послюнив карандаш, вывел: *лети с приветом вернись с ответом,* а потом собрался и, получив предписание, снова ушёл в поля сражений, — явившись к командиру сказал: служил и буду служить Советскому Союзу, определите, мол, куда следует согласно военной и фронтовой необходимости, но командир посмотрел, как-то скривившись, и говорит: какой же из тебя вояка, в осколках весь, кого только присылают! и определил его в кухню полевую, — Юрась смертельно обиделся, но виду не дал, понурился да и пошёл на кухню кашу для бойцов варить и на побегушках батальонному повару служить; судьба, впрочем, была ему иная: немец налетел как-то, разбил кухню, убил повара, убил комбата, других бойцов убил, и Юрась взял автомат и пошёл с теми, кто остались ещё, в атаку — высотку штурмовать, и был героем, потому что воевал как герой, рвал врага зубами, и взяли же высотку наши ребята, а Юрася к медали представили, — хорошая медаль — «За отвагу»; правильно дали, отважный парень отважно воевал, и не ради смерти причём, а ради жизни, вот он и выжил, до Праги дошёл, почти дошёл, сидел под Прагой в траншее и ждал боя, и все ждали, а ребята устали, прикорнули в земляных закутах, сморились, уснули, и Юрась уснул, видит сон, во сне Таня — целует, обнимает его, а потом отстранилась и говорит:

в атаку, солдатик! в атаку! и чувствует, как кто-то его тормозит, пытаюсь разбудить, и орёт в ухо: в атаку! ура! бей фашистских гадов! и он просыпается, а траншеи нет, бойцов нет, автомата нет, он лежит в постели и вокруг — привычная обстановка госпиталя, а в ногах сидит у него Таня (или Надя?), он рвёт на груди госпитальную рубашку, потому что жар мучит его и силится куда-то бежать, но Таня держит его и говорит: в какую атаку тебе, какое ура? лежи себе, ты же раненый, и он лежит, не понимая жизни, а Таня гладит его руку и что-то шепчет...

...а Гапей в то время как раз шёл в пуше, собирая зайцев, — одного собрал, другого, третьего, а было у него пять всего капканов, он идёт и думает: где же ещё два? что-то не вижу, и так брёл-брёл — за сосну, за вяз, осину, дуб и вдруг понял, что пропал, — заблудился, дорогу потерял, даром что лесник, знаток и толкователь пуши, а вот же! плутал, плутал, а уже и смерклось, ну, думает, всё! придётся, знать, в лесу уснуть, — он, впрочем, не боялся леса, хоть и понимал, что тут, в пуше, росوماхи часты, а всё же не хотелось, но спасибо, что лето тёплое стояло, можно было, не опасаясь замёрзнуть, уснуть где-нито на лапнике, и он уже место искал, чтобы уснуть, и думал себе: хорошо бы уснуть, устал же, пора и уснуть, — и вдруг что-то хрустнуло вдали и как будто огонёк мелькнул, — присмотрелся Гапей, а там, впереди, маячит нечто, — ну, всё! росوماха! ещё всмотрелся: ан, нет, не росوماха, ведь росوماха сразу учуяла б его, а там — нет, там некая жизнь была; он дальше пошёл и видит: люди! — так партизаны стали на его пути, то был отряд Агея, и его узнали, ибо Лида городок маленький, невзрачный, и все, кто в польское владычество пивал пиво Мейлаха Пупко, знали друг друга, как родня, — приняли его в отряд, он говорит: хочу воевать, тоже буду воевать, отомщу оккупантам за наш городок, мы жили мирно, а они пришли, а мы их не звали, а они пришли, явились непонятно зачем, хотят нас истребить, земличку нашу позабрать, чтоб мы голодали, а они чтоб нашей бульбой радовались, такое не пойдёт, такого не будет, а мы станем воевать их, стирать со свету нашею могучей дланью, чтобы им неповадно было впредь; и стал воевать, такой сделался вояка, что хоть сейчас к ордену и на доску почёта, — двух немцев даже убил в стычке у водонапорной башни в депо, и Агей ему сказал: как будет связь с Большой землёй, так представление к награде и выпишу тебе... что награда! думал Гапей, просто кусочек металла, вот еды бы! а то совсем скудно жили партизаны, — добудут что, на всех делят, а отряд большой уже, народец нет-нет прибавается ко мстителям, — отряд, кстати, и назвали — «Мститель», — вот тебе паечка мизерная и достаётся; голодали бойцы, и Гапей пошёл к Агею да и говорит: так и так, мол, разрешите, товарищ командир, зайца добывать ради пропитания, ведь я же могу капканы ладить и поимка зверей — моя, дескать, компетенция... командир удивился и говорит: вас ист дас компетенция? немецкое, что ли, слово? ты где немецкому-то учился? — не учился я, молвит Гапей, а просто словцо это в воздухе витало; дали ему, стало быть, разрешение на зайца и стал он опять в пушу проникать, да так глубоко, что заяц просто косяком пошёл, как рыба в нерест, — бойцы радёхоньки, Агей Гапея приветчает и называет интендантом, в шутку, конечно; и вот они воюют: то караул немцев на станции Поречаны порешат, то, взрывчатки добыв,

Лидский бензосклад на воздух пустят, то зерна в Бахматах награбят, а к зайчатине привыкли, вот Гапей как на работу в пушу и ходил и раз даже оленя добыл, ведь ему в отряде хороший винтарь дали, а потом собрался раз в пушу и говорит детке Петрусе, которую родители с Хрустальной забрали: пойдём-ка со мной, детка, поможешь зайцев таскать; и пошли, и даже далеко не ушли, а шли, покуда Гапей не сказал: устал что-то, давай отдохнём, — и лёг в траву, а трава мягкая, шёлковая, сухая, прохладная, детка тоже легла и давай смотреть в кроны деревьев, выслеживая взглядом птиц, но тут почувствовала руки Гапея, суетливо бегавшие по её телу, и топоток пальцев, пытающихся расстегнуть тужурку... она сбросила руки, а он полез ей в штаны, и тут уже она вскочила, но и он вскочил, схватил её, повалил и стал рвать с неё одежду; она стала вырываться, выкручиваться, но он придавил её телом и, пытаясь обездвигнуть, ударил кулаком в лицо... детка закричала, хотя кричать-то в партизанском лесу — не лучшая мысль, но закричала, и её услышал кто-то из бойцов, — Гапея взяли за шиворот, встряхнули, связали руки бечевой и отвели к Агею, а он посадил его в землянку и часового нарядил; бойцы сказали: расстрелять! потому что есть законы войны и нам такой партизан в обиду будет, — другие бойцы сказали: нет, исправим его, он советский человек, — а командир Агей сказал: какой он советский человек, он польский буржуй и при поляках звероферму держал, удивлюсь, если у него в огороде золото не скрыто, — что же ты тогда думаешь за него? спросили бойцы, — думаю за него: казнить! сказал Агей, — это паршивая овца, она на нас позор влечёт, — и постановили — казнить, но оставили до утра, стыдно же было своего убивать, и Агей всю ночь думал-терзался: может, дать спуску ему, авось, исправится, а коли не исправится — просто изгнать, думал, думал и ничего не придумал, а утром глядь, а пленника и нет, выполз, змей, из землянки, сокрушил часового и был таков; пытались искать его, да где там! и след простыл, и вонь исчезла, в другой день бросили искать, и всё! пропал Гапей, а Гапей, как уж потом прознали, вернулся в Лиду и напрямую направился в гебитскомиссариат, зашёл к гебитскомиссару и спустя пару дней повёл отряд головорезов из *Дирлевангера* к месту партизан; шли ночью и пришли к рассвету, когда небо уже серело... сняли часовых, взяли в кольцо и открыли стрельбу, — всех убили, кто в орешнике спал, и лишь детка Петруся, вставшая за миг до вторжения ради детской необходимости, оказалась за плотными кустами бузины, — притихла, сжалась в комочек и смотрела, а немцы пошли по землянкам и вынули из них ещё семь партизан, в числе коих были Агей с Генусем, на которых сказал слово, указуя пальцем, предатель Гапей; пятерых убили, а Гапея с Генусем поставили столбиками фронтом и стали осыпать бранью, кидать сучья и комья земли, а потом вперёд вышли два ражих немца, самые здоровенные из всех и стали избивать пленников... они уж на ногах не стояли, но фрицы встряхнули их, подняли и привязали к деревьям, чтоб не падали, и тогда уж офицер немецкий поманил Гапея пальцем и сказал: вот тебе парабеллум, убей-ка их! тут Гапей от ужаса речь утратил и головой замотал: нет, мол, нет, не могу я! но офицер и слушать не стал, всучил ему холодную сталь и жестом показал: давай! — что делать? пытался, пытался Гапей и видит: он сам под дулами оружий, поднял руку, а рука-то дрожит, он тогда ближе подошёл, чтоб не промахнуться, сначала

в Генуся выстрелил, потом — в Агея, повисли они на верёвках, а немцы стоят, гогочут, и офицер, подошедши к убийце, похлопал его по плечу эдак снисходительно и сказал: карашо, маладес, гут, зер гут, а Гапей чуть не обмочился со страху, едва удержался; собрали фрицы оружие и ушли, а детка Петруся вжалась в землю и думала даже вкопаться в неё, — так вот с ума и сходят, сказал дед, — видел ты сумасшедших, которые с войны свихнулись?

...долго ли коротко ли, прошло время, и немцев в сорок четвёртом погнали, а там и май сорок пятого, Победа, наши стали с войны возвращаться, и Юрась вернулся, пришёл в Лиду, а там и нет никого: ни брата, ни отца, ни знакомых, евреев вообще под ноль извели, — звери, изверги, пусть прокляты будут убийцы, насильники и грабители! — явился Юрась, а дома нет, — разбит немецкими бомбами Юрася дом, доски обугленные лишь остались да железяки скрученные, — делать нечего, пошёл Юрась угол искать, укryвише хоть какое, жить-то надо, вдруг непогода, и забрёл в школу, где недавно ещё гебитскомиссариат стоял, нашёл комнатку, бросил сидорок на пол, вот и подушка, вот ложе, будет где теперь ночи коротать, ну, и бродил по школе, в бумагах рылся, — много бумаг осталось от немцев, не успели пожечь, — читал-читал Юрась со скуки приказы немецкие (хороший учитель был у него до войны, силезский немец, маленько научил его по-немецки) и вдруг попался лист: так, мол, и так, посредством лесника Гапея уничтожен и развеян в прах отряд партизан, коих личности все почти известны благодаря найденным в отряде бумагам, такой-то там был, такой-то и такой-то, а командовал ими Агей Салажонок, и сынок его, Генусь при нём был, застрелены которые лично лесником Гапеем, за что означенному леснику выданы в вечное владение комплект немецкой формы, два мешка муки и пуд соли... на что ж ему пуд соли? спросил я, адресуясь к деду, — а на что! сказал дед, — продавал, надо полагать, не было же соли в Лиде... прочёл Юрась лист, и кольнуло что-то в сердце его, а Гапея он помнил и дом помнил, где тот жил, — пойду-ка гляну, сказал себе Юрась, может, жив кат, так я его казню, — взял пистолет свой и пошёл, — приходит, ба! жив-здоров скунс и благоденствует, хата чистая, хлебный дух есть, стало быть, не голодует, а всё же потягивает гнильцой откуда-то из подпола, — думает Юрась: миновала же его месть измождённого и измученного советского народа, — поднял пистолет и выстрелил в предателя, — Гапей едва встал и пуля попала ему в грудь... смотрит Юрась, а Гапей стоит себе, даже не поморщился, дыра в груди у гада, а ему хоть бы что, стоит, смотрит, хоть бы хны, не чихнёт — не пискнет, Юрась снова тогда поднял пистолет и пальнул, — прямо в сердце вошла пуля, а предателю — ничто, нету ущерба для него, тут Юрась струхнул, потеряв решимость, но скрепился и опять пальнул, — в этот раз пуля врагу в глаз попала, выбила глаз, а тому опять ничего, стоит, ухмыляется и говорит: не старайся, брат! — Юрася перекосило аж, затрясся парень и орёт: какой я тебе брат? никогда мы с тобой братьями не будем! — а тот ему тогда говорит: остынь, брат, мы с тобой по смерти брата, — как по смерти? говорит Юрась, — да просто, говорит Гапей, я же мёртвый, — как мёртвый? говорит Юрась, — а так, говорит Гапей, ты меня не убьёшь, меня уже убили, — детка одна, Петрусей звать, зашла в хату и говорит: у вас дверь не закрыта, а я говорю: тебе чего, детка? а она говорит:

смерти твоей, вот чего, и сжимает рукоять пистолета, а я говорю: не делай этого, зачем? что я тебе? а она говорит: иуда ты, вот чего, вздымает оружие и, качнув рукою, жмёт на спуск... вот и не светит тебе меня убить, я мёртвый, опоздал ты, и могила моя на католическом кладбище — сразу за каплицей, под восточной стеной, сходи глянь, тебя впечатлит, а и ты, впрочем, мертвец, только твоё кладбище далече, ты же на госпитальной койке помер, не оправился, не выздоровел, помер, — осколки-то вынули из тебя, но смертушку не одолели, вот мы теперь по смерти и братья, вечно тебе теперь возмездья алкать, да не утолится оно и пребудешь ты в неутолении вечно... встал Юрась покрепче, утвердился духом и выстрелил себе в грудь! а смерти-то нету для него... тут сел он на пол в хате предателя, схватился за голову и заплакал...

Артефакты

...и, посмотрев в глаза Гловачу, сказал: должок, пан Гловач, а проценты уж оставьте себе, — на что Гловач хмыкнул и насмешливо качнул головой; дед сунулся в карман, вынул увесистый ремингтон и ненавязчиво покрутил стволом; убьёшь меня? спросил Гловач, — убью, сказал дед, — а кровь? спросил Гловач, — без нас приберут, сказал дед, — я тебе сниться буду, сказал Гловач, всякий день стану приходить, — я не привык дневать, сказал дед, и ночью без снов, а тебе сдохнуть, и вся недолга! хочешь в яму? червей кормить? — нет, сказал Гловач и, достав бумажник, бросил его на пол, деду в ноги, — я не гордый, сказал дед, могу и поднять, — и поднял; посчитав деньги, прибрал их, а потом стволом ремингтона отодвинул полу пиджака Гловача и слегка постучал по жилетному кармашку с часами; Гловач икнул и вынул часы: пана Хоскевича часы, сказал он, чистое золото, лучшая антикварная лавка Лиды, — знаем, небось, сказал дед, забирая часы, — шестьсот рублей, сказал Гловач, рублик к рублику, — пан Шломо не любитель злотых, а тут — он ткнул пальцем в часы — рубины, сапфиры и бриллианты, — вы всё равно более задолжали, сказал дед, сливая в ладонь цепь часов, — это ваше мнение, сказал Гловач, — до видзэня и чёрта вам в пятки, сказал дед, — и вам, сказал Гловач, здоровьчика на короткую жизнь, — дед спрятал ремингтон и покинул купе; сказать по чести, он сам создал пат и сам же оказался под патом, ибо косвенно способствовал явлению Гловача в Лиде; Гловач был аферист, но и дед был не менее аферист, и то, что он делал в Лиде, осталось в анналах Лиды: он строил училища, больницы, давал деньги беднякам, — не ссужал, а просто давал, одновременно брал ссуды в Банке Польском, в Кассах Стефчика и в Почтовой сберегательной, а в тридцать первом поехал в Варшаву и уболтал начальство ради строительства канала Лида — Балтика, то есть Гданьский залив: мол, район Лида — Гродно — Скидель забогатеет при канале и большой порт сделает Лиду центром торговли, производства и большого туризма; в Варшаве на деда смотрели с подозрением, предполагая в нём сумасшедшего, но он упорно ходил по инстанциям, терпеливо ждал приёма в присутствиях, доказывал, убеждал, заваливал начальство схемами, чертежами,

таблицами, сметами и собрал по итогу двадцать четыре килограмма приказов, распоряжений, согласований и актов... он добился денег! проект год гулял по Варшаве и получил все разрешения вкупе с гигантским бюджетом; Висла, как известно, впадает в залив, из неё через Августовский канал, рассказывал дед, суда должны были заходить в Неман, далее — Дитва и уж потом Лидея, которую предполагалось пустить в большое рукотворное озеро и там строить порт; за пять с половиной лет этот фантастический замысел был осуществлён, дед заработал немислимые деньги, а Лида обрела выход к морю... верить-то я верю, говорил я, но где доказательства? где порт? соединительные каналы? шлюзы? — ну, правильно, нету, отвечал дед, сколько лет прошло! всё кануло, — стоп, минуту, говорил я, вот, ради примера, Лидский замок, сколько уж веков стоит, а и то стены-то остались, — снова правильно, говорил дед, — камень! что с него взять? а тут металл... лебёдки, краны, много чего, — на лом пошло! — и документов нет, не отставай я, нету в лидском архиве никаких бумаг, — нету, подтверждал дед, потому что в сорок первом Лиду сожгли, вот ничего и не осталось! ты верь мне, разве я лгу? — и вот, получается, открыли порт, пошли суда, и в маленький городок хлынули толпы дельцов и аферистов, среди которых случился пан Гловач, бывший клерк, сумевший ограбить родной банк, *Pocztowa Kasa Oszczekdnosci*, банк, находившийся под присмотром самого Пилсудского, — мало что накрыл, так ещё и приговор объехал; денег было у него много, но ему казалось — мало, хотелось больше и больше, вот он и выдумывал извороты, посредством которых являлись всё новые и новые деньги, а этот пытливый ум такие аферы измышлял, что миру невыносимым казалось существование изумительного кровососа; не случись при этом водного пути в Лиду, не приплыл бы он и не ограбил лидчан, а дед ему невольно своим небывалым строительством способствовал; Гловач стал в Лиде на постой и утвердился в Заречье, где издавна обитала известная всему городку пьянь да рвань; когда-то фольварк принадлежал монастырю кармелитов, но это вовсе не мешало корчме по соседству, где некий канувший в небытие Аарон ублажал весёлым зелием ближайшие окрестности; округ Гловача жили потомки пьяниц и авантюристов, у которых в крови была потребность мошенничать и жить на чужой счёт, были они хитрые, но и наивные, наглые, но и прямодушные, и именно здесь Гловач нашёл мерки по себе, а уж потом стал дурачить и всю Лиду: привезя из Гданьска разного дрязгу, стал он впаривать этот ветхий хлам населенникам местечка: в багаже его были гвозди, коими злобные римляне в оны годы пробили ладони и ступни Господа нашего Иисуса Христа, когда Он умирал на кресте, были щепки самого креста и земля с Голгофы, из пещеры, раскопанной царицей Еленой, были полуистлевшие лоскуты ткани с бедренной повязки Иисуса и тернии венца Его; всё это назначалось католикам и православным, а другое нечто — иудеям; в числе иудейских святынь были фрагменты лестницы Иакова, камни из Стены Плача, сухие веточки Неопалимой купины и Кумранские свитки в количестве двенадцати... стоп, стоп, коллега, сказал я деду в невыразимом изумлении, свитки Кумрана разве не в конце сороковых нашли? как могли знать о них в тридцатых? — э-э, досадливо поморщился дед, кто сказал, что пастухи-бедуины были первыми? — я возмущённо сопел, а дед между тем спокойно продолжал:

в лидских газетах Гловач пропечатал продажу реликвий, и от желающих у него не было отбоя, — в течение недели он продал всё и собирался повернуть на Гданьск; грабёж был знатный; одних Иисусовых гвоздей аферист продал штук сорок, хотя все знают — их было четыре; щепок креста Гловач сбыв мешок, а лоскутов бедренной повязки — рулон, не говоря уж про то, что бедные иудеи запарились таскать камни якобы из Стены Плача, словом, мошенник так нажился и такие сливки собрал с Лиды, что мог купить, наверное, всю Польшу; деньги с самоцветами хранил он в мешочке из кожи и держал у себя под неусыпным приглядом, боясь набегов воинственных соседей, а дед, узнав об афере, явился ко Гловачу и заявил право на защиту лидчан, — не зря носил он прозвание Лидский Робин Гуд, вот и явился, требуя вернуть деньги, вырученные не пойми за что; Гловач послал его, используя общеизвестные буквы, — сами по себе нейтральные, но, будучи сложенными вместе, звучавшие чрезвычайно оскорбительно, — дед обиделся и вынул ремингтон; у них случилась стычка, Гловач получил фингал и вывих плеча, дед — разбитые губы, но кожаный мешочек с несправедливо нажитым добром изъял да вынес, впрочем, и Гловач был не прост, нанял соседей-долбобоев и предложил им продолбить голову врага; те явились к деду ночью в количестве пяти рыл, устроили погром — слава Богу, бабушка была в Хрустальной — да и забрали изъятый мешочек, — дед даже стрелял им вослед, но не попал, судьба пули отвела; он, впрочем, не хотел убить, стреляя по ногам, — так или не так, но деньги Гловача вернулись к Гловачу — за некоторыми издержками, которые он отнёс на счёт отмороженных соседей; дед оклемался и поехал в Виленский земельный банк, где у него лежали капиталы и где получал он дивиденды с залоговых векселей, которые правдами и неправдами скупил по дешёвке немалое количество ещё в конце двадцатых; явившись в Вильно, снял налпипшие проценты и добавил немного с капитала, потом вернулся в Лиду, скрупулёзно обошёл обманутых лидчан и без разговоров вернул им захваченные паном Гловачем золотые; многие, правда, не хотели брать в опасении расстаться со ржавыми гвоздями и глыбами известняка, но дед и не требовал отречения от мнимых святынь гданьского жулика, просто давал деньги и шёл дальше; Гловач между тем решил ехать в Белосток, где у него была дочка на попечении бывшей жены, — думал денег привезти им на житьё-бытьё, — купил билет на поезд, пришёл на вокзал, утвердился в купе и вдруг видит деда, раздвигающего плечами двери; дед сел против Гловача и, посмотрев в глаза Гловачу, сказал: должок, пан Гловач, а проценты уж оставьте себе... — вы не понимаете, сказал Гловач, людям нужна вера, — но это фальшивая вера, возразил дед, основанная на фальшивых гвоздях, — не понимаете! повторил Гловач, человек должен верить, пусть это будет подменный артефакт, человеку не важна вещь, ему важна вера в вещь! а вы её отбираете! — я не артефакт отбираю, сказал дед, а ложное представление о нём, показывая при этом ложную сущность фальшивого предмета, несу людям правду в отличие от вас, вы — несёте ложь и понуждаете человека кануть во тьму; так препирались они, не слыша друг друга, а потом дед сошёл с поезда, унося отжатые у оппонента часы и деньги, Гловач же, лишившись бумажника и немного потеряв лицо, раздумал ехать в Белосток, — выждав немного, покинул поезд и снова отправился

в Заречье, где пожил пару недель, собрался с мыслями, прибрал кожаный мешочек и сел на ближайший пароход; с Заречья увязалась за ним пара типов, один в кепке, другой в котелке, оба в серых костюмах, и оба же с серыми лицами, — крались за Гловачем, держась поодаль, и взошли, незамеченные им, на пароходный трап; пароход повыл, отчалил и неспешно пошёл; кепка с котелком остались на палубе, а Гловач спустился в каюту и лёг спать; вечером, выпавшись, явился свету и пошёл гулять, — от носа к корме, от кормы к носу, стал возле перил, и, говоря поэтическим языком, устремил взор в береговые дали, где за кромкой прибрежных кустов стояла в осоке чья-то моторка, и смутное шевеление фигур виделось Гловачу на её борту, — внимая окрестностям, он видел берег, воду и лёгкую волну, но не видел людей, подошедших к нему, а то были кепка с котелком, — подошли и спросили курить, он влез в карман — достать портсигар, но тут кепка, резко согнувшись, сунулся в сапог, вынул шило, поднялся, сделал замах и вонзил шило в сердце Гловача! Гловач согнулся, упёрся в перила и испуганно задышал... кепка и котелок суетливо обшарили его, взяли ключ от каюты и, обхватив Гловача за ноги, подняли, упёрли в перила и перевалили за борт; Гловач полетел вниз, — достигнув поверхности воды, с шумом вошёл в неё, открыл в ужасе глаза и... увидел себя бегущим в атаку где-то под Перемышлем, — с перекошенным ртом, в грязной шинели, навстречу гибели и неизвестной могиле... разве знал он, что могиле его не суждено быть в земле и смерть можно не ждать? он боялся, трусил и мечтал смерти, — только бы не видеть ада, окружавшего его повсюду, и, желая избыть свой страх, звал смерть, лишь в ней чуя избавление, грядущий свет и свободу от всего, свободу от мерзкой, калечащей душу и тело живого человека жизни... он не погиб, но шальной снаряд, грохнув вблизи, окатил его взрывной волной, кинул со всего маху оземь и осыпал раскалённым металлом, — осколок попал ему в пах, другой — в бедро ниже паха; он взвыл и рухнул в смердящую порохом грязь! — его резали в лазаретной палатке, пеленали бинтами, кололи морфий, а он орал от боли и отчаяния; когда через время встал, врач сказал ему: с дамами тебе не судьба, — а ведь у меня жена молодая, ответил Гловач и тихо заплакал, — извини, брат, сказал врач и развёл руками; боли ещё долго терзали его, и он сел на морфий, — севши на морфий, стал полнеть и вскорости его разнесло, потому что гормоны заработали вспять; мирная жизнь не шла ему впрок, жена стала изменять, а потом и кинула его, он же полюбил деньги, заменившие ему всё, — все цели отныне заканчивались у него деньгами, и деньги он научился зарабатывать не трудом — обманом, — посредством тёмных дел сколотил состояние, и аферы его были таковы: найдя удобные земли, он скупал их и платил не скупясь, а деньги брал в Кассах Стефчика под фальшивые залоговые векселя, землю продавал вдвадорога, а то и в три, причём делал всё быстро и сразу возвращал кредит плюс проценты; таким образом он обогатился, но ему было мало, и он стал влезать в более сложные аферы, с участием даже и госслужащих, которые сами были так падки до злотых, что и не боялись ничего, а надо было; Гловач был хитрый, изворотливый, сторожкий, а госслужащие от денежных перспектив теряли берега и забывали, пускаясь во все тяжкие, что они, как и все, не вечны; Гловач, впрочем, сам думал: деньги есть бессмертие,

деньги добавляют жизни, если умрёшь... странные представления, говорил я деду, умер, так умер, мёртвого не вернёшь, — э-э, отвечал дед, за деньги можно и мёртвого поднять; так Гловач жил не тужил, богатея день за днём, а потом попалась ему в руки варшавская газетка, где было прописано: в Лиде на искусственном озере построили порт; он понял, что там можно пожить, ведь порт — это снова деньги, множество приезжих, торговых людей, коммивояжёров, аферистов и разного толка мошенников; он поехал, основался в Заречье, купил в слесарной мастерской на Песках ржавых гвоздей, на пустыре за Каменкой собрал камней, в пуще надрал веток акаций с длинными шипами и стал продавать мнимые реликвии доверчивым лидчанам, — те ему доверились, ибо люди жаждут святынь за ради веры, и как потом он сказывал, готовы были последнее отдать, лишь бы обрести Христовы гвозди да истлевшие лоскуты чресел Его; сам Гловач пел, когда поднимали его из воды, откачали и пустили в жизнь, — там же рыбаки рыбачили, вот они и нарыбачили, а дырка в груди была мала, шильце до сердца не достало, он очухался да как запоёт: воистину воскресение, а потом говорит: приходит, мол, некий Лидский Робин, достаёт парабеллум и в лоб мне метит... стой, дед, говорю я, у тебя ж ремингтон был, — да, говорит дед, но он говорит: парабеллум, может, со страху, может, подзабыл, достаёт, говорит, парабеллум и в лоб мне метит! — что было делать? отдал я ему деньги, камни и думаю себе: верну! потому я старался, бегал по гвозди, по лоскуты, по камни, тратил время, силы и пыл сердца моего, а *этот* явился и забрал всё, — верну! — взял да и нанял семерых, кои Робину лицо разбили; опять! сказал я, ты ж, дед, говорил, что к тебе пятеро пришли, — ну, да, пятеро, говорит дед, я и говорил пятеро, а семеро — это Гловач говорил, ему виднее, семеро, так семеро, и вот дальше говорит: семеро пошли и едва не убили врага, сбили с ног и давай месить, — руками, ногами... надо было убить! нашли мешочек с моим добром и понесли, а он выскочил и давай палить из парабеллума! еле убрались, а я думаю: и мне пора, — хотел к дочке в Белосток, взял деньги и поехал, — сел в поезд, сижу в купе, думаю думаю, как я дочку увижу и жене деньги дам, а тут входит этот Робин и опять свой парабеллум достаёт... что я сделаю? отдал ему деньги... он ещё часы прибрал, знатные были у меня часы, я их у антиквара Хоскевича купил, тысяча рублей! — ты шестьсот говорил, говорю я, — говорил, говорит дед, а он сказал: тысяча! самого Фридриха Августа часы! — забрал деньги, часы королевские с рубинами и был таков... как мне теперь в Белосток ехать? я и не поехал, — поехал в Заречье, почистил пёрышки, пожил и сел на пароход, — двину, думаю, в Гданьск, новые аферы придумаю, я же аферист, не плебей и деньги больше жизни люблю... а ведь это случай: я был на войне, и меня там пушкой сбило, звёзды так стали: неизвестные люди добыли руду, потом другие неизвестные вылили железо, и ещё неизвестные сделали снаряды, какие-то химики трудились, металлурги, токари, потом столяры сделали снарядные ящики, упаковщики уложили в них снаряды, погрузили в вагоны, машинист дядя Вилли (а может, Пауль) привёл в движение паровоз, и снаряды поехали на фронт, там их в прифронтовом лесу вынули, доставили артиллеристам, и какой-нибудь Вася (а может, Ласло) сунул один из снарядов в пушку и стрельнул, а я в это время бежал в атаку, и, помню,

мне сильно мешала тяжёлая винтовка, и вот — взрыв! я в жидкой грязи с разбитым пахом... меня резали, меня посадили на морфий, я сделался холостым и жирным, таким жирным, что два заречных бандита едва подняли меня, чтобы перевалить за борт парохода в чёртову реку, где чёртовы рыбаки выудили меня из чёртовой влаги, так кончилась моя славная слава, а ведь я мог не попасть на войну, меня не ранило б, я бы не сел на морфий, не стал холостым и жирным, я бы жил с женой и драл бы её как сидорову козу, ночью, днём, во все времена, и вследствие того не любил бы деньги так, как сейчас, и знать не знал бы проклятого Робина, отобравшего у меня деньги, часы саксонского курфюрста и в конце концов — жизнь, потому что ведь неприятно лежать на дне реки и кормить своим жиром чёрных раков... нет! это незавидная судьба, — так он пел рыбакам, доставшим его из воды, тем самым, которые сидели в моторке среди зарослей осоки в надежде на какую-нибудь сладкую рыбу, — и ведь я утратил камни и золото, ибо заречные бандиты, один из которых был в кепке, а иной — в котелке, взяв из меня ключи каюты, пошли к каюте, вскрыли каюту и лапали каюту, — хороша была их добыча! на безбедную жизнь им теперь надолго хватит, вас же, благодетели мои благие, сказал он рыбакам, я милостью своей не брошу, сторицей оплачу ваше добро, будете помнить меня во всю вашу бедняцкую жизнь; они его унесли в свои дома, выхаживали, жёны их его лелеяли, и дырка от шила в груди его срослась, он пришёл в себя, хорошо ел, стал толще, нежели был прежде, и вскорости поехал в Гданьск снова устраивать аферы; впрочем, в этой коллизии, сказал дед, я добр к нему, ведь в реальности он лёг на дно и ещё с месяц кормил собою рыб, ибо чернит чёрт чада свои, черпает, а повычерпав, — чтит, вот сей утопленник и пошёл к чертям, но если он всё-таки лежит в горячечном бреду в маленьком рыбацком доме и видение за видением проносится в его воспалённом мозгу, то, значит, Бог есть и Он спасает пропадающего, душу его, и правильно делает, может, он спасётся и, верно, спасётся, а я буду молиться за него...

Надя Делаланд

Мой свет

* * *

и море и гомер застыли и сияют
я маленький корабль в тумане голубом
плывущий между звёзд печальные земляне
на разных языках трещат между собой
вот так вот плыть и плыть не чувствуя щекотки
от крошечной возни и вспышек тут и там
от африки ступней до лёгочной чукотки
проходит боль с тобой приходит пустота

* * *

ты как йо-йо тебя отбросишь
а ты опять в моей руке
печалишься о чём-то просишь
на непонятном языке
нет избавленья нет разлуки
есть только ты и я и боль
к тебе протянутые руки
и жизнь вручённая тобой

* * *

свет маленькая девочка в метро
рассматривающая бледный шарик
перекати его ладошкой тронь
щеками лбом ушами

Надя Делаланд (настоящее имя — Надежда Всеволодовна Черных) — писатель, литературный критик, кандидат филологических наук, практикующий психолог, генеральный директор центра арт-терапии и интермодальной терапии искусствами «Делаландия». Родилась в 1977 году в Ростове-на-Дону. В 1998 году окончила филологический факультет Ростовского государственного университета. Автор шестнадцати книг стихов, романа, книги для детей и пьесы. Лауреат многих литературных премий. Живёт в Москве.

свет этот человек во тьме двора
смотрящий в небо отразивший небо
взлетающий легко как умирать
когда ты не был

свет женщина идущая домой
тяжелая с уставшими руками
бормочущая яся как ты мог
но нет не упрекаю

свет маленький котёнок у ворот
переступающий и опустивший щёки
марина его утром заберёт
ну да ещё бы

ты тоже свет я вижу в тебе свет
на мой похожий думаю такой же
мой свет в опознаванье и родстве
серёжа

* * *

жизнь после смерти легка и проста
страшно прозрачна пуста и чиста
смерть после жизни тиха напросвет
жизнь после жизни конечно же смерть
мы улыбаемся солнце горит
сердце уже ни фига не болит
можно случайно коснуться рукой
смутно припомнив кто ты не такой
нежно припомнив о боли и лжи
смерть после смерти конечно же жизнь

* * *

главное каждый раз произносить это как в первый раз
как в тот первый раз когда мы бежали из
гробов восклицая не веря себе что Господь наш Спас
воскрес из мёртвых а значит и мы спаслись
главное возвращаться в ту точку и из неё
громко срывающимся голосом от восторга
детским совсем сообщать что сердце моё
поёт потому что оно не выдержит столько
радости молча отсюда и до небес
выше небес и выше Христос Воскрес

* * *

когда воскресает очень хочется есть
и пить да пить пожалуйста и лежать
просто лежать почему-то руки дрожат
язык непослушен вот так благая весть
ангел сияющий белый стоит над душой
фонендоскопом слушает тишину в груди
шепчет кому-то над эхом да у него шок
ещё что-то стирает со щёк говоришь отойди
на плохо гнущихся словно чужих ногах
шатко проходишь семь небольших шагов
прямо у выхода прямо у входа ага
сходит с небес огонь и это любовь

* * *

Человеку кажется, что он делает выбор,
он сидит с опущенной головой,
спрашивает марьвселенную: можно выйти?
артистически держится за живот,
хмурит брови, прикидывает, смекает,
плачет, жалуется: я не могу ничего,
закрывает глаза, ненадолго но замолкает,
засыпает и видит, как выбор сделал уже его.

Евгения Савва-Ловгун

Когда расцвёл шиповник

Рассказы

Кукушка

«Всяк кулик своё болото хвалит, ночная кукушка дневную перекукует, не родись красивой», — крутится в голове.

Стою у окна, за окном дома, а за ними Тымь — широкая, величавая, спокойная на первый взгляд. Кормилица наша. Где бы ни была, какие бы реки ни видала, моя Тымь всегда казалась красивейшей из всех виденных.

«Тымь всё равно шире! И сильнее! А рыбы в ней знаешь сколько наловить можно? Не унесёшь! А сколько душ она забрала, ох... не перечесать».

Раннее утро, туман неспешно бредёт по реке, теряя обрывки ваты. Быть может, это души умерших людей уходят потихоньку на восток. Они уходят медленно, чуть касаясь воды, раздеваясь по пути, оставляя здесь всё ненужное, лишнее...

А там, за рекой, кукушка: ку-ку, ку-ку, ку-ку!

— Кукушка-кукушка, сколько мне жить?

— Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку...

Голос её то удаляется, ослабевая, то вновь приближается, усиливаясь. Поднимаю кружку.

— Дааа, много... Больше ста... Ну спасибо!

Допиваю чай, наливаю вторую кружку. Кружка у меня эмалированная, ручка её оплетена гибким шнуром от капельницы. Горячий чай обжигает губы, но я люблю это обжигание. Горячие реки вливаются в меня, текут по горлу, потом спускаются ниже, к грудной клетке, и оттуда уже — по всему телу. Хорошо.

— Буду ли я счастлива?

Тишина.

Савва-Ловгун Евгения Ивановна — поэт, прозаик. Родилась в 1981 году в посёлке Ноглики Сахалинской области в семье рыбаков и охотников. Окончила девять классов и ПТУ по специальности продавец контролёр-кассир. Печаталась в коллективных сборниках, журналах и газетах Дальнего Востока. Автор книг «Умгу-Ла» (2015) и «Песни Эвении» (2016). Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Устала, бедняга. Отдохни.

Туман почти рассеялся, и там, за Тымью, а потом за её берегом, и дальше, у самой кромки горизонта, открывается еле видимая глазу полоска суши. Залив. Туман обычно уходит туда, вслед за рекой, встаёт у границы моря и суши и стоит, словно хранитель порталов между мирами.

Где-то там, на заливе, живут в маленьком рыбацком балке мои родственники. Спят ещё, наверное... а может, уже растопили свою буржуйку и пьют сладкий чай из блюдец, причмокивая язычком по нёбу.

Так меня учила в детстве пить чай бабушка, чтобы я не обжигала губы. Из чайника в кружку, из кружки в блюдце, из блюдца в себя, и качать головой: тц-тц-тц, вкусно!

Но мне всегда не хватало времени на такой нескончаемый ритуал.

Там, на улице, столько всего интересного ждёт, какие тут блюдца! Обожгла губы и нёбо — и на улицу бегом, бегом, спозаранку, пока родители не спохватились и не придумали кучу домашней работы!

— Я красивая? — спрашиваю у шестнадцатилетней тёти.

Тётя моя модница и первая красавица в нашем колхозе. Она густо и ярко накрашена, клипсы на аккуратных ушках её покачиваются и сверкают на солнце. Чёлка начёсана по моде. В глазах пляшут искорки.

Она поглаживает меня по рыжеватым мягким волосам, предмету гордости моей мамы, и, смеясь, отвечает:

— Красивая, красивая и лысая.

Тётя смеётся, а я в слезах бегу к маме. Скандал был невероятно громкий. Мама считала меня самой красивой девочкой в посёлке, да и вообще в мире. А я смотрела на подружку Ларису с шоколадными косами в кулак и плакала.

— Никогда никому не завидуй, — говорила мне мама. — Для меня ты самая красивая, самая любимая. Не хочу, чтобы моя дочка смотрела недобрыми глазами на то, чего у неё нет.

— У тебя такой милый носик! — сказала мне Лариса спустя годы. Лариса — моя лучшая подруга и одноклассница к тому же.

— Носик? — удивилась я.

— Да, он у тебя аккуратный, а вот у меня — лепёшка. Как будто гены, когда меня придумывали, налепили кусок глины на лицо, приплюснули и решили, что и так сойдёт! И волосы у тебя красивые, мягкие...

— Ох уж эти Гены! — отшучиваюсь я.

Смеёмся.

— Странно, я никогда не замечала этой твоей лепёшки! — Разглядываю её лицо почти под микроскопом и не вижу никаких изъянов.

— Эх, если можно было бы слепить себя самому! Нос от тебя, волосы от неё, глаза от куклы Барби, улыбка от Мэрилин Монро.

— Ой, да ну тебя! Нормально всё, не парься! Я лысая, ты волосатая, но с лепёшкой. Живём дальше. Разве это главное?

— А что главное?

Туман рассеялся, допиваю остатки и бекаю. Галимый сироп на дне. Фу! По реке носятся лодки на сумасшедшей скорости.

— Налей! — кладёт Юра руку на плечо Ларисы.

Юра — первая её любовь. Красивый высокий парень с густыми чёрными волосами и узкими миндалевидными глазами. Его — спокойного и доброжелательного — только Лариса могла довести до белого каления.

Я сижу на одной стороне лодки, Лариса на другой, Юра сидит на корме, широко расставив ноги, и держит в руках рычаг мотора. За полчаса до этого друзья вызвались проводить меня до дома, но не по дороге, а по реке. Засиделись мы допоздна, и отказаться от такого заманчивого предложения я не смогла. Откуда мне было знать, что они поругаются по дороге!

— Ну что? Нальёшь? — грозно повторяет просьбу Юра.

— Нет! — гордо отвечает Лариса и воротит от него нос.

— Ну ладно, — хмыкает он и дёргает шнур мотора. Тот чихает и, с места рванув, взрывает воду под лодкой.

Летим над водой на бешеной скорости. Звёзды кружат над головой, луна спешит, пытается обогнать нас, но у неё не получается!

— Ну что? — перекикивая мотор, грохочет Юра.

— Я же сказала, нет!

Юра поворачивает рычаг, и мы падаем на левый бок, потом на правый, затем опять на левый. Лариса смотрит на меня круглыми от ужаса глазами. Я смеюсь, мне весело — брызги в лицо, ветер, уух! Юра серьёзен и набычен.

— Нальёшь?

— Да на! На! — кричит Лариса и дрожащими руками достаёт из рюкзака бутылку водки и стопку.

Лодка выравнивает ход и плавно идёт по реке. Юра выпивает, крикает и, притянув Ларису за волосы, занюхивает ими. Мой дом уже виден, и если приглядеться, можно даже увидеть свет в его окнах.

— Зая? Ещё налей... — ласково зовёт Юра Ларису.

— Да пошёл ты! — кричит в истерике Лариса. — Чтоб ты сдох от своей водки!

— Ах так! Ну держись!

Лодка вновь начинает вихлять вправо-влево, выписывая безумные танцы на воде. Лариса кричит раненым зверем:

— Хватит! Хваатит! Налью! Налью! — и плачет навзрыд.

Юра сбавляет ход, и лодка плавно втыкается носом в берег. Он подходит к своей любимой, поднимает, усаживает себе на колени, целует, просит прощения. Я перекидываю ноги через борт и встаю по колено в воду. Туфельки мои с пряжками-бантиками вонзаются каблучками в цепкий ил, и я, придерживая юбку, чтобы не намочить подол, еле передвигаю ногами, держа курс на сухой берег.

— Эй! Ты куда? — кричат опомнившиеся ребята. — Давай мы тебя до дома проводим!

— Нет, спасибо, сама дойду! — кричу им и, схватив туфли в руки.

Поднимаюсь на дорогу, и по ней, вдоль кустов, бегу босиком к дому. Я уже не вижу лодки, но слышу, как тихо заводится мотор, набирает ход, звук его удаляется и затихает вдали.

— Ой, дураки! — шепчу я.

Ну и ночка! Незабываемая! Увидеть, как танцует моторная лодка и пляшут звёзды — дорогого стоит. Я даже позавидовала немного такому шантажу! Но, пожалуй, со мной Юра потонул бы! Нет-нет, это на грани, не надо мне такого счастья!

Поднимаюсь на свой любимый пятый этаж, самый верхний в доме, на носочках бегу на кухню, сметаю со сковородки рыбные котлеты, наливаю чай в кружку и подхожу к окну. Светает. Посёлок спит, даже собаки не подают голоса. И только кукушка за рекой поёт:

— Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Спасибо, родная! Буду жить долго, больше ста лет!

Держись, рыба!

Поздней сахалинской весной, когда небольшой нефтяной посёлок Ноглики освобождался из снежных объятий, ходили за червями к старому отделению милиции, что стояло неподалёку от нашего дома.

Рядом с ним — теплотрасса, и черви там появлялись раньше, чем в огородах. Иной раз и лопата не требовалась, просто переворачивали гнилые доски да тёплые камни и собирали урожай. Медитативное занятие. Сидишь, перебираешь тёплую землю, кидаешь червяков в баночку и ни о чём не думаешь. Солнышко спину греет. Хорошо!

Там же, у ментовки, разбирали на стихийной помойке старые аккумуляторы, доставая из них свинцовые пластины. Дома эти пластины плавили в жестяной банке и отливали грузила. Делали это так: ставили в середину ложки деревянную щепочку и заливали свинец. Потом щепку вынимали, вот и дырка для лески. Всё, грузик готов.

Ложки, особенно мельхиоровые, приходилось прятать от гостей-рыбаков. В нашем подъезде находился центр занятости, и по приёмным дням к нам домой забредали безработные, начиная с восьми утра: то покурить, то чай попить, то очередь переждать. Бороться с этими нашествиями было бесполезно, не помогал ни выключенный домофон, ни неработающий дверной звонок. В посёлке все друг друга знают, вот и эти визитёры были нашими друзьями или родственниками — как не пустить? Забегут они, значит, чай попьют, уйдут, и нету на столе ложки, тью-тью! Зато у кого-то новая блесна появится.

Чтобы сделать закидушку, я брала кусок штaketины от соседского забора, делала с обоих концов пропилы и наматывала на неё леску, обычно шестёрку. На леску цепляла пару крючков, и на самый её конец — тяжёлый грузик. Закидушка — самый любимый мой вид удочки. Прячешь её в мешок из-под сахара, туда же банку с червями, и вперёд, на рыбалку.

Мешок из-под сахара или муки — вещь в хозяйстве нужная. Из него можно сделать рюкзак: за углы привязать верёвки, завязать узлом на горловине,

и готово. Ещё в нём можно сохранить улов свежим до вечера. Пойманную рыбу кидаешь в мешок, мешок — в воду, верёвку от мешка привязываешь к кусту, и всё, рыба не сварится на весеннем солнце.

Собрав свои нехитрые приспособления, шли рыбачить под мост реки Тымь, или на её протоку Мопь, утопающую в нежной зелени ив и лиственниц.

Приходили пораньше, но самые удобные места редко бывали свободными. Многие рыбаки, нивхи и русские, приходили ещё раньше, часам к четырём утра. Приходили, устраивались, разводили костры, кипятили чай, варили уху. У них можно было угоститься кружкой кипятка или чем покрепче. Ну, это старшие угощались. А мы, девчонки, торопливо семенили по узкой тропке дальше, искать свободный песчаный пятачок. Доставали удочки, банки с червями, разматывали леску, слегка размахивались и делали кидок, стараясь не зацепиться крючком за ветки ближайших деревьев. Вот почему так ценились открытые пятачки. Леску цепляли на предварительно срезанную толстую ветку, надсечённую посередине, сверху вешали мятую жестянку, и шли разводить костёр. Когда рыба клевала, банка оглушительно гремела, мы аккуратно подводили добычу к берегу и снимали с крючка.

Бывало, что рыбе надоедал постный червяк, клёва не было. Приходилось идти домой, доставать из холодильника «Арктика» банку с подтухшей красной икрой и делать тампоны. Холодильник «Арктика» — это деревянный или металлический ящик, подвешенный за окном или врезанный в него. По весне в нём начинает оттаивать всякая хрень, капать и жутко вонять. Икра в этих ящиках хранится с начала осени, и к весне она почти всегда подтухшая.

А тампон делается так: отрезаешь кусок от капроновых колготок, кладёшь на него немного икры, завязываешь — и вкусная приманка готова! На неё здорово идёт любая рыба. Колготки желательно, чтобы были нестиранными. Мой дядя говорил, что на женский запах рыба идёт как сумасшедшая. У рыбаков, конечно, свои причуды, но они и правда работают, если в них верить. Как-то мы с Оксаной, моей соседкой, наловили на её колготки два мешка рыбы! Пришедший на наше место и пристроившийся сбоку хмурый рыбак, видя нашу удачу, разорался и обзывал нас плохими словами. Сам-то он ничего не поймал. Он размахивал кулаками и пугал нас, но мы не покинули бы рыбное место даже под страхом смерти. Так что старый крикун сел на свой задрипанный велосипед и укатил, на прощание обзавав нас «гиляками». Гиляк — старое название нивхов, ныне считающееся оскорбительным, вроде «ниггера». Только мы, нивхи, можем этим словом друг друга называть.

Был у нас один родственник, вот он настоящий матёрый гиляк был! Знал без карты все рыбные места в округе на много километров. Всё время ходил один, пешком, никто не знал куда, но всегда возвращался с полным рюкзаком рыбы. На наши завистливые удивления отвечал, что если клёва нет, надо поссать в воду, тогда рыба точно пойдёт. Ну не знаю, верить ли... Пил он как конь.

Как-то во время путешествия по Чукотке оказались мы на рыбалке, и я об этом секрете рассказала одному бывалому рыбаку. Сидя на берегу, с длинной удочкой в руках, старый опытный рыбак громко удивлялся: «Како? Какомэй?» Его взрослые дети, смеясь, шепнули мне на ушко: он проверит этот метод, можешь не сомневаться. Держись, рыба!

Когда расцвёл шиповник

Первая моя свекровь оказалась женщиной весьма вредной. Была она парализована на одну сторону, не могла ходить, только сидела на постели, обложенная сонмом подушек, и ругала нас, спиногрызов. Жили мы все в однокомнатной неблагоустроенной четвертушке (дом на четырёх хозяев). Воду носили из колодца за два переулка от нас. В туалет бегали на улицу, а по ночам ходили на ведро. У свекрови было своё, личное, она категорически отказывалась от утки. Мы помогали ей подниматься, усаживали на ведро, потом так же поднимали и возвращали на кровать. Когда подходила помочь я, она осыпала меня отборнейшими матюками и проклятиями, называла дворняжкой, околдовавшей её золотого сыночка, овчарку. Я пропускала мимо ушей, понимая, что всё это от немощи, да и просто душа болит у человека. Молодая ещё, пятьдесят с небольшим, бегать хочется, любить хочется, а тут везде помощь нужна! И от кого? От глупой девчонки, которая к тому же раздражает! С работой было туго, муж мой толком нигде не держался, но он был отличным рыбаком, так что без рыбы не сидели. Я бегала в лес по ягоды, потом относила их на рынок, на это и жили мал-помалу. Каждый месяц второго числа приходила почтальон и приносила пенсию. Стыдно признаться, даже я радовалась второму числу. Мы, глупые и бессовестные, брали деньги свекрови и шли в магазин покупать продукты. Это сейчас все берут по пакетикам, по килограммам, на день-два, а в те времена ходили мы в магазин реже, но зато выносили оттуда мешками. Была у нас тележка специальная, слаженная из старой советской коляски. Служила долго верой и правдой, и чего только ни катала на себе: мешки с картошкой, мешки с рыбой, ящики с консервами, мешки с сахаром, лишь изредка поскрипывая, когда забывали смазать рессоры. Так вот, прикатив из магазина мешки с бакалеей, мы любовно ставили их за кроватью свекрови, и перед тем, как приготовить, я всегда спрашивала у неё разрешения на забор крупы или муки. Она обычно в это время сидела на краю кровати, свесив ноги, курила сигарету из мундштука, пускала вверх облачные дымы и молча кивала в ответ. И я быстренько запускала руки в мешки, шустро набирая нужные ингредиенты для незамысловатых наших обедов и ужинов. В комнате всегда стоял лёгкий полумрак, и тонкие изогнутые нити дыма казались мне красивыми и таинственными. Мне представлялось, что я Золушка, запертая в чулане, и сейчас буду перебирать крупы, рассыпанные злой мачехой.

Супы готовили из половины куриной ножки, мясо мелко рубили и кидали в большую кастрюлю. «Суп с запахом мяса» — так называли мы свои тогдашние шедевры. Мы, молодые, мясо почти не ели, стараясь отдать маме. Но она всё равно ругала нас, что мы ей приносим объедки, и она вот-вот умрёт от голода! Ох, это была настоящая школа жизни, и на том отрезке моём учителем была свекровь. Хорошим учителем. Характер у неё был железный, я бы сказала даже, что у неё были стальные яйца. От одного только взгляда пробирала дрожь, и тучи сгущались над головой вместе с дымами. Казалось, чиркни спичкой — и всё, смерть неминуема, катастрофы не избежать!

— Девять утра, а она спит! Лентяйка! Лодырь! — кричала свекровь и швыряла через комнату свою клюку, и я подпрыгивала точно ошпаренная, начинала суетиться по дому, либо хватала вёдра и вприпрыжку бежала по воду.

Отчасти свекровь была права. Я до сих пор хозяйка не очень, так, на троечку. Зато я добрая. Мне больше этих бесконечных уборок и готовок нравилось прятаться в уголочке с кружкой чая и книгой и тихонько сидеть не отвечивая. Либо уходить в лес и бродить там до вечера, собирая ягоды и грибы. Бродить, размышлять над словами, перебирать их или просто мечтать.

Иногда, когда никого в доме не было, свекровь подзывала меня помочь ей с чем-нибудь, а потом показывала мундштуком на свою кровать: присядь. Выглядело это — словно боярин снизошёл до холопа, и я, задержав дыхание, присаживалась на краешек и, слегка наклонив голову к её, затихала.

— Я в молодости, знаешь, какая была! Ухх! Огонь! На танцах самая красивая, а песни как пела! Ой, закачаешься! Не то что ты, мямля, тьфу!

— Ага...

— Первый муж ради меня из казармы сбегал, двенадцать кэмэ пешком, по рельсам... Красивый был, высокий! Срочную тут служил, так здесь жить и остался...

— А где он сейчас?

— Бросил он меня, с животом! Так и не признал последнюю дочку!

— Ох...

— Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идёт, — затягивает она, и я начинаю подпевать. Голос у неё грудной, громкий, летит на кухню, вылетает в окна, пронзает туманный воздух, оседает в моей памяти. Меня же не слышно вовсе.

— Сопля ты, мизинцем перешибить можно.

— Угу...

— Скоро мой день рождения, — как-то сказала она.

— Угу. А когда вы родились?

— А кто его знает? Записали в паспорте июнь такого-то года, а как оно по-настоящему было, кто ж знает? У нивхов не было месяцев. Первый снег пошёл, ну, значит, родился, когда выпал первый снег. Считай, октябрь.

— А вы когда родились, что было? Гроза, град, ветер, ураган? — шучу я.

— Откуда я знаю? Я чё, помню что ли?

— Ну да... — глупо улыбаюсь я.

— Шиповник цвёл. А когда шиповник цветёт, тогда горбуша начинает свой ход.

— Получается, с вашим рождением в семью пришёл достаток?

— Получается, так...

Затягивается, пускает сизое облачко и протягивает мне мундштук — потуши...

— Накрой меня одеялом, устала я, посплю.

Помогаю улечься, накрываю одеялом, слегка подтыкая снизу, ухожу на кухню и сижу в тишине.

После таких разговоров что-то внутри не даёт нормально дышать и читать книги.

— И вовсе она не злая! — шепчу я.

И нет к ней ни обиды, ни ненависти.

Да, вредная, да, тяжёлая, да, невыносимая, — но какова! Ухх!

Давно нет её в живых, но как вижу цветущий шиповник, вспоминаю про её день рождения. И что рыба заходит в реки и начинает свой ход. А значит, есть надежда. Значит, будем жить.

В тот день, когда расцвёл шиповник,
Распространяя аромат,
В краю далёком и суровом
Ты тихо в этот мир вошла.

Деревьев кроны скрежетали,
Бродяга-ветер подвывал,
Шаманка старая сказала,
Что ты счастливой родилась.

Что впредь не будет дней холодных,
Отступит в сторону нужда,
Что рыбы в реках будет много
И зверя ценного в лесах.

Ты принесла с собой народу
В ладошках маленьких любовь,
И в край, давно забытый богом,
Серебряный пришёл лосось.

Детишки с волнами резвились,
Был слышен их весёлый визг,
Ножи старухи наточили,
Связали сети рыбаки.

По берегу шныряли утки,
Шумел прибой, журчал родник.
Охотники собрали луки
И в лес на промысел ушли.

Потом старейшины собрались
И дружно пили крепкий чай,
И на совете порешили
Тебя Надеждою назвать.

А ты смотрела удивлённо
На этот непонятный мир,
Дочурка нивхского народа,
Хозяйка острова Ых-Миф.

Алёнка

— Когда я была беременная, — говорю другу, — я такая красивая была, комплименты так и сыпались!

— А сейчас будто не сыпятся! — засмеялся он.

И я задумалась, что это странно, что я никогда не чувствовала себя красивой. Хотя всегда хотела ею быть.

— Есть в тебе что-то, — говорили мне ребята в далёких девяностых, — манит к тебе, но это точно не красота.

И я обижалась, подводила красным губы, красила волосы в зелёный, носила леопардовые колготки, юбки на уровне трусов и десятисантиметровые каблуки. И ещё придумывала всевозможные заговоры. Ну вроде: *ты мой волк, я твоя волчица, ты мой дождь, я твоя водица, без меня тебе не жить, не выжить, не прожить, засохнуть, иссохнуть...* — и всё в таком роде! Я прикладывала мальчишкам руки к груди и тихо шептала свои юношеские глупости, и глупости эти, кажись, работали. Парни дрались за меня, как львы! А потом я получала за это по шее от мамы.

Поднимаюсь как-то по лестничной клетке, навстречу пара, и мужик бросает своей диве, глядя сквозь меня: до чего же страшные у них женщины!

А я смотрю, он сам-то далеко не Ален Делон будет. Просто стрёмный потный мужик внешности довольно заурядной. Я бы с ним на одном гектаре пописать не присела, не то что это, ну вы сами поняли! Тьфу! Но не это покорило меня, а то, что говорят мне в лицо про меня, как будто меня нет. Как будто меня не существует, как будто я бестелесная тупая оболочка! И тогда я пожелала этому мужику безответно любить только наших «страшных» женщин, и никаких других!

Помню, дружила с одной девушкой, Алёнкой. Ребята над ней смеялись: зубы кривые, вся такая невзрачная, непривлекательная, походка тоже какая-то неровная, как у россомахи. Я, насколько могла, защищала её от насмешек и издёвок.

Отец Алёнки, горький пьяница, избивал свою беременную жену, пока та носила во чреве мою подружку. И вскоре после родов убил супругу, и Алёнка выросла в интернате. Возможно, эта интернатность наложила на неё свою корявую печать, но Алёнка, несмотря ни на что, носила её с улыбкой, ни капли не стеснясь своей неказистости. Она, зная, что над ней будут смеяться, всё равно шла в нашу компанию, принося с собой, как получит пенсию по инвалидности, выпивку, и только поэтому её принимали. Она глупо улыбалась и смеялась над собой вместе со всеми, и меня это злило: она хорошая, она хорошая!

А в глубине души я и сама не могла разглядеть в ней красоты, только лишь наивность и доброту.

Как-то пошли мы с ней по ягоды. А тогда в наших лесах бушевали страшные пожары. Лес горел по всему острову. Огненная стихия спалила

в тот год тысячи гектаров и поглотила даже целый посёлок в соседнем районе. Но народ, нисколько не боясь угореть в лесах, всё равно шёл по ягоды да по грибы: один день летом всю зиму кормит. Вот и мы с Алёнкой отправились. А тут с одной стороны дороги лес горит, а с другой мы собираем клюковку. Собрали сколько-то и присели отдохнуть да перекурить, а спичек-то нет!

Что делать? Алёнка, недолго думая, подскочила и побежала на горящую сторону. Пока я спохватилась и сообразила, что надо бы её остановить, как она уже бежит обратно: прикурила!

— Вот дура! — выругалась я. — Жить надоело?!

Ну что поделать, сидим курум, дымы от горящего леса обволакивают нас, смешиваются с сигаретным, пропитывают своим копчёным запахом, а солнышко с противоположной стороны греет, гладит наши лица. Алёнка смотрит куда-то вдаль и что-то говорит, говорит, а я смотрю на неё и не слышу ни единого слова. Вообще ничего не слышу, а просто молча разглядываю её, словно вижу в первый раз. Кожа её, хоть и с налётом копоти, нежного молочного цвета, ни единого прыщика, словно светится изнутри. Глаза хамелеонные зеленовато-карие, ресницы пушистые, как у телёнка, улыбка открытая, волосы, ниспадающие на лицо, мягкого каштанового цвета, и еле слышимый ветерок треплет их, словно заигрывает. Откроет лицо, глянет в него и снова закроет, откроет и снова закроет. Я смотрю на это и думаю: «Боже, почему я не умею рисовать? Да с неё полотна писать надо! Красота, чистая красота, необработанная, неограниченная, самая настоящая, живая, природная!»

А вокруг дымы, дымы, и огромное страшное живое кострище перекидывается на нашу сторону, и мы, схватив вёдра, бежим, сверкая пятками, и хохочем, и я с удивлением обнаруживаю, что её-то смех мелодичнее моего. Меня даже кольнуло немного в сердце от этого неожиданного открытия. Как так-то?

«Эх, Алёнка! — в сердцах подумала я про себя. — Что ж с тобой этот колдовской лес наделал? Может, вот сейчас, сегодня, вот тут, на клюквенных болотах, умирая от прожорливого жадного пламени, лесной дух, не желая отдавать огню свою дикую красоту, вместе с дымами передал её тебе? А мне что? У меня прыщи вот по всему лицу, и глаза, глаза я тоже такого красивого цвета хотела бы, и ресницы коровьи, и смех...»

«А ты и так дикая, — скрипнуло, падая, догорающее дерево, рассыпаясь на миллионы мерцающих огоньков, — тебе мы просто открыли глаза, вот и всё...»

«А красота, что, мне не нужна? Я тоже хочу быть красивой!» — чуть не заплакала я. Но лес лишь трещал, выл, скрипел, рушился, и дымы от него расползались, стелились всё дальше по земле, наползая на нетронутую ещё огнём землю. И вопрос мой остался без ответа.

С тех пор некрасивых людей я не видела. Даже в самом пропащем человеке всегда можно разглядеть красоту, стоит только открыть широко глаза и заглянуть поглубже в душу, сквозь дымовую завесу шаблонов.

Под куполом

Какое интересное имя у этого города. От слов «эрзя» и «мазый», что на языке эрзя значит «красивый».

Город и правда красивый. Удивляют скульптуры гусей, шагающих друг за дружкой. Оказывается, здешние гуси славились на всю Россию. А на этих улицах когда-то даже гусиные бои устраивали. Но самое поразительное, что тут собирали невиданные во всём мире армии до двадцати тысяч голов и гнали эту орду своим ходом на Москву и даже на Санкт-Петербург — кормить тамошних горожан. При этом перед дальней дорогой птиц прогоняли сначала по смоляной тропинке, а затем по песчаной. Таким «подкованным» гусям не страшен был никакой дальний путь.

Ступаю по плитке, считаю шаги, разглядываю веточки, разбросанные ветром тут и там. Экскурсовод, харизматичный пожилой мужчина, хранитель этого прекрасного города, извиняется за эти вот веточки и неубранные дорожки. Не люблю вылизанные дорожки. Чисто, да, но безжизненно.

Холодно, зуб на зуб не попадает. Зря я не надела шапку. Поднимаюсь по лестнице кафедрального собора Воскресения Христова, накидываю на простоволосую голову капюшон и вхожу в сердце города. Тихо.

Вдыхаю аромат ладана и елея. Наблюдаю за людьми. Тихо ходят они по залу, рассматривают стены, иконы, ставят свечки, молятся. Редкие пары шепчутся между собой.

Едем на снегоходе по застывшей реке мимо голых деревьев и кустов. Укутанная в бушлаты, лежу среди рюкзачков, удочек и мешков. В ушах свистит, совершенно невозможно разговаривать. Да и не хочется. Снег с запахом топлива вылетает из-под гусениц «Бурана» и осыпает неприкрытое лицо. Щёки горят. Ночью я загадала желание — обрести, наконец, свой дом. Свой собственный, где я буду хозяйкой.

Приезжаем на реку, пробуриваем лунку. Первая рыба была моя. Ты злишься, а я, довольная, кидаю её на колючий лёд и наблюдаю, как медленно она замерзает и затихает.

Приезжаем домой. Отчим открывает дверь. На лице его нет очков. У ног — холщовый мешок.

— Мама умерла.

Поднимает мешок и ступает за порог.

Одна нога короче другой на восемь сантиметров. Восемь дорогих для него сантиметров, потерянных в глупой драке. Он ковыляет по лестнице. Куртка распахнута, голова не покрыта.

— Погоди, отец! Ты забыл шапку.

Но он разрубает воздух ладонью и исчезает за лестничным пролётом.

Мы сидели на лавке у большого дубового стола. Стол застлан старой клеёнкой. Грязь на ней двадцатилетней давности. Я пыталась бороться с её существованием, но махнула рукой, решив, что она почти музейный экспонат. Налёт девяностых. На столе глиняная сахарница и стеклянные кружки, подаренные твоей мамой. На одной нарисовано яблоко, на другой виноград. Я взяла себе с яблоком.

С утра напекла лепёшек. Мы брали кругляши, разрезали пополам, затем рассекали вдоль нежную жёлтую мякоть, обмазывали её мёдом и отправляли в рот, с наслаждением запивая густым смородиновым чаем.

— Я ни за что не буду креститься!

Задумчивым взглядом ты смотришь в распахнутые рамы. За ними колыхнется розовое поле иван-чая.

— Когда-то тут колыхалось бескрайнее льняное поле. Синее-синее!

— Вся ваша вера — один сплошной пшик. К храму подходите, крест кладёте на грудь, кланяетесь, ползаете, иконы целуете, а только за порог — так и сразу в пляс кидаетесь! И этими вот самыми руками убиваете, воруете, избиваете. Глупые, вы думаете, что Господа в храме заперли, ладаном обложили, и он сидит там, чудненький, и ничего не видит? Нет! Бог живёт вот здесь! — показываю на грудь. — Здесь его храм, а не там, на горе! А вы на грудь крестик вешаете, а внутри-то нет ничего! Пшик!

— Ты не права. Не все такие! Просто тебе по жизни только плохиши попадались.

— Ну вот, смотри, ты ведь православный, да? Так вот, слушай. Мы вместе уже четыре года, и мы не женаты. Мы же на вы. А если на вы и спим вместе, тогда по твоей вере это блуд. Получается, ты живёшь в блуде.

— А ты что, не в блуде?

— А я — нет. Я обетов никому не давала. А ты давал. Ты грешник. Давай, плохиш, посади меня на самолёт, ручкой помаши, а сам — в церковь бегом, грешки замаливать. В твоём же сердце нет места для Него, — показываю пальцем вверх, отставляю стакан и ухожу в комнату.

Собираю черновики стихов, что ты бережно хранил, рву на мелкие клочки и кидаю в пасть прожорливой русской печи. Всё. Пшик!

Осторожно подходишь ко мне.

— Погода такая замечательная. Смотри, солнышко светит. Поехали на речку искупаемся? Вон и Бим прибежал за нами, посмотри.

Выглядываю в окно. Точно, Бим из соседней деревни. Огромный пегий полудог опять сбежал от хозяев, засранец. Прилип к нам как банный лист.

— Ну что ж, раз Бим прибежал, тогда поехали. Только, чур, я первая еду.

Запрыгиваем на советские велосипеды и, крутя педали, несёмся на бешеной скорости по полузаросшей лесной дороге. Бим впереди, размахивая ушами-пропеллерами, указывает нам путь. Периодически он прыгает вбок, разгонит невидимых зайцев и снова выныривает на дорогу.

Колёса стремительно поглотили восемь километров, и вот мы на мосту. Раздеваемся и прыгаем в воду. Раскидываю руки и ложусь на воду. Солнечные

лучи щекочут ресницы и розовыми пятнами проникают сквозь веки. Как хорошо, Боже!

На обратном пути заехали в соседнюю деревню. Отдать собаку, напиться чаю, потрепать о насущном.

Михаил, кругленький лысый добряк с пузиком, и Римма — приятной наружности, невысокая, чуть полноватая женщина.

— Вот когда я один жил, кучерявый был. А сейчас — где мои волосы, Римма?

Смеёмся. Римма кормит нас вкусным ужином. Показывает фотоальбом. Вот дочь, вот вторая, вот третья, вот внук, второй, а вот внученька, золотце!

— Жень, а ты не думаешь покреститься?

— Не-а. Я не хочу обманывать.

Смотрю в окно. Там, на пригорке, стоит полуразрушенная церковь XIX века. Когда-то Михаил хотел восстановить её, рисовать на её стенах фрески, быть священником. Но жизнь внесла свои коррективы. Развод с первой женой, со второй, потеря сына, женитьба на Римме. Он не влез в жёсткие канонические рамки Церкви. Даже в такие маленькие, как эта церквушка на горе.

Церковь. В царские времена люди несли туда отчаяние, радость и деньги. В советское время несли туда зерно, и божеская купель свято хранила хлеб. Со временем зерно перестали доверять церкви, и постепенно она захирела, облупилась, растеряла витражи, штукатурку и пришла в совершеннейший упадок.

В шестидесятых годах направили в деревню участковым милиционером одного мужичка из Татарстана. Крепкий, принципиальный, работающий. Честь по чести отработал он без малого тридцать лет, пока в один из дней за свою принципиальность так и не вернулся с охоты. Где-то в лесу отдал душу своему Богу.

Встал вопрос, где хоронить его. Местные — в позу:

«Не дадим хоронить на нашем кладбище».

«А он что, не наш, что ли? И что, новое строить?»

«А кто даст разрешение на новое кладбище? У нас тут мусульман-то и нет больше. Для одного, что ль, городить? Чай, не такая важная птица!»

«Всё равно не дадим на нашем хоронить! Встанем у входа и не пустим! А если похороните — выкопаем и закопаем за забором!»

«Люди, что вы несёте? Какая разница, где хоронить человека? За забором тоже грех. Не по-божески это. И мужик хороший был, сколько раз он нас выручал!»

«Да уж! Кого выручал, а кого... Нет, на православном всё равно нельзя! Грех будет великий. Церковь превратится в мечеть».

«Ой, да ну вас, трывдите тут дальше! А мне обряжаться надо! Коров доить, кур кормить. Чешите языками дальше. Пошла я».

«Да и мне бежать надо. Малой дома один, как бы не натворил чего!»

Ни к чему не пришли, так и расстались. А утром схоронили татарина на кладбище. Закопали, помянули, покурили, вышли за калитку и забыли про него. Жизнь идёт своим чередом, кто-то рождается, кто-то умирает.

А спустя лет пять вспомнили. Гроза налетела страшная. Гремела и метала искры. Повалила несколько деревьев возле клуба, спалила пожарный сарай. И напоследок ударила по кресту на церкви. Пронзительный грохот разорвал ночное небо пополам и покатился по крышам деревенских домов. Свет в избах погас. Крест обломился и, прихватив с собой железный купол, покатился вниз по горюшке, упал на погост. Оголённая церковь круглым кирпичным сводом растерянно уставилась вверх.

Утром сельчане собрались у креста, чесали затылки, не зная, что теперь делать.

«Вот, я же говорила, что нельзя здесь хоронить мусульманина. А вы меня не слушали. Была у нас церковь, а теперь что? Мечеть!»

«Ой, да ну тебя, снова языком мелешь без толку! Помоги лучше могилки поправить, и то польза будет от тебя».

Могилки поправили, забор починили, а крест, кряхтя, подняли на гору и внесли в церковь...

— Женья? — прервала мои размышления Римма.

— Да?

— Так что ты думаешь насчёт крещения? Всё же муж твой православный.

— А он не муж мне. И мне не нравится ваша вера.

— Это почему же?

— Потому что вы свои храмы превратили в ярмарки. Хочешь креститься — пожалуйста, только денежку заплати. Хочешь крестик — пожалуйста, купи. Хочешь свечку поставить — купи. Хочешь, чтобы мы вместо тебя сорок дней молились — заплати. Хочешь книжку — да на, купи, пожалуйста.

— Ну, тут я с тобой не соглашусь. Тем, кто в храме работает, тоже ведь на что-то надо храм содержать. И жить тоже.

— Вот именно, работает. А надо, чтобы служил. От сердца служил. Не за деньги.

— Ну, таких фанатиков, бескорыстных как бы, в девяностых сколько развелось, помнишь? Повыползали, окаянные, со всех щелей. Скольким людям они голову заморочили, ой! А скольких убили?

— Не права ты, Женька, людям вера нужна, — вступил в беседу Михаил. — Без неё нашему брату давно бы конец пришёл. Когда человеку совсем туго, куда он идёт? Правильно, в дом Господень. Только Отец Небесный выслушает, не перебивая. Вот взять даже эту церковь, сколько тайн она хранит, сколько слёз, сколько душ спасла от черноты. Эта церковь — наш памятник. Памятник любви, скромности, чистоты, доброты, веры, памятник рода. Отца моего крестили в этой церкви, — кивает в сторону окна, — а потом и меня. И сын мой подле неё схоронен. Для меня эта церковь — память. Умрёт церковь, и меня не останется. И тебя тоже. Никого.

Я слушала Михаила и Римму и гладила их кошку.

— Трёхцветная кошка, говорят, приносит счастье. А чёрная — несчастье. А у меня по гороскопу талисман — чёрная кошка.

— Суеверие. И гороскоп — глупая, скверная книга. Ты читаешь этот бред?

— Когда тяжело, забавно почитать про свой знак. Сильные, волевые, амбициозные, целеустремлённые и ля-ля-ля. Начитаешься — и всё, считай, сходил к психологу бесплатно. Можно жить дальше.

— Когда тяжело, надо в церковь идти, к Богу.

Обратно ехали в ночи. От деревни до деревни всего-то пара километров. Но каких! Днём ласковый, шебуршащий лес в это время становился жутким и дремучим. И голос приобретал скрипучий. Луна где-то шлялась за облаками, и лишь налобный фонарик робко освещал земляное крошево под ногами. Ты уехал вперёд, дорогой мой друг, и, наверное, уже пил чай из самовара, а я, дрожа от страха, пыталась крутить колёса по невидимой дороге. Падала в кусты, в лужи, вставала, садилась на велосипед. И снова падала. Прибежал Бим, чем дико напугал меня. Сначала тем, что гнался за мной, как собака Баскервильей, потом — что обежал, а напоследок добил тем, что, повернувшись ко мне, вернул свет от моего фонаря двумя зелёными фарами. От ужаса я запищала.

— Гав!

— Бим, дурак!

Радостный, бежал он впереди и показывал дорогу, периодически останавливаясь и пугая меня своими яркими глазами-фонариками.

На следующий год приехали, но Бим не выбежал нас встречать. Во время гона задрал он чужую собаку. Хозяин завёл его за сарай и застрелил.

— Да его давно прибить надо было! — сказал лесник. — Этот сукин сын в округе всех зайцев передавил.

Всех зайцев. Передавил. Вот и вышел Бим. Весь.

Выхожу из собора, бегу догонять экскурсию, где всю идёт беседа и споры об Алёне Арзамасской, нашей Жанне Д'Арк семнадцатого века, свободолюбивой монахине-казачке. Местная крепостная крестьянка, насильно выданная замуж, она рано овдовела и была вынуждена принять постриг, чтобы оградить себя от домогательств со стороны помещика. Её способности и воля проявились во время Разинского восстания, когда она, обрезав волосы и скрывая свой пол, стала атаманшей двухтысячного войска таких же, как она, крестьян, рассерженных помещичьим произволом.

Удивляюсь, как в те времена, когда женщина не имела ни права, ни голоса, когда её можно было купить, как корову, за пять рублей, смогла собрать войско и повести за собой мужчин. Недюжинной силы физической и духовной была баба, не иначе. А её за это — пытать и на костёр.

«Ведьма! — кричал народ — Ведьма! Сжечь её! Сжечь!»

А может, просто стоял и молился.

Ночью смотрела фильм про Николая Второго. Поразила сцена, где он молится вместе с Алекс, принявшей православие ради мужа.

Всю оставшуюся ночь металась в постели. Не могла уснуть. Что-то ворочалось в моей душе, а что — никак не могла понять.

— Отец, скажи, если я приму православие, ты ведь не рассердишься на меня? Помнишь, как ты гонял Свидетелей Иеговы?

— Что ты. Я давно уже добрый и никому пинки под зад не раздаю, — улыбается, а взгляд серьёзный. — Я буду рад твоему спасению. Честно.

— А духи? Наши духи. Лесные, морские, горные? Получается, я отвернусь от них.

— Не отвернёшься.

Утром отец сел в самолёт и улетел домой, на Сахалин.

— Я буду молиться за тебя, дочка.

— Я знаю.

Через месяц он умер. И некому стало молиться за меня.

По приезде домой, на Сахалин, отправилась на море. Яркое солнце проводило меня до кромки воды и остановилось. Грозный туман встал стеной у входа и длинными плетями хлестал по волнам. Море дыбилось, шипело, хрипело, свистело, шептало, угрожало: «Уходи! Уезжай! Прочь! И не возвращайся! Не возвращайся...»

Я сняла ботинки и ступила в ледяную воду. Покрошила печенье, конфеты, чай, табак. Закурила сигарету.

— Чух! Чух!

Там, вдалеке, разъярённая волна с пеной у рта неслась на меня со страшной силой. Инстинктивно сделав шаг назад, я остановилась и вросла в песок. Волна, набирая скорость и силу, всё росла и росла и, долетев до меня, ударила исполинским своим кулаком по моим ногам. А затем рассыпалась, обняла их, и медленно уползла в море. А следом за ней и души. Все, кого я любила, отступили и медленно ушли вдаль. Солнце поднялось и встало со мной рядом.

Ступаю в маленький деревянный дом Аркадия Гайдара. «Республика ШКИД» — моя любимая детская книга. Слушаю экскурсовода. Рано научился читать. Рано стал писать стихи. В шестнадцать лет командовал ротой. Это ж сколько дерзости у него было! Шестнадцать лет, совсем мальчишка по нынешним временам. Я хотела бы с ним дружить. Слушать его речь. Отвечать. Верить. Защищать.

Солнце палило с неба изо всех июльских сил. Мы ехали по пыльной грунтовой дороге. Расплавленные люди в расплавленной машине. Въехали в деревню и остановились у облупленной церкви. К стенам её приросли густые строительные леса. Леса эти поднимались выше стен, обвив здание.

— Это последний, пятый, его отреставрируем в ближайшее время. А может, и того раньше, — пробасил священник, вытаскивая тюки из машины и внося их в храм.

Поднимаемся по лестнице, заходим внутрь. Пахнет деревом, затхлостью, мочой и хлором. Пол застелен светлыми, тщательно вымытыми досками. Женщины в косынках моют окна, стены, выносят смывую воду на улицу. Парнишка на самом верху стремянки водит кисточкой по стене.

Священник приносит стулья, на один ставит ведро из-под краски и наливает туда воду из пятилитровых бутылок. Три штуки.

Римма, держа платок с алыми розами, разводит руки в стороны. Прячась за платком, скидываю с себя сарафан и облачаюсь в длинную ситцевую рубашку. Маленькие синие цветочки рассыпались по моей груди, животу, спине, ногам. А под цветочками забегали еле видимые мурашки. Толстые стены храма свято блюдут строгую прохладу. Я задрожала, почувствовав вдруг себя жалкой. Кто я в этом мире? И что я здесь делаю?

Римма обняла меня и подвела к людям, собравшимся около батюшки.

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

Да будет воля Твоя, яко же на небеси и на земли;

Хлеб наш насущный дай нам днесь;

И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим;

И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки веков. Аминь.

Выходим из домика Гайдара и идём к дому Максима Горького.

Толпимся в узком коридоре. Ходим по комнатам, кланяясь каждой у прохода с низкими притоками. Первая мысль: я хотела бы здесь жить. Спать на этой постели, есть за этим столом. Ходить из комнаты в комнату, распахивая двери и вновь прикрывая их за собой. Вход. Выход. Вход. Выход. Вход. Выход. И так по кругу. Потом сесть за стол и писать, писать, писать.

Ночью приснился сон. Ем сырую рыбу. Из неё выползает длинный червь и прямо мне в рот. Хватаю его за хвост, пытаюсь вытащить, но он оказался сильным и всё равно заполз внутрь. Проснулась от тошноты. Добежала до уборной. Потом умывалась и долго не могла прийти в себя. Легла спать. Проснулась от боли в животе. Снова бегу в уборную. Кровь. Странно, на той неделе была уже. Оделась. Сходила в аптеку, купила тест. Пришла домой. Две полоски. Дрожащими руками набираю твой номер. Абонент занят. Снова набираю. Абонент занят. Но ты же знаешь, я не из тех, кто сдаётся. И тебе вечером всё равно возвращаться в дом.

— Ну что тебе?

— Я беременна.

— Это временно.

— Я беременна. Две полоски у меня, понимаешь?

— ...

— Ты не рад?

— Слушай, я тут под машиной лежу, в снегу. Давай вечером приду домой, поговорим?

— Хорошо, — отвечаю ровным голосом, а саму трясёт.

Иду в постель, обнимаю кота и проваливаюсь в беспокойный сон.

Бабушка твоя стоит у порога и строго смотрит. В руках у неё мальчик. Даёт его мне в руки и командует: «На, подмой Вову!»

Вечером ты приходишь, молчишь. Рассказываю сон.

— Хорошо. Родится мальчик, назовём его Вовой.

Ночью садишься за компьютер и подаёшь заявление в загс.

Потом была скромная свадьба на тринадцать человек.

Снежным московским вечером ехали из загса в машине друга, в которой ровно год назад везли на кладбище бабушку. Друзья сидели в пустом салоне на полу, на туристических пенках. Пели песни, смеялись и подпрыгивали на ухабах. Мы сидели впереди, на единственном сиденье, которое застелили белой простынёй.

Потом пили чай из самовара с пирогами да вареньями. Играли в настольные игры, рассказывали анекдоты и много смеялись. Ты вешаешь мне на шею кулончик. Пять райских птиц сидят на ветвях Дерева жизни.

— Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век;

Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася.

Распятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на Небеса, и сидяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и славима, глаголавшаго пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь.

Подхожу к священнику и наклоняю голову к ведрю.

Он аккуратно окунает её в ведро.

Раз!

Два!

Три!

Нагретая солнцем вода бросается в уши, ноздри, мешает дышать. Тепло. Тепло. Довольно, Боже!

Выхожу на улицу, вдыхаю холодный воздух. Листики, веточки под ногами хрустят, точно валежник в лесу. Ветер бьёт по лицу. Возвращаюсь вверх по дороге. Поднимаюсь на самую высоту. Встаю у Воскресенского собора.

Сумерки уже накинули звёздную скатерть на притихший город и слегка прикусили луну.

Экскурсовод ведёт с нами беседу, показывает куда-то вдаль, на шапки храмов и монастырей, на дома, на улицы. Через час уезжаем. Мысленно обнимаю этот красивый уютный город и благодарю за гостеприимство. Мысленно обнимаю экскурсовода, надеваю на его голову шапку и прошу беречь себя. Мысленно пою песню. Слова её, отскакивая от тротуарной плитки, поднимаются вверх, высоко-высоко, где садятся на вековечное небесное дерево. Там, под этим деревом, живёт татарин и бегают Бим. Там мама обшивает моё платье мелкими синими цветами, отчим ходит на здоровых ногах, а отец молится за меня. Там маленький Аркадий Голиков читает мне стихи, стоя на табурете. Максим Горький пишет письмо Льву Толстому. Мы сидим за огромным дубовым столом, а за окном Степан Разин поднимает народ на восстание. Алёна Арзамасская собирает отряд и ведёт его к городу Темникову. Там за окном гуси бьются не на жизнь, а на смерть.

Смерть. Там, наверху, уже никто не задаётся вопросом, что же она такое. А мы задаёмся. Ищем. Находим. Поём песни. И песни эти прорастают глубоко в небо.

До свидания, великий город. До свидания! Твои песни крепко вросли в историю нашей страны. Звонкие, смелые, святые. Пусть купола твои надёжные ещё много-много веков бережно хранят город. От пустоты, от темноты, от ветра, от гроз.

Одуванчиковая полянка

В детстве все мы мечтали кем-то стать: космонавтами, пограничниками, врачами, поварами. Я хотела стать учительницей, потому что они всё знают; продавцом в продуктовом магазине, чтобы под рукой всегда были конфеты и шоколадки; и певицей, потому что они красивые и им всегда дарят цветы и подарки.

Во дворе у нас сплошь росли одни танкисты, пограничники, автоматчики и пулемётчики. Девочки в нашем дворе появились чуть позже. А пока их не было, мне приходилось играть белых и фашистов, потому что больше никто не хотел. А по-другому мальчики меня в игру не брали. Ох и доставалось мне всегда! Зато научилась быстро бегать и давать сдачи.

Когда детей во дворе не было, я бежала на полянку в конце улицы и просто сидела в окружении цветов и наслаждалась тишиной и теплотой солнца. Прогретьшись же, запевала во всё горло песни, представляя себя знаменитой

Аллой Пугачёвой или кудрявой зарубежной кинозвездой, имени которой не знала, но видела постер с её фотографией у изголовья кровати моего брата.

Полянка летом вся покрывалась ковром ароматного сладкого клевера и весёленьких одуванчиков и казалась мне тогда огромным сказочным колышущимся полем. Помнится, ещё сбоку, под лиственницами, стояла огороженная заборчиком трансформаторная будка и гудела. Иногда, напевшись от души, я подходила к ней и пыталась её перегудеть.

В один из дней, когда во дворе было пустынно, побежала я на свою полянку и, как обычно, начала петь «Земля в иллюминаторе», «Миллион алых роз», «Яблоки на снегу», плетя попутно веночки из одуванчиков и откапывая подорожник, стараясь не повредить при этом их длинные, пышные корешки. Из этих подорожников потом получались весьма симпатичные куколки с длинными и толстыми косичками.

Так вот, копошилась я так на полянке, никого не трогала, пела свои немудрёные песенки, как из дома, что стоял в конце улицы, выскочила тётка и голосом Марии Распутиной: «Девочка! А ну, пошла в жопу отсюда! Второй час не могу ребёнка уложить!» — прогнала меня.

Так внезапно оборвалась моя певческая карьера, и бегать на полянку я перестала, так как очень боялась этой злой тетёнки.

Много лет спустя устроилась я продавцом на работу в колхозный магазинчик, тот самый, в который в детстве бегала за молоком с двумя трёхлитровыми бидонами. Помнится, я ещё часто ворчала, что у нас в семье живут одни обжоры и троглодиты. Давно уже мы переехали из бабушкиной четвертушки в квартиру в пятиэтажном доме. Бабушка умерла, и четвертушка была продана соседям за ящик водки. Вечером, сдав кассу и закрыв магазин, вышла я и решила прогуляться по улице детства, и заодно заглянуть на полянку, сплести веночек из одуванчиков. Деревянный тротуар, стелившийся когда-то вдоль домов, пропал, точно его никогда не было. По улице, как всегда, стайкой носились собаки, только вместо лаек теперь бегали полутаксы, полукавказцы и странного вида полубульдоги. Завидев меня, эта кодла отправила ко мне своего самого мелкого и визгливого засланца, который сразу получил сумкой с консервами по морде. Следом кинулась вся свора, но я так залаяла и зарычала на них в ответ, что стая решила обойти меня стороной и не обращать внимания. В окне на кухне горел свет, а в комнате мерцал телевизор. «Как в детстве», — подумала я и с грустью пошла на полянку. Она встретила меня тёмно-зелёной зрелой травой и белыми пушистыми шарами. «Опоздала, — прошептала я, — одуванчики отодуванились». Тишина стояла оглушительная. Трансформаторная будка не работала. Ни проводов, ни заборчика, только она, ржавая и неприглядная, стояла у края полянки, точно памятник прошлому.

— Наконец тебя перегудю, — прошептала я ей, легла в траву и, глядя в сумрачное вечернее небо, загудела. А потом, захохотав, громко запела «Арлекино». И никто, абсолютно никто не выскочил из крайнего дома, не послал меня в жопу!

Когда стемнело, потихоньку, точно воришка, выкопала подорожник и, спрятав его в карман, пошла домой. Придя, пыталась заплести куколке косу, но так и не смогла. Корешки были жёсткими и непослушными. В конце концов оставила эту глупую затею, залила лохматушку кипятком и перед сном ополоснула этим отваром волосы. И несколько долгих дней носила запах детства, пока он не улетучился совсем.

Евгений Степанов

Пусть краток день земной

Прудовая

Отчее Быково, церковь, пруд,
Улица родная Прудовая...
Улицу свою не предавая,
Круглый год быковцы здесь живут.

Это Надя — у неё собаки.
Это Вадя — Бахусом ведем.
Это Марк — что прозябал в бараке,
А потом отгрохал ладный дом.

Это Ольга — о поэтах бойко
Рассуждает, начитавшись книг.
Это у Николеньки попойка.
Это я — построивший парник.

Как бы злые духи не серчали,
Улице не потерять лица.
Это — мы. И мы — односельчане.
И — не хочется пе-ча-лить-ся.

Хочется, чтоб здесь, на Прудовой,
Мы бы жили и не знали горя.
...Только вот далече нынче Боря.
Боря нынче на передовой.

Степанов Евгений Викторович — поэт, прозаик, издатель, кинорежиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского пединститута, Университет христианского образования в Женеве и аспирантуру МГУ им. М.В.Ломоносова. Кандидат филологических наук. Президент Союза писателей XXI века. Автор книг стихов, прозы и многих публикаций в СМИ. Живёт в Москве.

Братья

Брательники-штурмовики...
Они сражались на Донбассе.
Иван вернулся без руки.
И больше нет на свете Васи.

Иван молчит, угрюм и сед.
Пьёт. Смотрит на меня сурово.
И я молчу, его сосед.
Ни слова о войне. Ни слова.

Звуки мы

Планета — филиал тюрьмы.
Но плакаться в жилетку глупо.
Не «Звуки Му», но «Звуки мы» —
моя любимейшая группа.

А мы — и соль высоких строк,
и боль, что гложет монотонно,
и несгибаемый цветок,
пробившийся сквозь твердь бетона.

А мы — тепло родных могил,
ларец хрустальный ноосферы,
и барбарис, и девясил,
и камни, ладожские шхеры.

А мы — любимые глаза
и друг, пришедший на подмогу.
Пусть краток день земной, но за-
мечателен, ей-богу.

В лесу

О подвигах, о доблести, о славе...

А.Блок

Стоят в карауле дубравы,
Опята пригрелись на пне...
Ни денег, ни власти, ни славы
Не надобно мне.

Ты скажешь, что я шизофреник.
А я помолчу в тишине.
Ни славы, ни власти, ни денег
Не надобно мне.

Я видел страну Эльдорадо.
Был счастлив, оттуда удрал.
А высшая в мире награда —
Тропинка среди русских дубрав...

Пришёл — ушёл

Н.

Мальчишка — дядька — старикан.
Мгновение. Проступки. Схима.
Мир перевернут, как стакан.
Как жить? Уму непостижимо.

Я жил. Я бил и битым был.
Бухтел. И был слугой режима.
Парил, но чаще был бескрыл.
И жил. Уму непостижимо.

Пришёл — ушёл. Родиться вновь
Не прочь. Стремление не убито.
Лишь бы текла во мне любовь —
Не кровь. А как же без любви-то?!

Я стану тем, кем был давно.
Я не хочу пути иного.
...Пусть отмотается кино
Назад. И — фильм начнётся снова.

Марина Крамская

Несвятые

Рассказ

Мальчик стоял на паперти, уплетая плесневелую горбушку. Отец Дмитрий давно его приметил: затасканная куртка с оторванным нагрудным карманом, неряшливый шрам от заячьей губы под смятым носом, кроссовки с отстающей подошвой. Хлеб, видимо, достался мальчику от голубей, сизая стайка которых, вторя полуденной капели, курлыкала тут же неподалёку. Выражение лица у мальчика было злобное и одновременно торжествующее, словно он совершил идеальное преступление и теперь сгорает от желания похвастаться своей выдумкой.

Воскресная служба закончилась, таяли на кануне зажжённые свечи. Согбенная старушка всучила отцу Дмитрию целлофановый кулёк со словами: «Для Наденьки». Он поблагодарил, пошёл рядом с ней, выслушивая причитания, и лицом к лицу встретил мальчика, жевавшего хлеб.

Едва старушка, облапив напоследок заскорузлыми пальцами руку священника, поплелась через прилегавший к храмовой территории парк, мальчик на паперти спросил:

— Почему колокола не звонят? Раньше ведь били.

Отец Дмитрий припомнил, что мальчик и прежде появлялся по воскресеньям и торчал до конца службы на улице, невзирая на мороз, который теперь уже подзабылся.

— Не можем, — ответил он. — Благовест треснул.

Мальчик доел горбушку, повозил руками по линялым джинсам, запрокинул лицо к небу. Глаза у него оказались такие голубые, что если бы он вдруг заплакал, могло бы показаться, что это тает лёд под ресницами.

— И что? — недовольно спросил мальчик. — Чинить не собираетесь?

— Дорого. А ты послушать приходил?

Крамская Марина Ильинична родилась в Москве. Окончила Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО) по специальности «бизнес-информатика». Автор книг «Козырь» (2019), «Новая фантастика» (2020), «Между явью и навью» (2022), «Удивительные истории о ведьмах» (2022). Живёт в Валенсии, Испания.

Мальчик неопределённо мотнул головой. Насупился, подтянув плечи к ушам, чем напомнил отцу Димитрию его собственного сына, хохлатого и длиннее, но уже выпорхнувшего из гнезда птенца.

— А вам люди на исповеди всегда правду говорят? — сменил тему мальчик.

— Доподлинно не знаю, но верю, что правду. Если уж пришёл, зачем лгать?

— И вы никому их тайны не рассказываете? Даже жене?

— Есть тайна исповеди. Я её соблюдаю.

— И ни разу не нарушили? А если человек скажет, что кого-нибудь там убил и прикопал в лесу, тоже ментам не спалите?

Священнику стало не по себе.

— Тайна исповеди нерушима, — повторил он. — Но я, разумеется, постараюсь убедить человека сознаться. Ведь если он пришёл на исповедь, значит, желает раскаяться. И нужно только ему помочь, направить.

Мальчик шумно харкнул под ноги. Грязно-жёлтый плевок попал в щель брусчатки перед храмом, но отец Димитрий промолчал. Мальчик, вздохнув, поскрёб загибок, выбил такт оторванной подошвой о ступеньку и решился:

— Отведите меня к этому вашему колоколу.

Священник ожидал другого. Он не сомневался, что мальчик неспроста спросил об убийстве, и к тому же выглядел соответствующим образом. В нём, конечно, таились бесы, прыгали в ледяных глазах и ничего не боялись. Они совсем распоясались, эти бесы, но мальчик им противился, совершенно точно, ведь явился же и нашёл повод зайти в храм, туда, где бесы в нём взвоят и затопчут в ярости. И потому отец Димитрий кивнул, пригласив его за собой.

Храм был мал, узок, сложен из брёвен, с тёмным тесным притвором. Мерцал в полумраке канун, возле которого крутилась скрюченная задастая баба и медным колпачком гасила огарки. С ласковым укором взирали со стены Святые. Отец Димитрий провёл мальчика за дверь к крутой лестнице, ведущей на колокольню. Мальчик сгорбился, не поднимая от пола глаз, его слегка подёргивало, и ноги цепляли одна другую. Он схватился за перила и упрямо пополз вверх, хотя, должно быть, бесы со всех сил тянули его за душу назад.

Трещина рассклала тёмный, опоясанный старославянскими буквами колокол до самых ушей. Отец Димитрий горестно вздохнул. А мальчик зачем-то покачал язык — колокол откликнулся протяжным нестройным стоном, — и спросил:

— Можете отвернуться?

Священник заметил, что мальчик вспотел. И ещё появился запах — свежглаженного белья. Здесь не могло так пахнуть; металлом, пылью, смолой, мокрой одеждой — да, но не так. Как будто мальчик незаметно переоделся в чистое, однако на нём были всё та же вытертая куртка без кармана и те же расклеившиеся кроссовки.

Однако чутьё подсказало священнику подчиниться. Может, он вообще привык к послушанию и потому стал пастырем. В детстве мать его не строжила, но от любой провинности бледнела, опадала в кресло или на стул, трагически просила воды. Пока маленький Дима ходил за стаканом, триумф непослушания выдыхался, уступал стыду. И когда пришло время выбирать, кем быть, он уже знал, что послушает мать, лишь бы она не бледнела и не просила воды.

Он отвернулся, ни о чём конкретном не думая. Было тихо, в белёсом небе, как под саваном, скользило ещё слабое после минувшей зимы солнце. Прошло минут пять, у священника озябли руки и уши, под ложечкой сосало не то от голода, не то от волнения, он мыслями вернулся к вопросу мальчика и к причине, приведшей его в храм. К отцу Димитрию приходили разные люди, многие — годами, он знал об их семьях, знал слишком много, пропускал через себя. Иногда хотелось со всем покончить, люди становились ему противны, их близость, их откровенность, их простодушие и глупость, из-за которых они и грешили. Он бранил себя, взывал к Богу, прося помощи, и Бог отзывался, приводил к нему ещё больше людей, они мучили ещё сильнее, загоняя в отчаяние, как покорного агнца, и тогда отец Димитрий смирялся, слушал их и слушал, ничего не чувствуя, пока не наступало облегчение, и он снова мог служить.

— Короче, вот, — пробубнил за спиной мальчик. — Готово.

Священник обернулся и не поверил увиденному. Исчезла не только трещина, но и осевшая за годы патина, и колокол выглядел как заново отлитый. Мальчик хлюпнул носом. Волосы у него на висках блестели от пота, потемнел даже воротник куртки, а рука так дрожала, что никак не попадала в карман.

— Чудо... — вырвалось у священника.

— Ага, — шмыгнув, признал мальчик. — Теперь будете звонить?

Отец Димитрий обошёл колокол, боясь прикоснуться, потревожить, признать чудо, хотя верил и в мироточащие иконы, и в исцеляющие мощи.

— Спасибо, — ответил он мальчику. — Теперь будем.

Они спустились по лестнице, мальчик призраком плыл впереди, на миг даже показалось, что он уже не касается заусенчатых ступеней. Больше не пахло свежим бельём, и вообще ничем не пахло — ни свечами, ни деревом, словно мальчик стирал все запахи за собой. «Я что же, должен его отпустить? — спрашивал себя отец Димитрий. — Просто так, ничего не сказав? Но ведь зачем-то же он был мне послан?»

— Как тебя зовут? — спросил священник, когда они вновь вышли на пустую паперть.

— Андрей.

— Часто, Андрей, людям помогаешь?

— Нет, — хмыкнул мальчик. — Люди в основном тупые, и сами во всём виноваты.

Он сказал это со злостью и знанием.

Отец Димитрий возразил:

— Но что же делать оступившемуся? Голову сложить?

— Да плевать мне на них, не моё дело. Я не вам помог, а себе. Нравится мне, как у вас звонят.

— У тебя, выходит, дар.

Андрей съёжился, как будто на него замахнулись. Священник вспомнил горбушку, которую мальчик уплетал, словно ничего лучше не пробовал.

— Я хочу тебя отблагодарить, Андрей. Может, зайдёшь к нам на обед? У нас небогато, но ты, пожалуй, наешься.

— Да не надо мне от вас ничего, успокойтесь.

Он спустился с крыльца, достал из кармана семечки в кулаке, расколол одну грязными жёлтыми зубами.

— Если будет одиноко или захочешь просто поговорить, приходи, — добавил отец Димитрий.

Мальчик ещё постоял, потом обернулся. Выглядел он совсем уж неважно: бледный, глаза запали, блестящая от шелухи нижняя губа лопнула посередине и кровоточила.

— Он всё равно снова треснет, — сказал Андрей. — Не очень скоро. Но треснет.

И побрёл, пнув стаю голубей по дороге.

Отец Димитрий жил в тесной хрущёвке, где под обоями бугрились многие слои старых газет. В крохотной спальне стояла кровать, прикрытая покрывалом с кистями, половину окна загораживало озеркаленное трюмо. На кровати лежала Надя: рыжая рука вдоль тучного тела. Над изголовьем золочёными окладами поблёскивал триптих.

— Наденька, ты представляешь, какое чудо! — воскликнул отец Димитрий с порога, словно не знал, что жена всё равно не ответит.

Хотя язык её слушался и, приходя в сознание, она говорила разное. Порой даже приятное. Говорила и как ни в чём не бывало собиралась на рынок за картошкой, садилась к трюмо и красила губы, причмокивая, чтобы ровнее размазать помаду. Пахла духами и пудрой. Но всё всегда кончалось одинаково: «Мирошку с собой возьму, а то скучно ему одному дома».

После этого наступала тишина. Жена возвращалась в постель, складывала дряблые руки по бокам и больше не шевелилась.

Отец Димитрий не раз думал, что, если бы сын не уехал, всё случилось бы не так быстро. Хотя врач объяснял ему, втолковывал, что бывают необратимые изменения. «Не-о-бра-ти-мы-е, вы понимаете?» Всё было предрешиено. А сын-то что, ему учиться надо, работать, семью создавать. Новую. Из старой он уже вырос. Только вот Надя так срослась с ним, что, когда разрубили их общие корни, он — прижился на новом месте, а она — утасла.

— Ты представляешь, Надя, что я сегодня своими глазами видел...

За четверть часа, что отец Димитрий рассказывал об Андрее, жена моргнула лишь раз. Но потом вдруг повернула голову и посмотрела на мужа ласково.

— Митя! Как давно мы с тобой не виделись!

Через неделю мальчик явился снова, хотя отец Димитрий не чаял его увидеть. Явился: внезапно выскочил из-за куста, когда священник вечером шёл через парк в промокших ботинках, угодив перед этим в незаметную лужу талого снега. Выскочил тенью, заслонив тропу, и решительно приказал:

— Исповедуйте меня!

Отец Димитрий замешкался. Он не знал, крещён ли мальчик и стоит ли вообще начинать этот разговор в сумерках на промозглом ветру. Но ещё меньше он хотел вспугнуть Андрея, чтобы тот ушёл, не выслушав причин отказа.

— К исповеди нужно готовиться, — мягко возразил он мальчику.

Андрей насупился, поковырял бледный прыщ на впалой щеке.

— Какая ещё подготовка? Я думал, я вам просто расскажу, а вы мне грехи отпустите или как это у вас там называется.

— Сперва ты должен простить всех, кто нанёс тебе обиду. А затем уже каяться за обиды, которые нанёс сам.

— Я ещё ничего не сделал, только собираюсь, — возразил мальчик.

Ноги у священника совсем задубели в мокрых ботинках, и он, не торопясь, зашагал по тропе, ведущей к дому, надеясь, что Андрей пойдёт следом. Мальчик ругнулся, но, видно, долго готовился к разговору и не мог так просто сдаться.

Тропа вскоре влилась в широкую прогулочную дорожку, по которой в вечерний час понуро брели, изредка выкрикивая клички, собачники с усталыми лицами, раздражённые и рассеянные, листающие новостные ленты в смартфонах. Снег по краям дороги уже сошёл, обнажив глубокие проталины. Весна текла в них, вымывала себе дорогу, и отец Димитрий подумал, что худые кроссовки мальчика наверняка тоже до краёв нахлебались воды.

— Значит, ты хочешь поступить дурно? — спросил он исподволь.

— Не для всех, — возразил Андрей. — То есть кое-кому будет польза.

— А другим?

— Мне всё равно. Сами виноваты.

— Тогда зачем тебе отпускать грехи? Если всё равно.

— Не знаю, — буркнул мальчик. — Просто... Я в ад не хочу.

— Господь милостив. Не за всякий грех отправляет в преисподнюю. Так что же у тебя случилось?

Они шли медленно, рабочий день отца Димитрия давно кончился. Ныли колени, и поясницу тоже тянуло, но больше тянуло и ныло сердце оттого, что мальчик был несчастен и, главное, — одинок, — как Дима в его возрасте. Семинария вспоминалась ему холодом, голодом и одним-единственным желанием — чтобы всё, наконец, закончилось. Если бы не Надя...

— Да кореш у меня с войны вернулся, — неохотно, словно сомневаясь, ответил Андрей. — В одном дворе с ним выросли, только он постарше. Нормальный он. Не давал до меня докапываться, на стройке пахал. А сейчас пьёт сильно.

— И в чём же твой грешный помысел? — не понял отец Димитрий.

Мальчик выразительно вздохнул, мол, ну что за тупость. Видно было, что он уже сто раз пожалел — и что пришёл, и что колокол починил, и как ему досадно, что надо говорить с попом, а поп немолод и туп и потому ни хрена в жизни не понимает.

— Реально не догоняете? — обречённо спросил мальчик, но осёкся.

Сбоку через проталину на дорогу выпрыгнула здоровая псина, дворняга, происходившая, очевидно, от овчарки, и подняла оглушительный лай, глядя на Андрея. Тот обмер, побелел, и казалось, что его вот-вот вывернет от страха. Отец Димитрий собак не любил и побаивался, мать заботливо внушала ему, что от животных следует держаться в стороне, потому что от бешенства люди умирают мучительно. Надя же долго просила завести щенка, раз уж ребёнок у них

не получался, но как только Дима поддался на уговоры и уже ехал в вонючей «шестёрке» к сомнительному заводчику на квартиру, Надя позвонила и сообщила, что у них будет мальчик. Как она могла знать, что именно мальчик? Но не ошиблась...

Дворняга оскалилась, почуяв страх. Отец Дмитрий встал между ней и мальчиком, примирительно показав псине открытые ладони со словами:

— Ну что ты, милая...

Коротким рывком собака бросилась вперёд, отец Дмитрий не успел ничего понять, только полыхнула боль в руке и по ладони побежала светлая быстрая кровь. Откуда ни возьмись появился хмурый мужик в затасканном пуховике и, схватив собаку за ошейник, от души огрел её поводком по спине. Собака жалобно закулила, а мужик, ни слова не сказав, потащил её по дороге, не обернувшись, даже не взглянув на священника и замершего позади него мальчика.

Кровь уже должна была остановиться, но продолжала течь из глубоких, как от дробы, скважин в коже. Андрей отмер, схватил отца Дмитрия за покалеченную руку и забормотал:

— Дебилы, а вы их защищаете, этот вот, он же к вам в храм ходит, я его рожу помню, что теперь скажете, простите, небось, да?

Неожиданно знакомо пахнуло чистым глаженным бельём. Лоб у мальчика покрылся испариной, несмотря на пробирающий холод, губы стали совсем неразличимы. Отцу Дмитрию обожгло руку до локтя, голова закружилась, где-то запели хоры, радостно и светло, как на Пасху. Медленно, очень медленно затягивались на ладони раны, выталкивая последние капли крови.

Закончив, мальчик отскочил, спрятав руки за спину, словно оружие. Священник с изумлением смотрел на девственную кожу в рыжих разводах. Собачий укус исчез так же, как трещина на колоколе.

«Чудотворец, — убедился отец Дмитрий. — Настоящий чудотворец».

Андрей попятился. Испуганные глаза усталились на священника в немом восклицании.

— Пстой! Куда ты?

Но мальчик уже отвернулся и побежал.

Отец Дмитрий вернулся в храм и встал у иконы Богоматери. «Что я видел? — спросил он молча. — Исцеление? А мальчик, — кто он? Святой?..»

Сколько ни вслушивался, сколько ни вглядывался, но ответа не было. Только рука словно онемела, и казалось, вот-вот — и вовсе исчезнет.

В квартире отец Дмитрий сел в коридоре на старую тумбу для обуви и долго не мог встать. Чудо оказалось невозможным, невыносимым грузом. Теперь он смог признаться себе, что ждал чуда всю жизнь и особенно — последние шесть лет. Откуда-то в нём выросла и окрепла уверенность, что чудо неизбежно произойдёт именно с ним. Наверное, он ждал если не благодарности, то хотя бы справедливости: служение давалось ему с трудом, и дома он давно

не был счастлив. Но он служил, служил людям, не беззаветно, но и не из корысти. И в этом уравнении словно не сходились правая и левая части, и потому решить его было невозможно.

Теперь же он держал чудо в ладонях. Мальчик, нет, Андрей, целитель, Святой... Отец Димитрий наискосок через дверной проём смотрел на неподвижную руку жены. Руку, на которую он двадцать пять лет назад надел кольцо, руку, которая ласково гладила куцый шухер на голове их новорождённого сына, месила тесто для пирогов, осеняла грудь крестом. Руку, за которую он всё ещё держался, хотя она уже не могла никого удержать.

В кухне он поставил на плиту чайник, сел, подперев тяжёлую голову ладонью. Мальчик-мальчик... Роились вопросы, наскакивая друг на друга: вернётся ли? Почему он? Ведь явно же беспризорник. Как ему помочь? Помочь в чём? Предостеречь от греха... Но в чём же грех Святого?

Из коридора слышались шаркающие шаги. Сидя за столом, отец Димитрий видел, как жена вышла, в халате, который он по старой привычке заботливо стирал руками, хотя сын купил им машинку. Надя встала перед зеркалом, схватила с верхней полки крепдешинный платок, обмотала им шею. Он вышел к ней. Надя обернулась и заметно оробела:

— Вы что тут делаете? — зашептала она, бегло озираясь. — Это моя квартира!

— Наденька, я — твой муж, — терпеливо сказал он. — Митя. Мы двадцать пять лет вместе в этой квартире живём.

— Ерунда какая-то, — взгляд жены заметался из угла в угол, словно она ощупывала каждый предмет и утверждалась в мысли, что это её квартира, а Митя вот — не её.

— Я в храме служу, помнишь? — продолжал увещевать он. — И сын у нас, Мирон, ты ж его на ноги поставила, твоими силами он теперь нормальный...

Иногда отец Димитрий, грешным делом, думал, что Надя обменялась с сыном этой «нормальностью». И был короткий зазор в десять лет, когда нормальными были они оба. Как же он тогда был счастлив! Так счастлив, что и молился усерднее, и людей слушал внимательнее, и совсем не пил. Не пил он и теперь — не мог расслабиться, упустить Наденьку, которая, как норовистая лошадь, всё искала, искала, как ускользнуть на волю из заточения.

— Я звоню в полицию! — предупредила Надя.

И ведь столь искренне, столь по-настоящему, — живой и страстный человек. Ему подумалось, что, если бы можно было сохранить её такой, признав, что никакой он ей не муж и в квартире оказался случайно, он бы, конечно, согласился.

Он бы дал Наде шанс.

Но взгляд её уже помутнел; она снова уходила.

Что же греховного хотел совершить мальчик?

Что?

Отец Димитрий осторожно начал выведывать, вдруг кто из прихожан знает Андрея. Но оказалось, что никто его даже не видел, разве что посоветовали

сходить на заброшенную стройку, где отирались беспризорники. Отец Димитрий так и сделал, не дождавшись воскресенья.

Стройку забросили давно, котлован порос плющом, сгруженная кучей арматура осела в траву. Забор из тонких, похожих на фольгу листов местами держался на ржавых шурупах, но большей частью — на одном честном слове. Священник пролез в дыру из отогнутого угла и заметил неподалёку кострище, блестящее от разлитой воды. Близко перегавкивались собаки. Рука на месте излеченного укуса зазудела, и тут отец Димитрий различил голоса, рядом и внизу, словно из-под земли.

Он обошёл наваленный холм сухой земли, верхушку которого обклёвывала стая ворон, с корнем вырванное дерево, торчащие остриём вверх осколки битого стекла и оказался на краю котлована. Голоса стали ближе. Чтобы увидеть, предстояло подойти вплотную, но отец Димитрий не решался: край был слишком рыхлый. Подумав, он опустился на колени. Полз медленно, раздумывая, зачем же делает всё это.

Голоса внизу стали громче; явно затевалась драка. Неожиданно грохнул выстрел. Отец Димитрий увидел на дне котлована двоих: мальчика и молодого мужчину в камуфляжной куртке. Это он стрелял. Мальчик не испугался, наоборот: бросился, схватил за руку с оружием. Что-то прокричал, ударил кулаком в плечо. В ответ мужчина съездил ему по лицу, но вскользь, без задора.

Отец Димитрий дёрнулся, рука поехала вниз. Потеряв опору, он покатился кубарем, собирая ветки и сучья. Закрыв лицо руками, расцарапал в кровь предплечья и голову. Когда вращение прекратилось, открыл глаза и увидел тёмное небо — неужели так много времени прошло? И никого рядом, только запах мокрой земли, как в могиле, и скулёж совсем близко.

Он взглянул вбок и увидел её — стаю в десять голов, ободранного тощего вожака и державшуюся сзади брюхатую суку. Вожак вскинул голову и оглушительно залаял.

Кое-как встав на дрожащие ноги, отец Димитрий попятился. Затем собрал всю невеликую смелость, изогнулся, сведя вперёд плечи, чтобы нависнуть над вожаком, и заорал диким голосом.

Но этот пёс многое повидал и, наверное, был слишком голоден. Он бросился на выставленную в защитном жесте руку, и тогда вновь громынуло. Псины поджали хвосты, бросились врассыпную. А вожак упал, и из-под развороченного брюха потекла свежая нефть.

Оглохший отец Димитрий обернулся. Рядом стоял мужчина в камуфляже, в опущенной руке держал что-то вроде двустволки, не разобрать. Мужчина подошёл, взглянул на то, что осталось от пса, с сожалением.

— На кой тебя сюда понесло, отец? — спросил сипло. — Они ж голодные, как звери, разорвали бы не морщась.

— Испугался, — честно ответил отец Димитрий, — что вы его застрелите.

— Кого? — изумился мужчина. — Андрюху?

Из-за спины говорившего и впрямь показался мальчик. Ровно тот же в затёртой куртке без кармана и рваных кроссовках.

— Пойдём, — сказал Андрей мужчине. — Вечно лезут, куда не надо.

Они и впрямь развернулись и плечом к плечу зашагали по котловану туда, где, наверное, можно было подняться.

— Андрей! — окликнул отец Димитрий, сам не зная, что хочет сказать.

Мальчик обернулся, взглянул куда-то вниз и вздохнул:

— Я же говорил: он обязательно треснет. Чини — не чини, они всегда трескаются.

Отец Димитрий проводил их взглядом в темноту и только тогда почувствовал, как горит рука. В темноте блеснула кровь, сбегавшая по ребру ладони.

У отца Димитрия зашло в груди, ноги совсем занемели, и он, как на ходулях, поспешил за Андреем и его спутником.

Но те словно растворились.

Уже впотьмах дойдя до храма, отец Димитрий поднялся на колокольню с зажжённым фонарём. Трижды обошёл благовест, тронул ладонью, обжёгся холодом. Трещины не было, а руку дёргало от боли. Кровь остановилась, но сжать кулак не получалось. Просидев с полчаса на сквозняке, отец Димитрий поднялся и пошёл в дежурный травмпункт.

В травмпункте собралась очередь из порезанных, укушенных и обожжённых. Он негромко спросил, кто здесь последний, и ему указали на сутулого дедка, державшего одной рукой другую со сломанным запястьем. На пару человек раньше него мужественно глотал слёзы парень с глубоко раскроенным бедром; неумело наложенный поверх штанов бинт намок от крови.

Отец Димитрий притулился сбоку у входа под стендом о клещевом энцефалите. Рядом на скамейке женщина с распухшим пальцем объясняла пацану, порывавшемуся уйти, что ржавый гвоздь — это не шутки.

— Вот у меня сосед, — вещала она, — вроде и не сильно-то наступил, но аккурат, как у тебя, — в пятку, а дальше: сепсис, гангрена, ампутация. Чудом выжил! Чудом!

Отца Димитрия передёрнуло. Он представил, как мог войти в эти ветхие двери Андрей, коснуться каждого и каждого исцелить. Но сперва, разумеется, рассказать, что впредь нужно быть осторожными с гвоздями, кипятком и скользким полом.

— Это так не работает, — раздался хмурый голос справа. — Что задумано, то предрешено.

Отец Димитрий повернул голову и с изумлением обнаружил рядом Андрея. Глаза у него из ледяных стали металлическими, как полынья в снегу. И веяло странным — не бельём и не пустотой, а будто бы ладаном и древесной стружкой.

— Вы зачем в котлован полезли? — не дав ответить, спросил он. — Я бы его вернул. А вы испугнули.

— Откуда вернул? — тихо спросил Дима.

— С войны.

— Разве так можно?

Андрей закатил глаза к потолку в жёлто-ржавых разводах и разочарованно вздохнул.

— И что же? — продолжил отец Димитрий, не получив ответа. — Он просто обо всём забудет?

— Ну типа.

— А потом?

Андрей не ответил, и отец Димитрий, наконец, понял, в чём греховность его замысла. Понял и ужаснулся. Он подумал о Наде — о Наде, которая лежала одинёшенька дома, ждала его, Диму, сама того не зная.

— И так с любым человеком можно? — спросил он обречённо.

— Ну типа, — повторил мальчик. — Если много времени прошло после того, как... Ну, как всё случилось, то надолго хватит. То есть... ну, как отмотаешь. Я вот, когда колокол этот ваш «чинил», подумал, что треснул-то он недавно, получается, надо подальше отмотать. А с рукой — там думать было некогда, да и устаёшь, когда с людьми связываешься, в общем, струсил, получается. Но с корешем я всё решил, лет десять можно подкрутить, а там ведь никто не знает, что дальше. Вдруг я ошибся?

У него были крупные суставы и худые пальцы, впалые щёки и родинка на серой шее. Отец Димитрий положил ладонь ему на плечо и повернулся лицом.

— Зачем тебе его спасать?

— Он — мой кореш, — просто ответил мальчик.

— Но если всё предрешиено... Он снова вернётся туда? И снова? И убьёт, как уже убивал?..

— Да наплевать мне, — буркнул Андрей. — Вернётся, значит, опять поправлю. Он мне нужен прежним, не понимаете, что ли?

Отец Димитрий отлично понимал.

Очередь неожиданно всколыхнулась и запричитала: дедок со сломанным запястьем покосился, как светофор во время урагана, и упал бы на пол, если бы парень с рассечённым бедром вовремя не подхватил обморочного. От этого усилия у него, правда, вскрылась рана, и сам он сильно побледнел, после чего с удивительной солидарностью было решено обоим пропустить вперёд, хотя кое-кто, конечно, возражал.

— А вы бы не вернули? — спросил Андрей. — На моём бы месте?

Отец Димитрий вздрогнул. Он мог думать лишь об одном: простила бы его Надя, если бы он использовал мальчика? А Господь? Это ведь искушение, самое страшное из возможных, так чего же он ждёт? Его несложно было искусить, он так и женился после одного, первого раза в пустой пыльной квартире на чужих простынях. Позже уговаривал себя, что опорочил невинную Надю (хотя Надя-то невинной не была, но он тогда не знал, как это определить; крови на простынях не было, но вроде бы иногда и не бывает) и обязан был на ней жениться. Он и тогда не мог признаться, что просто хотел перелететь из одного гнезда в другое и Надю «обесчестил» лишь для того, чтобы дать себе повод.

Потом Надя долго не могла забеременеть, и он думал, что это и есть его расплата за грех, за то, что он поддался искушению. И когда спустя пять лет всё-таки родился сын, решил, что грех, наконец, искуплен.

Но оказалось, искупление ждало их впереди.

— Нет, — ответил отец Димитрий. — Воле Господа нельзя перечить.

— Но если всё по этой сраной воле происходит, то на хрена мне этот дар?! — вспылil Андрей. — А как там было про художника, который свой талант в землю зарыл? Это не грех, что ли?

— Может, смысл в том, чтобы бороться.

Мальчик фыркнул, плюнул на щербатый пол и направился к дверям, потревожив пару — бледную девушку и не менее бледного её парня. Затем резко развернулся и вновь оказался перед священником:

— А если мне надоело бороться? Всю грёбаную жизнь только и делаю, что борюсь.

— Господь посылает испытания тем, кому они по силам, — возразил отец Димитрий.

— Знаете что? — окончательно взъярился Андрей. — Пошёл ваш Бог в жопу со своими испытаниями. Пусть, значит, я опять всем всё только испорчу. Сами виноваты!

Он неожиданно кинулся к женщине с пальцем и бесцеремонно схватил её за запястье. Палец на глазах уменьшился до нормальных размеров; у женщины расширились глаза. Едва закончив с ней, Андрей бросился к пацану с проткнутой пяткой, к ошпаренной дуре, к парню с рассечённым бедром. Всё больше лиц бледнело и краснело, всё больше ртов приоткрывалось в благоговейном молчании.

А отец Димитрий смотрел на Андрея и понимал, что, если его не остановить, всё кончится навсегда. С мальчика тёк пот, и в душном помещении стоял дух растопленной бани. Отец Димитрий схватил Андрея за рукав, но тот вырвался и громогласно заявил:

— Ну и что? Что мне будет-то?

— Ты ведь погибнешь! — крикнул отец Димитрий, ни на что уже не надеясь.

Андрей захохотал:

— Ну и пусть! Кому моя жизнь нужна, а? С роду никому!

Отец Димитрий, наверное, мог бы ещё что-то сделать или сказать, уберечь мальчика, силой увести из этой обители калечных, смотревших на них в изумлённом молчании. Но вдруг открылась дверь и ввалился слишком крупный, инородно здоровый для приёмного покоя мужик в камуфляжной куртке. Отец Димитрий мгновенно понял, что мужик пьян, пьян невменяемо и при этом вооружён, и страшно представить, что творится в его контуженной голове.

Страшно стало и всем укушенным и обожжённым, даже тем, кто минутой ранее исцелился. Этим, наверное, вдвойне. В тишине кто-то всхлипывал, затем неожиданно пацан, споривший с тёткой о гвозде, шагнул вперёд, хмурый, словно не вполне понимающий, что происходит.

— Уходите, тут и без вас проблем хватает, — ляпнул он.

Мужик перевёл на него взгляд стеклянных глаз. Андрей не шелохнулся, хотя отец Димитрий был уверен: вот сейчас мальчик закроет маленькой грудью целый мир и исполнит своё предназначение. И умрёт вместе со своим даром, потому что прав: никакого смысла в нём нет.

— Ты! — вдруг рывкнул мужик, ткнув дулом в сторону священника. — Ты мне нужен.

И отец Димитрий как-то мгновенно понял, как мужик его нашёл, — ведь знал о распуганной собачьей стае и об укусе. «А если бы Андрей успел? — подумалось ему. — Если бы я ему не помешал?..»

— Вопрос у меня к твоему начальству, — спотыкаясь о слоги, протянул мужик. — На кой хрен это всё, а?

Люди, заметил отец Димитрий, начали его сторониться, расходились вдоль стен, становясь почти плоскими, двумерными, ползли в тень, зачарованно глядя на оружие. И пацан с пяткой молчал, хоть и остался рядом со священником, но вряд ли осознанно, скорее, замешкавшись.

— Жили, — продолжил мужик, шагнув к отцу Димитрию. — Работали. С колен, твою мать, подымались. А пацаны теперь в дерьме, в золе да в земле. И нахрена?

Отец Димитрий мог бы ответить, но страх путал ему мысли и в каждую встряивал Надю, одинокую забытую Надю, о которой никто не вспомнит, если мужик застрелит его. А тот рано или поздно застрелит, в этом он не сомневался.

— У меня больна жена, — сказал он громко и отчётливо, чтобы каждая прильнувшая к стене тень слышала. — Тяжело больна. Больше о ней некому позаботиться, кроме меня.

Уже сказав, понял, как трусливо прозвучали его слова и что все наверняка решили, что он хочет себя выгородить, как будто был среди теней кто-то, кого не ждали дома, в ком нуждались меньше, чем в бесполезном попе. Он слышал их мысли: у женщины с пальцем две дочки, у дедка — старуха, с которой он сорок лет прожил, даже у окаменевшего пацана, студента-иностранца, кот и волнистый попугайчик, а присмотреть некому.

— Пожалеть тебя? — рявкнул мужик в камуфляже. — Жена у него, смотрите! У меня тоже была. И где она? Домой не пускает... В мой собственный дом!

Он качнул дулом. Рука не выдержала тяжести, опустилась, и пуля выбила пыль из старой плитки, распугав тени. Кто-то взвизгнул, кто-то заплакал горше прежнего. Мужик тряхнул головой, свободной от оружия ладонью стукнул себя в висок, попытался что-то схватить в воздухе перед глазами.

— Кто мне за это ответит? — пробормотал мужик.

И тогда Андрей шагнул к нему из-за спины священника.

Отец Димитрий обязан был его удержать, он знал это так же ясно, как то, что Господь существует и подо всё стелет свою длань. Но иногда чуть-чуть сомневался. Это предательское, искустельное сомнение и остановило его. Андрей взял мужика за широченные плечи бледными пальцами и сказал в перекошенное лицо:

— Я. Я отвечу.

«Вот сейчас», — понял отец Димитрий.

Вот прямо сейчас.

Он закрыл глаза и, с перекрученными кишками и крошечным сердцем, с разбегу налетел на Андрея и мужика в камуфляжной куртке.

Гроыхнуло.

Завизжали.

Отец Димитрий ослеп и чувствовал только, как в животе горячо пульсирует. Он не понимал, что лежит, что над ним склонились люди, и ярче других плыло в чудном мареве лицо женщины с пальцем.

«Значит, в меня», — дошло до него.

Кто-то сказал «разворотило». Слово это почему-то отца Димитрия насмешило.

Тётку отодвинули. Отодвинул мальчик с серым лицом.

— Зачем! — требовательно воскликнул он. — Зачем опять?!

Отцу Димитрию нечего было сказать ему.

И он не сказал.

В дверь позвонили. Этот звук — неробкий, назойливый — удивил Надю настолько, что она села в постели. Ноги почти не ощущались. Она прислушалась: нет ли в доме кого-то ещё, кто бы мог открыть? Шуршал серый тюль по треснувшей на подоконнике краске, раскашлялся и умолк холодильник на кухне. Звонили на улице колокола.

«Митя», — вдруг всплыло у Нади в голове.

Митя, где ты?

Она встала, нетвёрдо шагнула, держась ладонью за холодный комод. Повторился звонок: кто-то настойчиво требовал с ней встречи. Надя попыталась вспомнить хоть одно лицо — просто лицо, любое, пусть не Мити, но хоть какие-то лица она видела? А Митя? Не может же жить имя без человека. Но и его лица она не помнила.

Надя не сомневалась, что не сможет открыть дверь, — много раз пыталась, но не хватало ключа. Теперь же ключ лежал на столике. Она вставила его тяжёлой пухлой рукой и повернула четыре раза.

На пороге стоял мальчик в затёртой куртке, на месте оторванного кармана торчали червячками белые нитки, кроссовки давно просили каши.

— Вы — Надя? — спросил мальчик.

Она неуверенно кивнула.

Мальчик нагло протиснулся в прихожую. Увидел на столике библию. Вдохнул.

«Я его знаю?» — заметались испуганные мысли в Надиной голове.

— Я — Андрей, — представился он.

«Какой странный», — удивилась Надя, но отчего-то успокоилась, словно он был ей сын или племянник и ничего плохого сделать не мог.

К тому же так хорошо пахло свежим глаженным бельём.

Илья Прозоров

Клён, который мы посадили

Рассказ

Мы стоим у могилы Блока и курим.

Он держит толстую богатырскую папиросу в левой руке, я — хромую тощую самокрутку.

Ясный день октября.

Прозрачный. Тихий. Спокойный. Холодноватый.

Как окно в бабушкин сад. Как первый сон после болезни. Как чье-то доброе воспоминание, в котором мы оказались случайно.

День, наполненный глубоким смыслом.

Нас словно нет, но мы выдуманы кем-то, зачем-то, для чего-то.

Плавнo отводя от лица руку с папиросой, мой друг смотрит вверх, на голые ветки клёна, откуда с грохотом падает стая ворон.

Слетев, они рассыпаются по кладбищу кто куда, чтобы потом снова собраться и ревниво гаркать: «Прочь отсюда, прочь отсюда, прочь отсюда!..»

Кучкуясь, будто маленькие голодные котята, дрожат и зябнут под ногами лужицы — следы недавних затяжных дождей.

Дымки наши паровозно уносятся в небо.

— Пусть это будут фабричные трубы, которые видел когда-то поэт, — говорит друг.

Мы не виделись пять лет.

Это целая жизнь крысы или голубя.

Это четверть срока отсутствовавшего Одиссея.

Друг приехал в Петербург с гастрольями. Его пьесы гремят на всю Россию. Он специализируется на гениальных поэтах с дурной славой и короткой жизнью. Переплавляет их судьбы в сказки, переписывает всем известный

Илья Прозоров — русский эстонский писатель. Окончил Таллинский университет (факультет славистики). Автор трёх книг. Публиковался во всех эстонских литературных журналах и газетах, а также в «Звезде», «Новом журнале», «Неве». Проза переведена на английский, польский и эстонский языки. Лауреат премии Марка Алданова (2019). Родился, живёт и работает в Таллине.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2024, № 10.

трагический финал, если ему жаль поэта (нет таких поэтов, которых бы он не жалел). Затеplit друг лампадку, чиркнув от себя две-три строчки против истории, поставит лампадку в конце пути, и, глядишь, появляется у поэта надежда.

Сколько скандалов было у него из-за этих его лампадок!

Но скольких поэтов он спас, продлив, пусть и на подмостках, им жизни.

«А разве у настоящего поэта может быть долгая жизнь и добрая слава?» — резонно спрашивает могила Блока...

Я готовил другу подарок.

Он не знал, что здесь — в могилах, в склепах, под шербатыми плитами в лиловых каплях птичьего помета — почти все наши.

Почти все, кроме основ наших основ.

Основы были богаты, имели свои имения, там же и похоронены. Из имений сделали музеи, к ним водят экскурсии, их дома арендуют для пошлых свадеб, а имена — уже не выскоблить из скучных учебников.

А здесь — бездомные сироты, рассеянные когда-то по России, по миру. Они безнадёжно кочевали по странам, городам, адресам. Пересекали моря и океаны третьим классом. Меняли квартиры, работы, друзей, жён, любовниц.

Тщательно заматали следы, маскировались, как бабочки.

Они учились жить меж эпох, в расщелинах истории, на осколках прошлого, — без будущего.

Знали, вероятно, чем обернётся для них падение России.

Другу заказали пьесу о грудной клетке больной старухи, по которой проехали танки. Заказал модный — с орденами, со звёздами — академический театр. Надо было напиться соответствующей атмосферой, прежде чем сесть за пьесу.

После гастролей в Петербурге у друга оставалось два свободных дня.

«Нам надо заехать кое-куда», — серьёзно сказал он.

И мы, зевая похмельными утренними слезами, дёрнули со всеми остановками в Комарово, прихватив бутылку вина.

На вокзале, у паровоза Ильича в аквариуме, хлопнули из горла, отметили встречу.

Крякнули по-стариковски, поморщились: вино ядрёным оказалось и пахло микстурой.

Закусили бледной, похожей на отрубленный палец сосиской, завернутой в полусырое тесто.

И нам было хорошо, тепло ехать в пустой электричке.

Я тыкал пальцем в немытое окно: «Здесь Дорога жизни проходила, видишь?! А вон, видишь, — красная тюрьма?! Там Хармса, суки, до смерти замучили. А здесь я первый раз с дочерью гулял... Она вот такая была, крохотная. Личико такое кругленькое у неё было. Там, там, видишь?!»

В окне на фоне проплывающего города отражались наши задумчивые полупьяные лица.

Меня фокус, я смотрел то на убегающие рельсы, то на отражение друга.

У него квадратное скуластое лицо. Тяжёлые железные плечи. Влажные от пота виски, потому что много думает и сердце работает на всю мощь, как электрогенератор.

Сердце размером со спасательный круг. Сибирское, необъятное. Вмещит всех лишних, жалких, напрасных, бесприютных.

И глаза чистые, просторные, серо-голубые. В них я не раз находил покой и скрывался от бурь.

Проезжая Озерки, я в первый раз, как мне показалось, уколол друга Блоком: «Видишь, платформа, вокзал! Тут гулял Блок и встретил свою незнакомку...»

Друг только промычал в ответ, провожая глазами платформу, и мы катили дальше, выгоняя из себя город с его мостами, эстакадами, с бесконечными вереницами гаражей.

Комарово пах грибами и финской тоской.

Хрустели, вылетая из-под ног, красные, жёлтые, серые листья.

Осень тихо падала нам на плечи, на непокрытые сорокалетние головы, и мы, не проронив ни слова, шли между заколоченных на зиму дач.

И не было никакой связи, телефоны молчали, показывая одно лишь время, которое предательски укорачивало наши жизни.

Долго искали зелёную дачу со стеклянной верандой.

Утомлённые поисками, нашли что-то схожее по приметам.

(Не уверен, была ли это та самая дача, просто надо было уже что-то найти!)

Постояли. Повздыхали. Поплакали. Стемнело. Уехали обратно в город.

Из Комарово мы увозили тоску и недопитую бутылку вина. Она булькала и клекотала в кожаной сумке, висевшей на могучем широком плече моего друга.

В тот же вечер, когда мы укладывались спать, я услышал в темноте его мягкий хрипловатый голос: «Отвези меня к Блоку!..»

* * *

Могила Блока сдержанна, красива и грустна, как сам поэт на знаменитых портретах. Прохладный тёмно-серый обелиск с выпуклым профилем, где Блок одуванчиком, сужаясь, растёт к небу.

Имя, отчество, фамилия, годы жизни.

Вот, пожалуй, и всё.

Что-то явно нерусское, а может, немецкое в этой сдержанности. Нетрудно проследить трагедию: просился за границу — умер, окованный болезнью, в Петербурге.

«Могила как могила», — буркнет обыватель и даже не взглянет на Блока.

Обыватель перекормлен гранитной памятью: в России любят смерть...

Но клён, какой клён растёт у могилы!

Точно сам Блок посадил его перед собственной кончиной, подозревая, что через двадцать три года после смерти перенесут его прах сюда, на тогдашний отшиб Петербурга, в сад мёртвых поэтов.

Пришёл, распорядился, указав могильщикам, где выкопать яму.

Дал могильщикам на водку.

Оставшись один, достал из-под пальто худенький, длиною в локоть, саженец с двумя остренькими нежно-зелёными листочками.

Прошептал молитву с обрезанными крыльями.

Вложил саженец в землю.

Полил тихими слезами.

И тихо, незаметно, как бездомный пёс, ушёл умирать на другой конец Петербурга.

Первый раз я побывал здесь с семьёй летом, в середине августа, и сразу понял: клён посадил Блок. Уже откровенно пахло осенью, раскачивались, осыпаясь густым серебром, тополя. Но клён стоял, зелёный, не полыхнув ни единым листочком.

Тогда только-только родилась моя кругленькая, моя сдобная, моя умненькая дочь. Мы катали её в коляске по обжаренному солнцем Петербургу, а она всю дорогу спала, давая нам с её матерью хоть немного вздохнуть.

Мы часто и много ругались. Полушёпотом, чтобы не разбудить дочь. Иногда, забыв про неё, лаялись, матерились последними словами.

И только слабые, чуть слышимые вздохи за тонкой перегородкой коляски отрезвляли нас ненадолго.

Мы замолкали, как нагретые чайники, но через несколько минут всё повторялось.

Ползли, сбиваясь в кучу, когда мы шли на кладбище, тяжёлые клокастые тучи. Награпывал, забираясь под воротник, мелкий противный дождик. Где-то гроыхало, за блестящими крышами, и отчаянно и сипло лаял увязавшийся за нами облезлый кладбищенский пёс.

И тогда я увидел, как не хочет она идти со мной, нарочно замедляя шаг, твердя всё о каких-то мозолях на пятках, о потраченных зря силах.

Как неинтересно ей будет смотреть на могилы, где придётся думать много о белых костях в земле, о неизбежности смерти, подолгу молчать (она не умела молчать), где слёзы и боль разъедают всё будничное, сиюминутное, где правда натывается на правду, где падают колокола, режут иконы, горят багровые закаты, умирают поэты...

А хочется ей, как обыкновенной влюблённой женщине, фотографировать завтраки, обеды, ужины, делиться этим с подругами, легко и много говорить о пустяках, о платьях, о планах, об убегающем лете, — о себе, в конце концов, говорить.

Но она шла, затаясь, оглядываясь ядовито, с ненавистью, по сторонам, будто я придумал и сотворил мир, в котором она живёт.

Полыхнуло внезапно — молнией! — и миллионы тонн небесной воды рухнули на нас, едва мы вошли на кладбище.

Дочь проснулась, заплакала, я снял куртку, укрыв ею коляску.

Дико и неистово гремел на волю выпущенный дождь.

Потекла между могилами, пенясь и закручиваясь, грязная жёлто-серая вода, напоминая убегающий кофе.

Мы спрятались под клён и не заметили Блока.

«Зачем ты тащил нас сюда через весь город?..»

Перекрикивая дождь, она плакала, что больше не хочет жить между небом и землёй, в неопределённости, по съёмным квартирам, в позорном нашем безденежье.

Схватившись руками за обелиск — в истерике она всегда за что-нибудь хваталась, боясь потерять равновесие, — обняв его, как родного человека, она повалилась на землю вместе с именем поэта.

И тогда только я прочитал: Александр Александрович Блок.

Я не трогал её, зная, что нельзя трогать, что шквал скоро пройдёт, утихнет.

Грязная, промокшая — белая футболка превратилась в серую: я увидел её мягкий, ещё не окрепший после родов живот, тугие соски, худые плечи, — стояла она на коленях.

Напротив кладбища, через дорогу, за деревьями, как огромный паук, сверкала окнами пятиэтажка. Чья-то голова, завёрнутая в платок, смотрела на нас с верхнего, распахнутого настежь окна.

Что она думала, какие вопросы?..

Почему женщина, в дождь, у могилы Блока, стоит на коленях?

Может, это сектанты?

Зачем рядом мужчина с коляской?

Или женщина так болезненно любит русскую поэзию, что не стоит на ногах? Где ещё, в какой стране так любят поэзию, чтобы стоять перед ней на коленях?

А что если это призраки? Живые по кладбищам в такую погоду не ходят! У живых других дел полно...

Я чувствовал, как летят в меня эти ненужные вопросы, но некуда было от них деться, — всюду вода.

Через полчаса дождь прекратился, но ещё капало с веток, и под ногами бежал кофе.

Я приподнял куртку.

Дочь, кругленькая, сдобная, тихо спала, повернув голову вбок, распластав ручки, словно кому-то, у себя там во сне, сдавалась.

«Нет, я больше ничего не могу сделать, — говорила она, — я всё перепробовала, чтобы спасти их, я даже родилась для этого, но теперь я сдаюсь».

Богу, наверное, говорила.

Умоляла его: «Прости, Боженька, моих родителей, они совсем глупые, совсем дети, ничего не понимают, я сдаюсь...»

Я глядел беспомощно на дочь и не понимал, как жить дальше.

* * *

— Знаешь, ведь я, стыдно сказать, ни одного стихотворения Блока наизусть не помню, — признаётся друг.

«В России необязательно помнить стихи поэта. Достаточно знать его имя, помнить хотя бы строчку, слово, букву, запятую. Этого хватит, чтобы сказать: я знаю русскую поэзию», — замечает могила Блока.

— Как-то он мимо меня прошёл, — говорит друг. — А ведь гений, и судьба его такая, ну, — русская судьба!

Пока он размышляет, я закручиваю в папиросную бумагу... опавшие листья.

Улыбаюсь, потому что друг редко говорит, да ещё так откровенно: молчун он, весь в себе, как омут.

Отдаю ему самокрутку. Высекаю спичкой оранжевый огонь. Друг глубоко, с треском, затягивается, пуская в недра лёгких горьковатый осенний дым.

— Александр Александрович Блок, — задумчиво, отбивая каждую букву, читает друг имя поэта.

...Чёрные коптящие фабричные трубы.

Прибитый серым тяжёлым небом Петербург.

Город без людей, без машин, без какой-нибудь жизни.

Мигают рыжие зрачки светофоров на пустых перекрёстках.

Из-за туч проглядывает полная луна; висит ярким плафоном, раздражая небо.

Безвременье.

Втроём мы идём по набережной вдоль чёрного канала, навстречу финскому ветру.

Александр Александрович на два шага впереди, друг посередине, я — поодаль: отстаю, чтобы, вероятно, запомнить, — такая мне здесь роль отведена.

Смотрю внимательно на поэта.

Блок лыс, крючковат, нет прежнего одуванчика.

Но ростом всё равно выше нас, и чувствуются порода, воспитание.

Руки держит спереди, как монах, уложив на длинное, до полов, пальто, прикрыв голую худую грудь.

Под ногтями грязь полумесяцем.

Ног не видно. Только слабые постукивания под пальто. Блок, вероятно, на каблучках, в ботах своих любимых, гимназических, подаренных когда-то отчимом.

Лицо вытянуто, землисто, с базедовыми глазами, с угольным носом.

И весь он — словно вылепленный из сырой болотистой земли, и вылез как будто из земли.

Похож на умалишённого погорельца.

На поэта никак не похож.

Бубнит себе под нос: «Не бойся, Шура, умирать не страшно. В России любят смерть. В России надо умирать».

«Позвольте затеплить лампадку, Александр Александрович!» — говорит мой друг, едва за ним поспевая, но Блок не отвечает и только смотрит на него страшно и выпукло.

Ускоряя шаг, мы наскоком преодолеваем полквартала и оказываемся на ровной твёрдой земле.

Вдалеке я вижу город. Дымки фабричных труб уносятся в белое небо. Белое поле, но не от снега, — скорее от света, и белый-белый Блок, светится в парадном костюме, держит в руке что-то похожее на веточку с двумя острыми листочками. Так эти листочки очаровательно-зелены, живы на фоне белого света, но в то же

время так тоскливы, что хочется плакать, и мы с другом, переглянувшись, плачем.

Блок встаёт на колени: «Помогите мне! Я щедро отблагодарю...»

Мы присаживаемся рядом. Блок просит выкопать небольшую ямку. Земля — мёрзлая, чугунная — долго не поддаётся.

Ломаем ногти, стираем пальцы, — тщетно всё.

Выручает Блок. Что-то шепчет, пригнувшись к земле.

Вдруг вихрем влетает, поднимается, кружит, разгоняя белизну поля, горячий южный ветер. Земля тает, испаряется на наших глазах мгновенно. Появляются тут и там маленькие блестящие лужицы, кричат разбуженные птицы, звенят вдалеке колокола!

«Скорее копайте!» — кричит Блок.

И когда выкопана приличная ямка, укладывает туда слабую ветку клёна с двумя зелёными листочками, бережно присыпает землёй.

«В России поэты не живут долго, — грустно говорит Блок, глядя на клён. — А вот ему жить и жить. Всех нас переживёт».

И мы вдруг понимаем, как он прав, и глупо его переубеждать, что поэты в России не живут долго, а клён переживёт не одно поколение и увидит, возможно, конец света.

Прильнув лицом к листочкам, Блок плачет вместе с нами. Слезы, падая на клён, переходят в дождь.

На руках поэта проявляются, как фотоплёнка, сливово-чёрные кровоподтёки. Нет прежнего белого Блока. Свет пропал. Он снова из земли.

«Это я сам себя бил, — говорит поэт, поймав мой взгляд, — выгонял из себя пустоту».

Друг, вытирая слёзы со скуластого лица, умоляет: «Давайте, в Финляндию вас, Александр Александрович! Вам там помогут, вас спасут. Все границы откроем, милый Александр Александрович. Вам нельзя, слышите, нельзя умирать!»

«Не хочу, — говорит Блок, — Финляндии. Хочу сюда, в эту землю. Полежу чуть-чуть в болоте, там, на Смоленском, среди берёз, а потом сюда, к своим, к нашим».

«Тогда, может, во Флоренцию, там тепло, или в Шахматово, там память?»

Блок на секунду застывает, печально глядя перед собой, потом одумывается и с детской злобой почти произносит: «Нет, оставьте, я устал, я сдаюсь, не могу больше. Помогите лучше встать!»

Взяв его под руки, рассыпающегося на глазах от дождя, поднимаем.

Блок слаб, немощен, но лицом как будто свежее, и появляется подростковая хмурость, почти дерзость во взгляде.

«Я обещал заплатить, — лукаво улыбается он. — Видите, как капает вода в лужицу, как лужица дрожит, озябшая, как ей грустно и одиноко? Это — поэзия, друзья, это всё придумал поэт! Я дарю всё это вам, вам, одним только вам! Нет ничего важнее этой лужицы. В ней всему человечеству спасение. Несчастная лужица спасёт мир, слышите? Прощайте теперь, друзья, прощайте...»

Поэт исчезает.

Из кустов выныривает кладбищенский пёс, сворачивается у наших ног, грустно положив морду на передние лапы.

— Здорово, дружище, помню тебя. Ты жив ещё?..

И пёс, словно полегчало ему отчего-то, глубоко и томно вздыхает.

Медленно катится уставшее осеннее солнце.

Дымки наши по-прежнему уносятся в небо.

— Я буду писать о Блоке, — спокойно и уверенно говорит друг, доставая из кожаной сумки бутылку вина, чтобы выпить, утирая слёзы со скуластого лица.

* * *

Шёл я однажды по улице после дождя. Была весна. Тепло. Почему-то пахло помидорами. Точно такой, помню, запах был в парнике у бабушки, когда я заходил туда ребёнком, чтобы тайком сорвать ещё зелёный плод: им хорошо было швырять по кабинам проезжающих товарных поездов.

Я шёл и глядел в небо, потому что вычитал у какого-то философа, что смотреть надо в небо, и тогда жизнь не будет казаться безделкой.

Навстречу мне шли бессовестно красивые, почти раздетые догола, девицы.

Но я придерживался философии и продолжал никого и ничего не видеть, кроме неба.

Я шёл и шёл, пока случайно не увидел за крышами домов оранжевую стрелу подъёмного крана.

Она походила на голову жирафа.

Я перевёл взгляд и попал глазами в лобовое стекло автомобиля.

К стеклу прилипли опавшие берёзовые листья: сочные, зелёные, с зазубринами.

Они походили на моллюсков.

Во дворе дома меня встретила разноцветная, как набор детских карандашей, скамейка.

Строители ремонтировали подъезд. На асфальте лежал, подошвой кверху, рубанок. Ротик его со стальным лезвием похож был на осетровый. (Осётр лежал в витрине рыбного магазина напротив, через дорогу, и стоил каких-то запредельных денег.)

У подъезда я чуть не угодил в лужу.

Приглядевшись, увидел, как капает в неё вода, как лужа дрожит, озябшая, как ей грустно и одиноко отражать голубое небо.

Высокая поэзия мерещилась мне в каждой детали обыкновенного утра.

Поэзия преследовала меня везде.

Ошеломлённый, забыв всё, я побежал писать свой рассказ...

Микаел Абаджяни

Человек за спиной, или Попытка автопортрета

Рассказ

Елене Галустовой

* * *

Вчера мой портрет писала художница Милана Краснова. Отчего-то художники часто выбирают пожилых людей. Не скажу, что я старик, однако разменял уже шестой десяток. Видимо, прожитая жизнь выразительно проступила на моём лице и пришло время позировать живописцу. Краснова пригласила к себе в мастерскую в три часа пополудни. Из большого окна лился зеленоватый летний свет, а к белым стенам были прислонены холсты с пейзажами. На них жили своей жизнью подмосковные пруды и леса. Отмечу, свет был передан очень достоверно.

Тюбики с краской лежали прямо на полу, а на мольберте — девственное полотно оргалита. Я, не особо размышляя, сел на приготовленный загодя стул. Без умолку что-то болтая, наблюдал, как Краснова встала за мольберт. Она смешивала краски: красные, синие, жёлтые, зелёные. Мне почему-то подумалось, что я должен занимать её разговорами. Я рассказывал о своей жизни, вытаскивая на свет истории, случившиеся со мной ещё в молодости. Я их и сам плохо помнил, однако всё это сейчас казалось к месту. Спросил, не слишком ли верчусь, но получил отрицательный ответ, — мол, всё нормально. Справа на стене висело большое зеркало, и в нём отражался мольберт.

Полотно оргалита, вернее, его отражение, было расположено под острым углом ко мне, и с моего места казалось, что выходит похоже. Это обстоятельство заставляло меня всё больше растягивать губы. А ещё мне думалось, что чем больше я стану улыбаться, тем конечный результат окажется лучше — примерно как на фото.

Абаджяни Микаел Фёдорович — прозаик и переводчик. Родился в Ереване в 1970 году. Окончил Ереванский зоотехническо-ветеринарный институт. Печатался в журналах «Новый мир» и «Дружба народов». Член Союза писателей Армении. Консультант проекта «Моссалит». Издавался в России и других странах. Имеет литературные награды.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 6.

Сидел я так уже довольно долго, когда услышал, что она знакома с моими рассказами. Но мистические истории ей не очень нравятся, понял я. Несколько более высокого мнения она была о моей реалистической прозе. Спорить не стал. Было дело поважнее — краем глаза подсматривать в зеркало, как проступает на белом фоне моё лицо.

Прежде чем показать, что вышло из-под кисти Красновой, я должен описать себя сам. Как себя вижу и ощущаю.

Когда-то я был красив и талантлив. Жил в Ереване, писал мистические рассказы и работал в толстом художественном журнале. Союз писателей там был самый настоящий — со своим зданием, пансионатами и книжным магазином, — ведь он был когда-то частью СП СССР. Время было счастливое, дышалось и писалось легко, и мне казалось, что ещё немного, и все премии мира обрушатся нескончаемым потоком на мою одарённую голову.

Только счастье моё омрачали выяснения отношений с поэтом Ромиком Сардаряном, выпивохой и забиякой. Он был старше лет на двадцать, не терпел моего самолюбования, а когда бывал пьян, — устраивал ссоры и лез драться. Между тем поэтом он был хорошим и пользовался успехом. Позже Ромик посвятит мне несколько четверостиший и парочку критических статей. Но это всё потом. А сейчас, вдребезги пьяный, Ромик стоял напротив в боксёрской стойке посреди нашей редакции и сыпал оскорблениями в мой адрес. Он на голову ниже, хлипкого телосложения, а глаза — с восточною косиной, и наши острословы утверждали, будто он потомок Вардана Мамиконяна. Его реденькая борода азартно подёргивалась, а берет, без которого его вообще невозможно представить, был лихо заломлен. И вот этот самый Ромик наступал на меня, сжав кулаки.

Людей было в комнате предостаточно, одни жались к стенам, другие подзадоривали нас. До сих пор не понимаю, почему его никто не унял. Я ударил первым, и Ромик оказался под письменным столом. Вылезал он оттуда долго, ему помогли подняться, однако пыл его не угас. Это уже потом я узнал, что он был боксёром-разрядником и у себя в доме без конца молотил грушу на открытой террасе. Можно было мне и самому догадаться, видя выбитые суставы его правой кисти. Но я-то себе вообразил, что это просто узловатые стариковские руки. На ногах Ромик держался плохо: от выпитого его шатало. А может, он просто переигрывал, теперь уже сложно сказать. Но он опять стал наступать под одобрителный гул. Что и говорить, Ромик снова оказался на паркетном полу.

И тут мне стало стыдно, что я избиваю старика. А вдруг от меня теперь все отвернутся и перестанут уважать? Ведь Ромик — всего лишь старый пьяница, хотя и отличный поэт. И я решил подставиться. Чтобы ему не было так обидно, да и мне не совестно.

Он, видимо, прочитал мои мысли. Его глаза ещё больше сузились, и Ромик, выбрав момент, ловко подскочил на своих тощих ногах и впечатал в мою челюсть слева свой костистый кулак. И тут я почувствовал, как рушится мироздание. Посыпались мечты о литературных вершинах, которые я так и не покорил. Пошатнулась уверенность в том, что я лучший литератор всех времён

и народов. На ногах я удержался, однако почувствовал, как зубы хрустнули — мои молодые зубы. И я выплюнул на пол огромный кусок правого маляра.

Закончилась наша драка обычными в редакции возлияниями. Мы с Ромиком пили на брудершафт и даже обнимались. Дальнейшие отношения у нас сложились самые дружеские — драку эту мы никогда не вспоминали. Однако зуба у меня не стало. Пришлось удалять оставшиеся корни. Большой толстый стоматолог утешил, что мне есть ещё чем жевать хлеб. Одним словом, потеря была не смертельная.

Прошло с того времени лет двадцать. Уже и Ромика нет давно среди нас, однако эта история мне всё ещё аукается. И не только потому, что жевать без зуба трудно, но и потому, что с лицом моим стали происходить странные вещи.

Оттого что не стало крупного зуба, челюсть поехала влево, приобретая форму бумеранга, нарушилась симметрия нижней части лица. Зубы же верхней челюсти постепенно сточились с внутренней стороны, а с внешней обрели форму пилы. Иногда мне казалось, что они торчат из-под верхней губы, как у старого кота. Я даже жевать стал крайне осторожно, чтобы не рассечь язык и щёки. Я думал, что всё это незаметно под довольно толстым слоем мышц и кожи. Но я ошибался. По крайней мере, Милана эти детали уловила, и на холсте проступил мой истинный увечный облик.

От вида такого своего лица меня охватила лёгкая оторопь. Это был, конечно же, я, но не такой, каким привык себя видеть в зеркале.

Нравилась ли мне Милана как женщина? Да, безусловно. И, может быть, даже я попытался бы при определённых обстоятельствах за ней приударить, если бы не одна деталь. В уголке её губ замечен был красноватый шрам. Я долго мучил себя мыслью, смог бы я пересилить себя и поцеловать её в губы?

Ну так вот, в придачу к моим собственным уродствам в левом уголке моих губ красовался кровавый рубец. Милана заметила моё недоумение, но ничего не стала объяснять и поскорее выпроводила из мастерской, сказав, чтобы я приходил через несколько дней, когда портрет подсохнет.

Теперь тот портрет украшает одну из стен моей холостяцкой квартиры в Подлипках.

Идёт время, но я так и не свыкнусь с ним. Я никогда не смогу воспринимать его как собственное изображение. Однако всегда буду чувствовать, что Милана увидела нечто большее, чем просто отражение в зеркале. И чем дальше будет уходить время, тем меньше я стану на него походить. Да и гости мои будут воспринимать его как шутку и перестанут вздрагивать, переводя взгляд с портрета на моё лицо.

* * *

Кажется, я опять задремал, и в полумраке комнаты, на противоположной стене, странно гримасничало лицо в раме, отдалённо похожее на моё. Оно подмигивало и двигало челюстью, стараясь не то что-то прожевать, не то сказать.

А ещё мне привиделся отец. Он был обмотан крест-накрест пулемётными лентами. Смотрел на меня весело, а потом вдруг сказал: «Пошли на войну!» — но я сделал вид, что не слышу.

Я даже не приподнялся. Меня вообще здесь не было. Меня десять лет уже нет. Тогда он беспечно рассмеялся и стал подниматься на каменистый лысый холм. Поднимался легко, а я подумал, что мне передвигаться так быстро уже не под силу. Некоторое время я смотрел ему в спину, на ней белел крест. Он обернулся, но это был уже не отец, а Ромик Сардарян в лихо заломленном берете. Затем всё померкло от набирающего силу солнца и тяжело исчезло.

Я с трудом встал с постели и поплёлся на кухню. Свет не включил — было и так светло от фонаря во дворе, прямо из-под крана глотнул тёплой с привкусом резины и ржавчины воды, нашарил на кухонном столе сигареты, закурил, выпустил дым в открытую форточку. Посмотрел в треснутое мутное стекло. Там, внизу, в свете фонаря у клумбы с распустившимся яростным белым цветом чубушником неподвижно стоял человек в зелёном плаще и смотрел на мои окна. Некоторое время я наблюдал за ним, удивляясь, что кому-то тоже не спится. Посидел немного на скрипучем табурете, размышляя о войне. Если по совести, мне надо быть там, где рвутся под танками мины. И всё-таки, что я могу сделать? Ведь есть же обученная профессиональная армия. А я даже автомат толком разобрать-собрать не умею. А зрение. Можно, конечно, сменить очки на контактные линзы. А кредит. Кто заплатит банку проценты? Если не платить, то исчезнет всё, — и дом тоже. Казалось невыносимым бросить эту жизнь, взять билет и улететь на войну, никому ничего не сказав, отказавшись от текущих страстей, выбрав из всех возможных единственную цель — защиту родного дома. Но на войну всегда можно успеть — она только началась. Если вдруг стану нужен, то позовут, достанут и здесь. Вот будет мобилизация, тогда и поеду.

* * *

Я библиотекарь. А кем работать писателю, если не хранителем книг, памяти о знаменитых литераторах? Каждый божий день сажусь на электричку на своей станции в Подлипках и схожу в центр Москвы.

Библиотека — место поистине таинственное. Между стеллажами с книгами можно наткнуться на живых писателей. Пару раз в тесных книжных рядах сталкивался с Александром Сергеевичем. Я, помнится, поинтересовался у него, что он делает у нас, ведь ему самое место в Пушкинской библиотеке. Александр Сергеевич ничего не ответил, только посмотрел весело и озорно подмигнул. Я себе дал слово, если снова встречу между стеллажей Пушкина, то попрошу его подписать книгу. Будет интересно посмотреть, как вместо гусиного пера он использует гелевую ручку.

Здесь часто устраиваются встречи с писателями. Бывают концерты бардовской песни. Звучат стихи и прекрасная музыка. Древний чёрный рояль с канделябрами редко остаётся без дела. Есть и мемориальная комната, где живёт память о воронежском писателе-самородке. Да, чаще всего можно встретить в закоулках библиотеки именно его. Однажды я увидел его ищущим какую-то книгу

в разделе современного транспорта. Я не стал мешать. А в другой раз увидел, как он достал со стеллажа номер «Дружбы Народов», открыл мой рассказ и стал читать.

Я попытался подсмотреть выражение его лица, но оно было точь-в-точь таким же, каким его изваял в розовом живом граните Федот Сучков на стене Литературного Института. Кстати, я очень гордился, что его знаменитый роман напечатан впервые в том же журнале, где выходили в свет и мои некоторые рассказы. Вы думаете, что я что-то сочиняю? Нет, книжные стеллажи имеют свои тайны. Много раз перед самым закрытием библиотеки мы с охранницей Илоной Степановной вслушивались с усиливающимся беспокойством, как в недрах хранилища, где никого уже не должно быть, некто с силой перекладывает с полки на полку книги. Мы так туда и не пошли: она просто струсилась, а я не захотел разочароваться в том мистическом чувстве, которое на меня нагнал перестук передвигаемых в пустом помещении томов.

Своего человека за спиной я встречал и здесь...

* * *

Всю ночь кто-то колотил в дверь. С неуёмной настойчивостью металлическим предметом били в железный косяк. За окном вздрагивал свет фонаря. Я не встал, не подошёл к глазку. И так знал, кто там. В перерывах между ударами я слышал шум ветра и видел, как он треплет белую занавеску. Удивительно, но крики и стуки в дверь никого из соседей не разбудили. Затем я услышал, как что-то железное засунули в замочную скважину и попытались отомкнуть. Ковырялись долго. Затем механизм, кажется, поддался. Замок тяжело треснул с такой силой, будто на железобетонный пол ухнула двухпудовая чугунная гиля. Но мне было всё равно.

Летом ночью в Подмоскowie бывает холодно даже под толстым одеялом. Я плотнее укутался и стал засыпать. Сквозь сон мне всё ещё слышались крики и возня у моей двери, а утром, когда нежное солнце заблестело в кружевных кронах, всё как-то стихло.

* * *

Своего человека за спиной я чувствовал везде. Он был в толпе. Стоял ли я на перроне электрички, ждал ли автобус или поезд метро, — он стоял всегда рядом, всегда за спиной.

Он был готов на любую подлость. Мог толкнуть под колёса, швырнуть на рельсы, попытаться свалить на меня вазон с крыши, подсыпать крысиного яда в кофе или просто написать какую-нибудь клевету в управу.

Моя жизнь превратилась в непрерывный кошмар ожидания чего-то гнусного, несправедливого и смертельно опасного. Кем он был, я толком не мог бы сказать. Обличья у него были самые разные. Он мог вырядиться и в надушенный фрак концертмейстера, и в пахнущее мочой рубище бомжа, и в закапанную алым соусом форму официанта.

Моим человеком за спиной мог быть и безликий прохожий, и торговец с рынка, и рабочий-мигрант со стройки, и даже полицейский. Я понимал, что многие мои страхи надуманны, однако некоторые происшествия не давали разубедиться в моей болезненной мысли.

* * *

В Москве много странных уголков. Можно рядом с шумной и прекрасной Ленинградкой натолкнуться на поразительные объекты, находящиеся в унылом запустении.

Снести их ещё не решаются, а реставрировать никогда не будут. Одним из таких таинственных и притягательных мест является величественное сооружение неподалёку от Петровского парка, принадлежавшее вплоть до конца девяностых военной академии.

Мне кажется странным, что дом этот всё ещё имеет свой точный адрес. Ведь здание с такой славной историей, но лишённое своего будущего, не должно иметь места на карте. Оно просто тень прошлого — сюда не приходит корреспонденция, сюда не приедет такси с опаздывающим на встречу офицером-лётчиком в парадном мундире и при кортике. Адрес этот мёртв. Скорее всего, через пару лет очертания этого здания окончательно сотрутся, а на карте будет значиться ресторан или отель, — объяснил мне усатый и загорелый до черноты охранник.

С улицы здание прекрасно. Четыре мощные фронтальные колонны делают его похожим на старинный особняк князей Нарышкиных или графов Разумовских, которым эти земли когда-то принадлежали. Однако звёзды, пшеничные колосья, а также серпы и молоты на капителях развеивают это предположение. Здание огорожено железным двухметровым забором-временкой. Как будто здесь идёт стройка.

Во дворе образовалась стихийная автостоянка. Вид разноцветных легковых машин у парадного входа, не утратившего своего величия, сильно оживляет общую унылую картинку запустения.

Попасть сюда можно со стороны улицы имени военного лётчика. Здесь вообще никакого забора нет. Вход на территорию бывшей академии завален бетонными блоками и ржавыми металлическими конструкциями. Со двора — совсем неприглядный вид.

Июльские цветы и травы — пижма и крапива — вымахали в человеческий рост. В траве протоптаны тропы, что наталкивает на мысль о человеческом присутствии. Как бы не наткнуться на компанию местной шпаны. Но любопытство пересиливает, и ты идёшь дальше, где сквозь некошенные травы со стеблями в палец толщиной просвечивает полуразрушенное здание.

Живописные развалины производят впечатление своей мощью и могли бы послужить декорацией к какому-нибудь фильму, где на обломках цивилизации главный герой терзается о судьбах человечества.

К моему удивлению, на территории я обнаружил незавершённую стройку. Внушительных размеров котлован, из глубины которого торчал лес крепких

на вид свай. Дно же этого котлована давно превратилось, судя по буйно разросшимся камышам и осоке, в пруд с зацветшей водой, а на верхушках бетонных столбов сидели рыжие жирные огари. Я подумал о неприхотливости этих птиц, способных жить даже в таких странных условиях.

Ну так вот... Я в этом котловане просидел ровно одиннадцать дней вместе с утками, лягушками и ротанами, которыми мне пришлось питаться. Столкнул меня туда с бетонной балки некий похожий на рыболова человек в зелёном плаще. В течение всех этих дней он приходил удить рыбу с той самой балки, откуда меня столкнул.

Бёл он себя так, будто меня не было вовсе. Я бросал в него тинной и комьями ила, а также криками и проклятьями старался привлечь его внимание. А когда слишком уж надоедал, он доставал из-за пояса здоровый тесак и весьма красноречиво мне им грозил. Кстати, раза два он появлялся в компании с усатым загорелым охранником. Казалось, что охранник смотрит на меня сочувственно. У меня даже была надежда, что он кого-нибудь приведёт, вытащит меня из ямы. Однако этого не случилось.

Именно здесь я полностью уверился, что человек, идущий за мной по пятам, абсолютно реален. Когда угодно он может появиться за спиной и сделать любую мерзость.

Мои мучители не очень ревностно меня стерегли, видимо, пребывая в уверенности, что выбраться самостоятельно из этой ямы невозможно. Но мне удалось. Кто-то из моего прошлого, кого я очень любил, сбросил мне с глинистого берега петлю, за которую я и зацепился. Кто это был? В темноте я не разобрал. Может быть, писатель Ваан Тер-Казарян, а может быть, Антон Чехов. Бог знает...

* * *

Рядом с нашими пятиэтажными домами из сероватого силикатного кирпича есть большой пруд. С одной своей стороны он зарос рыжей осокой, а с другой — тростником, достигавшим по осени человеческого роста. Над прудом весной летают чайки, они исчезают куда-то летом. А рыжие огари и обычные серо-зелёные кряквы живут на пруду до самых заморозков, пока последняя полынья не затянется льдом. После того, как утки улетаются, полынья снова вскрывается и принимает звездообразную форму со странными извилистыми лучами, а окончательно исчезает только на Покров.

Тогда же на берегу пруда появляется табличка с предупреждением, что выход на лёд запрещён, — вместо летней, на которой было запрещено купаться. Частенько вокруг этой полыньи я видел крупные следы, которые почему-то не вели на берег, а петляли вокруг и снова уходили в тёмную воду.

Летом гладь озера покрывается листьями водяной капусты, а в глубине ржаво-зелёных вод видятся гроздья рдеста курчавого. Между этими зарослями прокладывают себе путь утки. А мальчишки, да и взрослые дядьки, каждый божий день здесь рыбачат. В небольших ведёрках можно увидеть и довольно крупного карася, и уродливого пучеглазый ротана — «бычка», как его здесь называют.

Как-то я подслушал разговор между взрослым и мальчишкой, что якобы в пруду живёт чудище Голодень. Мальчик рассказывал, что частенько леску натягивает, а затем обрывает какая-то большая сила, а в безветренные летние вечера по глади озера вдруг начинают ходить большие круги, набегающие на берег волнами. И увидеть чудище никому не удаётся. Взрослый посмеивался над рассказом мальчика, говорил, что под причалом просто живёт большой сом, которого не так-то просто выловить.

Зачем я душной июльской ночью, несмотря на все запреты и страшилки, залез в этот пруд искупаться, я вам не смогу объяснить. Наверное, потому же, зачем в своё время Дмитрий Менделеев пытался измерить глубину Бездонного озера в своём Шахматове. А может, потому же, зачем Колумб поплыл открывать свою Америку. Азарт исследователя и жажда острых ощущений.

В июле поздно темнеет и рано светает, а потому по-настоящему темно бывает только с двух до трёх пополуночи. В это время редко ездят полицейские патрули. В неподвижной, точно чёрное масло, воде отражались только два-три непогашенных окна нашей пятиэтажки.

Я скинул одежду и сложил её на лавочке. Бережок в этом месте довольно круто сходит к воде. Я предполагал, что дно окажется илистым, а вода даже в летнюю жару может оказаться холодной. Но это не остановило. Шагов через десять по скользкому дну вода мне дошла до пояса. Больше всего я опасался, что кто-нибудь увидит. Но всё было тихо. Теперь я мог уже плыть. Было странно разглядывать свой дом из центра пруда. За ноги цеплялись водоросли, обрываясь от резких движений.

Я плыл, раздвигая заросли водяной капусты, мимо кувшинок, которыми местами зарос пруд. Несколько раз крякнула и забила крыльями потревоженная утка.

Вода оказалась противной на вкус, но не такой холодной. Несколько раз я рискнул нырнуть, отметив значительную глубину водоёма. Сквозь мутную чёрно-зелёную воду мне светили окна дома и уличный фонарь. В этой воде плавали стайки мелкой рыбёшки, выпрыгивая перед самым моим носом, сверкая в свете фонаря серебряной чешуёй. Я решил выйти там, где была небольшая пристань для лодок. Это то самое место, где я подслушал разговор о чудище, живущем в пруду.

Я уже было нащупал ногами илистое дно и собирался выходить, когда на меня кто-то навалился сзади. Прикосновение даже в воде показалось скользким и холодным. Я изо всех сил рванул к берегу, проклиная свою глупость. Мне удалось быстро вырваться, но я поскользнулся, потерял равновесие и снова погрузился в воду. Кто-то массивный, ловко владея продолговатым рыбьим телом, проплыл мимо меня. И вдруг сквозь взбаламученную воду прямо в глаза мне с любопытной злобой заглянуло не то жабье, не то человеческое лицо. В выпученных глазах его была даже какая-то осмысленность.

Сквозь толщу воды я разобрал множество рыболовных крючков, застрявших в толстых губах. Один был огромного размера. Думаю, это существо — Голодень, он мог бы проглотить меня, но я довольно удачно пнул его в голову.

Не помню, как очутился на берегу. Было всё так же тихо. Я тяжело дышал, выплёвывая воду и тину. В моей пятиэтажке вдруг погасли одни окна и загорелись другие. Я подобрал свою одежду и тихо, чтобы не привлекать внимания, побрёл к дому.

* * *

Я лежал на спине в открытом море. Меня медленно колыхали солоноватые хрустальной чистоты воды, а в небе медленно разрасталось в сизовой дымке одно-единственное розовато-белое облако, похожее на громадный пенис. Некоторое время я замороженно смотрел, как в серо-голубом пустом небе увеличиваются в размерах фаллические формы, а потом вдруг понял, что не смогу объяснить, как сюда попал.

Берега не было видно. Куда ни глянь — горизонт в сизо-жёлтой дымке, а под ногами зеленовато-голубая бездна. Свои белые, совсем не загорелые ноги я видел очень хорошо во всех деталях, а дно не просматривалось. Туда, в тёмную глубину, уходили перемежающиеся солнечные лучи, и что-то мне подсказывало, что до дна не достать.

Я попытался напрячься и вспомнить, как я тут оказался, но коварная память не открывала своих секретов. И только облако-фаллос, словно намекая на какие-то события моей прежней жизни, разрослось до невероятных размеров и стало потихоньку распадаться.

К моему удивлению, здесь я оказался не один. Рядом был собрат по несчастью. В полуметре от меня в воде перебирал лапами большой жук весьма угрожающего вида. Блестящий, чёрный, с кулак величиной, с большими рыжими зазубренными жвалами. Какой-то весьма редкий вид, подумалось мне. Жук отчаянно перебирал лапками, однако с места сдвинуться не мог. В отличие от него я был в лучшем положении. По крайней мере, вполне владел своим телом и, пусть медленно, но мог в воде перемещаться.

Я ещё раз попытался вспомнить, каким образом здесь очутился, но тяжкие усилия не приводили меня к сколько-нибудь правдоподобным версиям. А с жуком было всё проще — летел себе, заблудился и упал в воду. И если он здесь плавает со мной рядом, то, возможно, берег не слишком далеко.

Я снова посмотрел в бездну под своими ногами и ужаснулся, такой она мне показалась мрачной. Некоторое время я наблюдал, как подо мной проплыла громадная медуза с длинными щупальцами и пульсирующим куполом, отороченным фиолетовой каймой. Полупрозрачная, она стремилась вниз, в темноту. А потом стало жарко, и воздух насыщался морской влагой. На небе вновь появились облачка, однако мне они уже ничего не напоминали.

Жук выбивался из сил и даже, кажется, захлёбывался. Стало жаль бедолагу. Я подставил ему спину, и тот охотно по ней заполз мне на затылок. Я почувствовал, как жёсткие хитиновые лапки вцепились в волосы. Было немного больно, но я готов был терпеть. Кажется, жук у меня в волосах устроился вполне удобно. Быть может, он даже сможет улететь, когда его крылышки просохнут. Своего наездника я решил назвать Абаго, по имени бога-жука, культ которого известен среди диких народов Африки. Главное,

не мочить голову. В отличие от Абаго, я не мог никуда улететь. Я даже не знал, в какую сторону плыть.

Я был уверен, что моя белая кожа покраснела и пошла волдырями. Однако нырнуть, чтобы освежиться в прохладных глубинах, не решался. Я мог бы погубить единственного своего товарища, сидевшего у меня в волосах. Я был благодарен, что он связал свою судьбу с моей и не пытался меня покинуть.

К вечеру мимо проплыло пёрышко, судя по всему, недавно оброненное морской птицей. Следом попалась пластмассовая пробка от минеральной воды. На ней была надпись на диковинном языке. Стали попадаться всё чаще и чаще истлевшие, выбеленные морской водой и солнцем листья экзотических деревьев. А раз мимо моего носа проплыл белый пластиковый стаканчик с прикрепившимися к его внутренней части мидиями. Попался мне и железный красный буй, унесённый штормом в открытое море. Да, я недалеко от берега.

Солнце в моём море село прямо в воду. Я стал свидетелем удивительного по красоте заката. Огромное красно-оранжевое светило несколько раз проглядывало сквозь тучи, находившиеся на разном удалении от нас с Абаго. В одно мгновение между облаков вспыхнула и исчезла в закатном воздухе радуга.

Пока я наблюдал закат, жук переполз мне на темя, и я понял, что он вместе со мной вглядывается в полыхающее зарево. После захода солнца ещё часа три было светло, однако непроглядная тьма постепенно тяжело завладела всем вокруг. Казалось, исчез даже воздух.

Ночью полил дождь. Прямо в море били ослепительные молнии. Тяжёлые капли с силой барабанили по темени. Дождевая вода по волосам стекала в рот. Так удалось немного напиться. Было страшно, но неизвестно откуда взявшаяся в небе рыжая звезда придала мне силы. И ещё мой друг, жук Абаго, помогал справиться с острым чувством безысходности, неослабевающей хваткой вцепившись в волосы на моей голове.

Утро наступило внезапно. Небо было исчерчено белыми полосами перистых облаков. Оказывается, в воде звуки распространяются дальше и слышатся по-иному. Я рассматривал тёмный хребет большой рыбы, проплывавшей между ног, когда услышал это. «Это» напомнило пронзительный визг циркулярной пилы. Я всем телом ощутил дрожь воды. Рыба у ног метнулась в чёрно-зелёную глубину, а жук сильнее вцепился мне в волосы. Через некоторое время я увидел то, что издавало этот нестерпимый звук. По зелёной воде на большой скорости, выбрасывая яростную струю воды, мчался гидроцикл. Верхом сидели двое — мужчина и женщина. Оба молодые, какого-то дикого вида, со спутанными длинными волосами, загорелые до чёрно-кофейного оттенка.

На женщине был красный спасательный жилет. Мужчина радостно показывал рукой в мою сторону и что-то кричал женщине. Я понял, что не ждать мне от них ничего хорошего. Тут водяная машина, щедро разбрасывая брызги, описав дугу, стала заходить мне за спину. Квадроцикл, набирая скорость, полным ходом понёсся прямо на меня. Я, конечно, мог бы нырнуть, но не стал этого делать. Вблизи они развернулись, отлетели на приличное расстояние и опять понеслись в мою сторону. На этот раз в руке у мужчины я заметил устрашающее помповое ружьё. Он обнажил в радостной улыбке крепкие зубы. Женщину, видимо,

ситуация тоже забавляла. И тут я почувствовал, как на затылке расправились сильные перепончатые крылья, и лапки жука отпустили мои волосы. И я нырнул метра на два в глубину, чтобы уклониться от неминуемого столкновения. Я не спешил всплывать, и в полуметре от себя увидел длинную полосу пузырьков, проложенную пулей. Она уходила в тёмную бездну. Затем появилась ещё одна полоса, и ещё... Мой противник стрелял. Но вот всепроникающий вой циркулярки внезапно оборвался. Наступила тишина. Я вынырнул и увидел, что мужчина яростно отмахивается от кого-то в воздухе. Затем схватился за глаз и некоторое время в напряжённой неподвижности держался обеими руками за лицо. В непроизвольных конвульсиях он сполз, и тело его погрузилось в воду. Было видно, что лицо его сильно раздулось, а левый глаз вылез из орбиты. Женщина оторопело смотрела на тонущего. Мой друг Абаго оказался ко всему ещё и весьма ядовитым существом.

Не теряя времени, я забрался на гидроцикл. Женщина не препятствовала и смотрела на меня со смесью ужаса и восхищения. Откуда-то я знал, как управлять этой мудрёной машиной. Тут сзади я расслышал жужжание перепончатых крыльев. Что-то больно вцепилось мне в затылок. Я огляделся, берега всё так же не было видно. Но на горизонте разрасталось большое облако, напоминающее выбеленный солнцем череп хищного динозавра, а за спиной у меня сидела чужая женщина.

И я рванулся навстречу неизвестности.

* * *

За всеми этими странными событиями, видениями и историями я не забывал о войне. Я прекрасно понимал, что враг достанет меня и здесь, и нужно что-то делать. На видеоканалах сплошь кровь, разлетающиеся вдребезги дроны, горящая техника, разбитые дома и изувеченные человеческие тела.

Я внимательно следил за новостями, но пока не видел необходимости ехать самому на войну. А как же всё-таки помочь? На некоем официальном сайте нашёл счёт, по которому можно перечислить деньги. В реальном времени крутился счётчик пожертвований на нужды армии. Решил пожертвовать и я. Вот здесь-то и началось самое смешное. Я стал прикидывать, сколько денег могу оторвать от себя, чтобы моя налаженная жизнь не сломалась и не изменилась, чтобы особенно не пострадать самому. Естественно, прикинул, сколько должен банку за жильё. Прибавил сюда необходимые расходы на еду и одежду. Не забыл плату за коммуналку. Расходы на транспорт. Мелкие расходы. И подсчитал. В итоге у меня остался такой мизер, что стыдно сказать. Стало любопытно, что же можно приобрести для армии на эти деньги. Порывшись в интернете, я понял, что можно купить несколько патронов для автомата Калашникова. Какой бы эта сумма ни казалась смехотворной, я всё-таки её перевёл. Анонимно, разумеется, чтобы не позориться.

Мне показалось, что я выполнил свой долг, и совесть моя перестала давала знать о себе так остро и мучительно. Я по-прежнему следил за новостями и на электричке ездил на работу. Порой, в библиотеке встречал великих писателей между книжными шкафами. А иногда даже удавалось с ними обменяться

многозначительными взглядами. Мой человек за спиной в зелёном дождевике стал появляться гораздо чаще. Его я мог встретить на пруду, где он пристально вглядывался в меня с другого берега. Он старался подойти предельно близко на станциях метро, замышляя какое-то своё чёрное дело. Всякий раз, когда на открытом перроне тяжело и неотвратно подъезжала электричка, я замечал его за спиной среди угрюмой толпы пассажиров. А как-то раз я брёл по унылой улице мимо рынка и увидел его в проржавевшей насквозь страшного вида «газели». Он сидел рядом с ухмыляющимся водителем, и тот предложил куда-нибудь меня подвезти. А ещё раз в пустынном и гулком подземном переходе через Ленинградку я увидел его верхом на электровелосипеде. Два раза он с визгом мчался прямоком на меня, явно намереваясь сбить. Однако всякий раз мне удавалось укрыться за бетонной колонной.

* * *

Это был странный белый и прозрачный от тающего снега день. С крыш сходили с грохотом сугробы, а воздух просматривался словно сквозь чистую тонкую льдинку. На белом поле пруда в томительном нетерпении сидели в ожидании первой воды огари. Некоторые сугробы оказались никакими и не сугробами вовсе, а занесёнными автомобилями. В самых первых лужах уже полоскали свои пёрышки перезимовавшие голуби. А в сизо-голубом небе, словно мечта о лете, оставался белоснежный след микроскопического аэробуса. В такие дни легко думается, видится и слышится без всякого напряжения. А в охлаждённой стужею голове начинает зреть замысел новой повести.

Утомлённый избытком света день сменялся тихим и безмятежным вечером. Небо медленно насыщалось драгоценною синью, а затем стало и вовсе сапфировым. И под этим прозрачным небом всё быстрее разгоралась бриллиантовая россыпь огоньков. Засветились окна и в моей квартире. Но это могло мне только показаться, ведь меня никто не ждал. Я был один в этом пахнущем снегом и чистой талой водой мире. Однако окна мои всё-таки горели жёстким электрическим светом. Наверное, я сам. Я сам забыл погасить, когда уходил.

Я поднимался с этажа на этаж, под ногами лежал незатейливый узор из рыжей и чёрной метлахской плитки. Я проходил мимо деревянных входных дверей с почтовыми ящиками немыслимой конструкций, им было не менее полувека. Ящики, как и сами двери, были выкрашены коричневой масляной краской.

А в подъездные окна уже заглядывал тёмный вечер. Наконец, я нашёл большой тусклый железный, словно от сейфового замка, ключ. И ключ этот был от всей моей жизни, на нём был выбит длинный серийный номер. Я уверен, что больше такого ключа нет ни у кого в целом мире.

Я стоял в своей комнате и чувствовал, как подгибаются колени. На спинку кресла аккуратно был наброшен зелёный дождевик армейского образца. Кто-то проник в квартиру и даже не пытался скрыть своего присутствия. Я понимал, что человек этот уже стоит за моей спиной, однако сил обернуться уже не было.

Вдруг пахло тиной и гнилой рыбой. Теперь я знал, кто это стоит за спиной. Этот кто-то навалился сзади, схватил за шею и повалил на пол. Я попытался зацепиться за кресло, но только опрокинул его. Я оказался между креслом и кроватью, поэтому мой противник не смог навалиться всем весом. И я успел перевернуться на спину.

У моего врага было человеческое лицо. У него даже были чёрные усики. Он не терял времени и успел достать тесак, каким обычно потрошат рыбу. Почему он не убил меня сразу? Не знаю. Думаю, был уверен, что справится со мной и так. А потом, хотелось, видимо, поизмываться, всласть насладиться победой. Ведь он так долго ходил по пятам, а теперь вот навис надо мной, и образ его расплывался, точно в воде. Он помахивал своим ножом, выбирая, куда бы его воткнуть, но так, чтобы не убить сразу. В лице его набирало силу глумливое отвращение. И я понял, что он тянуть не будет. Подскакивающее и опускающееся лезвие ножа в его руке уже нацелилось мне в шею. Наконец, убийца занёс руку над моим горлом. И тут я услышал металлический визг. От удара пули лицо моего мучителя развалилось на кровавые половины, а его тело медленно опало на паркетный пол. Я с трудом вылез из-под него, перевернул опрокинутый стул и сел. Мой враг не шевелился. Облик его потерял всякое выражение, и только карий глаз над чёрным усом всё быстрее заволакивал холодок нежданной смерти.

Каким образом и что меня спасло, я не мог толком объяснить. Откуда влетела эта пуля в пространство моего дома, не разбив при этом оконного стекла, не повредив стены, было непостижимым. Однако она откуда-то прилетела. Странная догадка осенила меня и стала приобретать всё более осмысленные формы. Ведь не далее как вчера я перевёл деньги на нужды армии. Я был озабочен безопасностью своей страны и своего народа, а потому спасительная пуля не могла не прилететь в нужную минуту.

Я вышел на балкон, посмотрел с высоты четвёртого этажа на пруд с потемневшим от набухающей влаги ледяным панцирем. И подумал, что уже через месяц мальчишки и рыбаки постарше здесь снова будут удить рыбу и рассказывать жутковатые истории.

Александр Горохов

Ирочка

Рассказ

1

Ирочка давно хотела перерезать горло мужу. Но не было удобного случая. То отношения налаживались, то дочка хворала, то не было денег на еду, а то, наоборот, приносил хорошую зарплату. Хотя перерезать ему горло или задушить ночью подушкой Ирочка твёрдо решила.

Потому что муж был сволочью. По ночам он опрыскивал её, Ирочку, дочку и даже кота какой-то гадостью, и когда они, одурманенные, засыпали, приводил в дом любовницу и сношался с ней до утра.

Она просила мужа не трогать хотя бы ребёнка. Не отравлять его этими опрыскиваниями, но муж орал, говорил, что у неё крыша поехала, крутил пальцем у виска. А один раз, когда она, заботясь о здоровье ребёнка, пыталась поколотить этого подонка, чтобы он, наконец, понял, что не надо их мучить, даже ударил её. Два раза.

Ирочка тогда и решила, что такой негодяй не должен жить.

Каждое утро, когда она видела, как зевает сонный кот, как не хочет просыпаться дочка, Ирочка повторяла про себя: «Ничего, подонок, скоро ты сдохнешь».

Она завязывала на ночь двери верёвкой, подставляла шкаф для одежды, чтобы не допустить проникновения любовницы. Но муж умудрялся верёвку развязать, шкаф отодвинуть и впустить, а утром выпустить из дома, верёвку завязать и пододвинуть шкаф к двери так, как будто никто и не заходил.

Но Ирочка замечала некоторые тонкости.

Ирочке было непонятно только одно: как этому подонку удаётся находить и периодически менять любовниц, которые ночью по тёмным улицам невесть откуда не боятся идти к нему, а потом под утро возвращаться назад к себе.

Горохов Александр Леонидович родился в 1948 году. Окончил Волгоградский политехнический институт, кандидат технических наук. Печатался в журнале «Москва» и альманахах. Автор более девяноста научных публикаций и трёх книг прозы и поэзии. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Ирочке было непонятно, чем он их приманивает. Зарплата у мужа маленькая, сам лысый, пузатый и в сексе не очень. Вдобавок изо рта у него воняет гнилым зубом. Ответ на этот вопрос не давал Ирочке покоя, и она, чтобы ответить на него, решила, что этот ответ очень прост: муж — подонок!

Сдерживало Ирочку только одно. Дочка любила отца и в их ссорах была на его стороне. Хотя Ирочку дочка тоже любила и просила не ругаться с отцом, а жить мирно и дружно.

Вчера дочка уехала в спортивный лагерь на лето, и надо было срочно действовать.

Ирочка продумала всё до мелочей.

Мужу и соседям сказала, что уезжает на несколько дней к своей матери, действительно сделала так, чтобы все видели, как поехала.

В троллейбусе Ирочка нарочно, чтобы кондукторша её запомнила, протянула за билет тысячу рублей, сказав, что мелких у нее нет. Кондукторша долго ворчала, собирая сдачу, и, набрав, отдала Ирочке кучу бумажек и целую горсть мелочи. Ирочка тоже для вида поворчала и вышла из троллейбуса возле дома матери.

Поздно вечером, угостив мать тортом и подмешав к заварке снотворного, Ирочка дождалась, когда та заснёт, и, переодевшись в тёмно-серое, неприметного вида платье, отправилась обратно домой.

С собой Ирочка захватила тряпичную сумку, в которую положила нож, завёрнутый в полиэтиленовый пакет, и ещё, сверх того, в тряпку. Нож этот Ирочка нашла месяц назад. Когда нашла, сообразила, что это послание Господнее, знак Божий и пора действовать. Она осторожно, чтобы не оставить отпечатков, подняла нож с асфальта так, как видела в кино про следователей и бандитов, — взяв его пальцами, засунутыми в полиэтиленовый пакет. Ирочка была уверена, что на ноже остались отпечатки того, кто потерял этот нож, и думала, что при таком варианте её никогда не найдут и даже не заподозрят. Про потерявшего ножик она и не думала.

Отойдя от дома матери два квартала, Ирочка остановила машину и попросила довезти её, но адрес указала не свой, а тоже в двух кварталах за своим домом.

Пробиралась к дому Ирочка очень осторожно. Шла по той стороне улицы, где не было фонарей, и как только вдали появлялся какой-нибудь прохожий, пряталась в тень. В подъезд Ирочка вошла только тогда, когда оттуда вышли все полуночничавшие малолетки и алкаши, когда убедилась, что народ спит и никто её не увидит. Дверь Ирочка закрыла за собой тоже осторожно, чтобы не стукнула пружина, не заскрипели петли. Тихонько на цыпочках она прошла три этажа и остановилась у родной двери. Прислонила к ней ухо. За дверью было тихо.

2

Муж у Ирочки тоже был не дурак. Когда он узнал, что жена отправилась на неделю к матери, почувствовал редкостное облегчение от своей скандальной жизни и решил расслабиться. Отправился в магазин, купил три литра пива, леща холодного копчения, хлеба и на всякий случай чекушку водки.

Пиво муж поставил в холодильник, а рюмку из чекушки выпил. Так он окончательно почувствовал вкус свободы и позвонил другу:

— Витюля, я пиво уже в холодильник поставил. Пока ты подойдёшь, оно будет нужного градуса.

— А где твоя?

— Моя ненаглядная, в смысле глаза бы на неё не глядели, укатила к своей матери на неделю.

— К какой матери? — переспросил Витюля, имея тонкое чувство юмора. Оба довольно заржали.

Через полчаса Витюля действительно прибыл. Вместе с ним прибыли его дружок Колян и три пол-литровые бутылки самопальной водки, которую тот добывал почти бесплатно у соседки, приторговывавшей этим зельем. Кроме водки ностальгически настроенный Николай принёс трёхлитровую банку томатного сока. То ли вспомнил времена юности, когда этим разбавляли водяру, называли «Кровавой Мэри», кривились и пили, то ли просто стащил в магазине.

Нехватку закуски компенсировали обилием выпивки и вскоре, разомлев от летней жары, задремали.

Проснувшись в пятом часу вечера, отправили Коляна за добавкой и, приняв ещё по столько же, разошлись по домам. Причём Ирочкин муж вместе с Витюлей отправились к Витюле, а Колян остался отдохнуть.

3

И отдохнул.

Когда Ирочка прокрадывалась в собственную квартиру, открывала дверь, бесшумно проворачивая ключ в скважине, притворяла её, но не запирала, чтобы не шуметь, и, сняв туфли, пробиралась в спальню, обнажив, извините за каламбур, нож, Колян проснулся от страшной жажды и, нащупав банку с остатками томатного сока, присосался к ней. Свет в комнате приятели забыли выключить, однако Колян глаза не открывал, чтобы не раздражать и без того измученное зрение. После второго глотка он захлебнулся, опрокинув на себя содержимое банки, и в отчаянии заснул.

Ирочка, просунув голову в спальню, увидела кровать и в ней мужа, залитого кровью.

От ужаса она заверещала трудно повторяемым, но страшным в звучании тембром. Визг длился минут десять. К этому времени собаки завывали, соседи проснулись, выскочили на лестничную площадку и, увидев незапертую дверь Ирочкиной квартиры, в порыве отчаянной храбрости, возникшей, наверное, под воздействием визга, ворвались в квартиру и вбежали в спальню.

Посередине спальни, размахивая ножом, визжала Ирочка, а в кровати лежал вовсе не Ирочкин муж, а чужой мужик, залитый кровью.

Бдительные соседи заломили руки и связали Ирочку, выволокли её на кухню, закрыли, чтобы не затоптать следы, дверь в спальню и вызвали милицию.

Ирочка немного отдышалась, перешла с визга на рыдания, а затем на нечленораздельную речь и всхлипывания.

Её монолог сводился к одной многократно повторяемой фразе и звучал, примерно, так: «Это не я его зарезала, я его не убивала, он был такой, он сам зарезался!»

Милиция прибыла на редкость быстро.

На вопрос «в чём дело?» соседи рассказали про убийство, задержание и сообщение в милицию. Милиционеры, молодые курсанты-практиканты, мельком заглянули в спальню, увидели окровавленное тело на кровати, сказали «понятно» и сообщили по шипящей рации об убийстве на бытовой почве, задержании подозреваемой и необходимости приезда следственной бригады.

Получив команду ждать, они закрыли дверь в спальню, прошли на кухню, переписали соседей как свидетелей, отпустили их по квартирам досыпать, а сами на двух табуретах остались ждать более опытных соратников по борьбе с криминалом. Ирочка, всхлипывая и повторяя, что она ни в чём не виновата, что ни кого не убивала, сидела на третьем табурете. Её голос убаюкивал блюстителей порядка.

В это время Колян, переполненный продуктами переработки выпитого, проснулся. Обматерил пролитый томатный сок, вымазанные простыни, остальное, что попало на глаза, и отправился в туалет.

Ирочка вторично заверещала. Курсанты проснулись. Соседи выскочили из квартир.

Колян сопротивлялся, как мог, но одолеть молодых тренированных и вдобавок трезвых практикантов не сумел. Его скрутили и приступили к допросу.

Он выбрал гениальную тактику защиты. Утверждал, что был пьян, ничего не помнит и не знает. На вопрос, за что он убил Ирочкиного мужа, ответил, что никого не убивал.

А на вопрос второго, кто же тогда убил, показал не моргнув глазом на Ирочку.

Прибывшая в это время оперативная группа труп не обнаружила.

Обескураженные практиканты заявили, что в то время, пока они проводили первичное дознание, Ирочка их отвлекла, а её сообщник перепрятал труп с целью его сокрытия, но они, как бдительные стражи закона, сумели его задержать.

— Чего? — опроверг их Колян. Но его голос услышан не был.

Убедившись в отсутствии трупа, профессионалы впали в особый раж. Они начали проводить следственные действия с особым пристрастием, а именно обыскали все закоулки квартиры и балкон.

В процессе обыска была найдена бутылка водки, породившая в мозгу Ирочки и Коляна одну и ту же мысль, не принятую говорить о покойниках: «Заныкал, падлюка!!!»

Кроме того, было найдено двести рублей, старых, ныне не действующих, запрятанных Ирочкой от мужа давно, очень давно, и потом забытых, а также её золотое кольцо, года два назад подаренное Ирочкиным мужем любовницам, но, как теперь оказалось, утерянное самой Ирочкой. Муж за кольцо был презираем и бит. Тогда-то у Ирочки впервые и возникла мысль перерезать ему горло.

Труп обнаружить не удалось.

Колян в коридоре долбанули под дых и шёпотом спросили:

— Куда, гад, дел труп?

Колян заорал не столько от боли, сколько для того, чтобы народ слышал, как пытаются невинных граждан. От него отвязались, но надели наручники и поставили с широко расставленными ногами, лбом уперев в стену комнаты.

В это время в квартиру вошёл эксперт-криминалист, замешкавшийся с приездом на место преступления по причине небольшого перекуса.

— Ну, — спросил он людей в погонах, — улики все затоптали или по недоразумению что-то осталось?

— Ничего не трогали, только сделали обыск.

— Ну-ну, — обречённо вздохнул он.

— Мы место преступления не трогали, — оправдывался старший.

— А где оно, это место?

— Кровать. Вся в крови. К ней не приближались.

— Ну-ну, — примирительно ответил словоохотливый криминалист и подошёл к грязной и скомканной постели.

Сначала его лицо выражало внимание, потом процесс осмысления, затем недоумения и, наконец, презрения к коллегам.

— Идиоты, это томатный сок. Пожрать толком не дали.

Эксперт сам приступил к допросу, в процессе которого выяснил, где теперь может находиться Ирочкин муж.

Колян вспомнил номер телефона Витюли, тому позвонили, и после пятиминутного гудения трубка охрипшим от принятого голосом хозяина ответила.

Эксперт представился, попросил разбудить Ирочкиного мужа, и когда тот взял трубку, велел срочно вернуться домой, пригрозив в случае задержки арестом. Законопослушный муж через мгновение был дома.

Убедившись, что все живы, убитых, зарезанных, покалеченных нет, полиция составила протокол и уехала. Соседи тоже разошлись. Ирочка осталась на кухне одна. Муж, не до конца понявший, что произошло, походил по комнате, поворчал и тоже пришёл на кухню.

Ирочка посмотрела на него и зарыдала. Она плакала сначала просто потому, что началась истерика, потом из-за того, что хотела зарезать своего дурака да не сумела. Потом плакала потому, что любила его, любила, несмотря на вечное безденежье. Плакала из-за неудавшейся жизни, из-за того, что осенние сапоги прохудились, а купить новые нету денег. Плакала из-за того, что надо помогать дочке, только начинавшей самостоятельную жизнь, но нечем. Муж обнял её, стал успокаивать, гладить по голове и говорить, что всё пройдет, образуется, что будет хорошо.

А Ирочка сидела и заливалась слезами, уткнувшись в его мягкий живот, в майку, вылезшую из-под рубашки с оторванной пуговицей, и плакала от счастья, что не зарезала его, такого родного и любимого.

Григорий Князев

На вселенском сквозняке

На велосипедах

Пронзительный ветер качает
Деревья,
 бельё,
 провода,
И воздух сыреет, крепчает,
Всё зреет и зреет вода.

Мы в солнечных кепках и кедах,
Две радужные стрекозы,
Несёмся на велосипедах —
Ты с детства боишься грозы.

— Настигнет всерьёз — неужели?
— Быстрее педали крути!
Успели,
 успели,
 успели —
В минуте от ливня — уйти.

* * *

Мне от падений и опозданий
Защиты нет —
Лежу, упавший, на чемодане:
Прощай, билет!

II

Длинный год — никак не минует...
Испытует, экзаменует
И вдовца, а с виду — юнца.
Мне осилить бы вместе с горем
Эту реку, ставшую морем, —
Ни начала ей, ни конца.

Мне прорвать бы дамбу — горячим
Благодарным и светлым плачем,
Оказаться на берегу,
Где на ясных широких волнах
Расцветает солнце-подсолнух,
Спит подснежник, прячась в снегу.

Роковая близится дата.
Не обидою сердце сжато
В напряжённо большой кулак,
Но такой усталостью лютой,
Но такой бессонною смутой,
Что и плыть-то, плакать-то — как?..

* * *

Нахлынут горлом и убьют!..

Б.П.

Боюсь, боюсь я цвета красного —
В нём слышу крик большой беды,
В нём вижу знак удара властного:
Сперва — рождения опасного,
А вскоре — гибели звезды.

Но сердца ровное горение —
Не тлей, и не перегорай,
И не взрывай стихотворение,
Как могут бунтари и гении, —
Выплёскивая кровь за край.

На пороге

О, одиночество, как твой характер крут...

Б.Ахмадулина

Дождь набирает обороты,
И тянется за нитью нить,
Чтоб землю с небом в час работы
Суровым швом соединить.

На чердаки и черепицы
Стежки короткие кладя,
Скажи, куда нам торопиться,
Машинка швейная дождя?

Пока твои тупятся иглы,
Вонзая в крыши остриё,
В пути меня врасплох застигло
Взросленье позднее моё.

У времени в широком устье
Ещё немного постою
И гляну с нежностью и грустью
На жизнь мою,
На жизнь мою.

Фестивали и конкурсы

XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВОЛОШИНСКИЙ КОНКУРС

Номинация журнала «Дружба народов»:

«ЕСТЬ ДУХ ИСТОРИИ — БЕЗЛИКИЙ И ГЛУХОЙ...»

Лауреат:

Дарья СЕЛЮКОВА (Белгород)

Дипломанты:

Роман ВОЛИКОВ (Мурманск)

Александра КРАВЧЕНКО (Курск)

Елена ЧЕРНИКОВА (Москва)

Андрей ШАТОХИН (Орёл)

Двадцать два года чтения: от сетевых поэтов до всеписателей

Я двадцать два года читаю Волошинский конкурс — как эксперт, как член жюри, как редактор и простой читатель. Читаю поэзию, прозу, драматургию, критику, эссе — в разные годы в конкурсе было много различных номинаций. Сейчас остались те, с которых мы когда-то и начинали, — поэзия и проза, базовые жанры литературы.

Авторы, темы, стилистика все эти годы меняются. Когда-то начинавшие авторы, участники Волошинского конкурса, давно стали мэтрами и членами больших жюри. Пришли новые молодые (и не очень) писатели заявить о своих правах. В начале 2000-х это были сетевые писатели из только ещё зарождавшегося русского интернета. Сегодня интернет — гораздо большая часть жизни современного человека, чем двадцать пять лет назад. И писатели-блогеры сегодня успешно конкурируют с писателями обычного книжного формата.

В литературе меняются поколения, не меняются только сами люди, как когда-то заметил Михаил Булгаков устами своего персонажа. Их по-прежнему волнуют жизнь и смерть, война и мир, любовь и Бог. После миллионов написанных об этом книг сказать что-то новое на эти темы невероятно сложно. Нужно вообще иметь большую смелость, чтобы писать про это.

Однако сейчас, на мой взгляд, уникальное время «всеписателей». Сейчас пишут все. И все всех учат писать. Это как период всеобщей грамотности — вначале учатся писать, а потом из этой массы научившихся элементарной грамотности начнут выкристаллизовываться те авторы, кто слышит другую радиоволну, — радио Бога, радио вечности. Всеписатели падут, развеются, рассыпятся в прах, мир перевернётся вокруг своей оси, взойдёт новое солнце и осветит новую землю. Так будет. Может быть, через сто лет, может быть, через пятьдесят. А может быть, гораздо быстрее, чем можно себе представить. Новый Достоевский и новый Пушкин стоят за дверью.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей список победителей в номинации журнала «Дружба народов» и рассказы некоторых из них.

*Андрей КОРОВИН, поэт,
организатор и вдохновитель Волошинского конкурса*

Дарья Селюкова

Ночная лига пинг-понга

Рассказ

Живопись ей всегда давалась лучше, чем графика: глаз сам цеплялся за цвета, из них уже создавая формы.

Она навсегда запомнила, какого цвета было небо в то утро, когда бежала к банкомату.

Ясное, тёмно-синее, — чем ближе к яркой луне, тем голубее. И предрассветные звёзды как холодные льдинки.

Банкомат был рядом с домом, деньги в нём оставались, — не все ещё проснулись от грохота и дрожи стёкол, не все прочитали новости.

С первыми лучами солнца заклеивали с подругами окна малярным скотчем, крест-накрест. Откуда они узнали, что так надо? Не мама сказала, точно. Может, вспомнились бабушкины истории.

Собрали «тревожную сумку», скинули туда все лекарства из холодильника, какую-то одежду. К счастью, Маше нужно было на работу, иначе она с ума бы сошла: тело требовало движения, сердце колотилось. Остановись на секунду, и тебя захлестнёт водоворот: не успеешь, не узнаешь, не убежишь...

Но люди приходили за кофе как обычно. Невыспавшиеся и бледные, вполголоса обсуждали за столиками, кто где был, кто что слышал, кто как узнал, уезжать или нет... Каждые пять секунд проверяли городской канал в «Телеграме». Запивали бесплатной подкислённой водой валерьянку.

— Дейнека странный, — сказала Влада за неделю до. Или за две недели до?

Вся зима слиплась в грязный снежный ком. Она тогда листала альбомы советских художников, прямо в кофейне писала курсовую за себя и за Машу, ничего не успевавшую из-за конкурса.

— Смотри, что он пишет: «Сквозь выюгу, снег, который сечёт лицо и рвёт с плеч плащ-палатки, мчался танк с людьми на нём, в масле, копоты, обледенелыми, с обожжёнными морозом лицами и заснеженными бровями и ресницами. Это был Микеланджело, барочное буйство человека и природы...». Это же танк, машина смерти. Какое барокко? При чём тут Микеланджело?

Селюкова Дарья Александровна — писатель-фантаст, переводчик. Родилась и живёт в Белгороде. Окончила Белгородский государственный университет. Печаталась в «Дружбе народов» и «Сибирских огнях», трижды стипендиат «Липок».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 9.

Тогда Маша тоже не поняла. Не поняла и потом: не было в танках никакого «барокко», — они ехали на больших грузовиках, маленькие и понурые, как наказанные дети.

Влада сняла очки, потёрла усталые глаза.

— Ладно, ты лучше наброски для конкурса покажи. Я ради чего тут сижу?

Маша нырнула под прилавок, сделав вид, что надо срочно достать документы для курьера, который даже ещё не звонил.

Наброски были. Такие, что Влада её вместе с планшетом в окно выкинет, и никаких больше курсовых.

— Ну... Давай я тебе лучше концепцию расскажу. Это конкурс датской Академии искусств. Я решила взять какую-нибудь скандинавскую легенду. Тор, Один — вот это всё.

— Это же все будут рисовать. Тогда уж лучше что-нибудь не очень известное.

Маша усмехнулась, но невесело. Конечно, она знала, что это банальщина. Но больше ничего в голову не шло.

— Я подумала... Есть легенда об Аслауг, которой Ярл сказал прийти не голой — не одетой, не пешком — не верхом, не сытой и не голодной, что-то такое. И у нас есть такая же сказка про умную крестьянскую дочь. Соединение народов через сказки. Только как это нарисовать...

— Помнишь, как Егорыч всегда говорит на пленэре? «Глаза есть, значит, рисуешь. Ты увидь!»

— «Слоны, вон, без рук даже рисуют, хоботом», — продолжила Маша и улыbnулась. — Я так хочу Копенгаген посмотреть! Может, мне там понравится, жить останусь.

Маша понятия не имела, как живут люди в Дании. И так понятно, что там её бы признали, дали какую-нибудь стипендию. Что там можно вдохнуть полной грудью и творить, не боясь, что запретят, что деды из союза художников и препода будут косо смотреть. Там можно быть смелой.

Но оказалось, что смелой придётся быть дома.

Маша проснулась оттого, что дрожат стёкла. И что-то грохочет, как салют на 5 августа. Это Большая политика с грохотом шагала по земле.

А потом начали погибать люди.

Солнце спряталось, повалил густыми хлопьями снег. Сквозь него буханье арты казалось мягче. Глухие далёкие звуки, почти не страшные. Если не думать, кто их издаёт. Главное, что это «наши».

Откуда это взялось? Разве раньше она делила мир на «наших» и «врагов»? Это разве нормально в двадцать первом веке?

«А я кто? — думала она, бесконечно листая новостную ленту. — Я своя или враг?»

Я хороший человек или плохой? Что делает хороший человек? Борется? Уезжает?

Уж точно не застывает под одеялом, включив все сезоны «Друзей» и надеясь, что вот-вот всё закончится.

«Я уеду, — думала она. — Выиграю конкурс и уеду».

Тогда судьба сама скажет, кто я.

И судьба сказала.

Маша ещё не успела послать на конкурс работу, — где тут было рисовать, — а письмо от комиссии уже пришло.

«...Сообщаем, что в связи с произошедшим 24 февраля... *отклоняем все заявки участников из России и Белоруссии...*»

Я своя или чужая? Вот и ответ. Всем — чужая.

Всем «хорошим», «правильным» людям *там* — чужая.

— Хорошие?! Но это предвзятость! — возмущалась она, взад-вперёд ходя по Владиной мастерской.

Строго говоря, мастерская была Владиного дедушки — бежевая каморка на чердаке общежития, заставленная пластичными глиняными статуэтками, завешанная тряпичными куклами и странными картинами: люди и животные перетекали друг в друга, глазастые, голые и мягкие, беззащитные, как в первый день творения.

Но дедушка в последнее время всё больше писал пейзажи на даче, так что Влада могла развернуться. Сейчас она, например, лепила из папье-маше быка размером со швейную машинку, а на быке — пузатого, кудрявого голыша, раскинувшего ручки: то ли омаж к Петрову-Водкину, то ли карта таро. Крутые бычьи рога изгибались белым холодным полумесяцем. И короткие синие волосы Влады забрызганы были белым, — словно звёзды высыпали на ночное небо.

— Забей, люди все одинаковые. Им сказали не брать русских, они и не взяли. А что им — протестовать?

— Да! — Маша схватила кружку с чаем, прижала обеими руками к груди, как амулет. — Сказать, что это несправедливо! Что все имеют равные права! Я же просто обычный человек... Даже хороший. Наверное.

— А ты думаешь, это тебе решать, кто ты, — хороший человек или плохой, жить тебе или умереть?

Маша остановилась.

— Что?

— Помнишь ту прикольную цитату из Дейнеки про танк? — Влада любовно раскатала ладонями бычий хвостик из салфетки, прилепила на круп. — Я тебе сейчас ещё цитату скажу. Дедушка любит Стругацких, и когда его обижает кто-нибудь, он говорит: «Я для него по Гегелю дерьмо и по Зурзмансору дерьмо».

— И что?

— Да то, что каждый сам для себя определяет, кто хороший, а кто плохой. Что справедливо, а что нет. И Гегеля каждый выворачивает, как ему удобно. И Платона. И Библию. Если кто-то для себя решит, что правильно и хорошо будет тебя убить, — как ты его переубедишь?

Маше послышался глухой удар вдалеке. Может, стройка. Может, нет. Она подошла к окну, выглянула проверить, не идёт ли где дым.

Но ведь должен быть способ переубедить, так?

Только вот никто его не нашёл. И люди продолжают умирать.

Лёжа без сна, Маша сочиняла местные новости: умирала от взрывной волны, от потери крови, от обвалившегося потолка. И во всех этих смертях была виновата сама: села не там, вовремя не ушла, захотела латте...

В некоторых историях она выживала, но всё равно оставалась виновата. Не смогла никому помочь. Села на чужое место. Немного успокаивало, если она оставалась изуродована осколками или получала инвалидность. Наказание, но не смертельное...

Вот только наказание за что?

За смерти чужих людей, ставших вдруг врагами? Нет. Наверное, за страх. Склизкий ком страха, тяжёлый, как болотный камень, не давал делать ни плохого, ни хорошего. Только обычное.

Поэтому, когда тот парень зашёл в кофейню с флаером, она его чуть не выгнала.

На жёлтом листе А4 красовались, как герб, перекрещенные ракетки для настольного тенниса, скакали мячики, свисали на нитках звёзды. А посреди всего этого красовалось крупными буквами: «ночная лига пинг-понга». И даты внизу.

— Здравствуйте, — сказал кудрявый и выставил листок вперёд, словно гордился. — Я из молодёжки, можно у вас повесить?

Он был такой радостный и весёлый, с карими блестящими глазами, что Маше стало противно. Завидно.

— А что это? — спросила она.

— Ночная лига пинг-понга. Вечером начинаем, тусим, в перерывах кино смотрим. Диджеи будут... Приходите, у нас там призы парню и девушке. — Он улыбнулся и тут же добавил: — Окон нет.

— А парню и девушке... Это в смысле парам? — спросила Маша и покраснела.

— Это женская и мужская лига. Но приходите с парнем, конечно.

«Чего он лыбится?» — подумала Маша, чувствуя, как от стыда начинает злиться.

Неловко перегнувшись через стойку, выхватила у него плакат.

— Ага, спасибо, я повешу.

Он постоял немного, поправил рюкзак на плече.

— Ну ладно.

Дошёл до двери, обернулся.

— Я Платон, если что.

И ушёл.

Ничего не боялся, выдумали какую-то ночную лигу пинг-понга. Словно ничего не происходит, словно смерть не тянет руки из темноты, из ледяной небесной синевы...

Она даже до Влады дотянулась. Собирались «кружком перелётников» обсудить новый проект, а вместо этого пришлось подметать осколки фигурок и посыпавшуюся штукатурку, проверять, целы ли картины. Влада сидела на засыпанном побелкой столе, прижимая к себе безголового бычка, и казалась совсем потерянной. Младенца, сидевшего когда-то на бычке, раздавили рабочие, забивавшие окна.

Маша бросила веник и обняла её, стараясь не раздавить ещё и бычка. Влада только вздохнула и прижалась ухом к груди.

— Осколок во двор упал, — тихо сказала она. — Уже приходили, сказали, что окна заменят. Надо что-то со стенами делать. И с потолком...

Гадкое чувство. Всё равно как вернуться после учёбы домой и понять, что кто-то ходил в грязных ботинках, выворачивал шкафы, трогал вещи.

Смерть вернётся. Этот район удобно расстреливать от...

— Девки, параноите? — вернулся Тёма с полными пакетами всякой дурацкой еды: с колбасой, с чипсами, сыром, нарезанным батоном и бутылками дешёвого вина.

Алина шлёпнула его мокрой тряпкой и быстро поцеловала.

— Надо было бронежилеты нести.

— Ага, и каски, — включилась Вика, мывшая полы. — Маш, ты дометать будешь? Я сейчас шваброй всю грязь развезу.

Маша схватилась за веник, Влада решительно прыгнула со стола, и поднялась обычная суета: колбасу нарезать, где штопор, ладно, попробую вилкой пропихнуть...

Пока не завыла сирена. Пока не загремело вновь.

Маша застыла не дыша. Забитые деревоплитой окна казались надёжнее, но бухало прямо над ухом: ближе, ближе, ближе...

Выдох.

— «Вампиры», — бросил Тёма и выругался, бледный. Веснушки, — как крошки кукурузы в молоке. — Будто над нами прямо сбивали.

— Нет, — ответила Вика, уткнувшись в телефон. — Это на Крейде, где авторынок. Пока о раненых не пишут.

— Это пока, — вздохнула Алина и налила Тёме вина.

Они начали спорить, где построят раньше, где позже, а Маша не могла включиться. Ей захотелось уйти. Если умирать, то лучше дома, чем здесь, но чем лучше, — она понять не могла. Всё-таки тут друзья...

— Так выставку будем обсуждать? — вдруг спросила Влада. — Да чего вы в телефоны уткнулись! Ладно, давайте бункер сделаем.

Она решительно встала, порылась в углу и вытащила что-то большое, брезентовое и шуршащее.

— Дедова старая палатка! — объявила она. — Железки куда-то делись... Короче, вот этот край на стол, а этот...

Никто не стал спрашивать, как это поможет, если кусок ракеты вдруг пробьёт потолок. Еда переехала в шалаш, нашлась свечка. Для «перелётнического» настроения она обязательно нужна была...

Звякнул у Алины телефон, и снова завывла сирена.

Может, в этот раз проне...

Удар. Ещё удар. Ещё. Как по лицу наотмашь.

— Давай бояться вместе! — тоненьким голосом мультяшного котёнка сказала вдруг Вика и схватилась за Владу, Влада за Тёму, тот за Алину, Алина подтащила к себе Машу, и они сжались все тёплым, дышащим «ламбруско комом».

— Страшно-о! — пропищала Алина, и все засмеялись.

— Страшно — пипец!

— Тём, не ори!

— Тихо, не слышно, это уже отбой говорят или что?

— Какой отбой, ещё про ракетную опасность не говорили... Ай, кто меня щекочет?!

Маше было и смешно, и страшно, и раздражало, что ничего не слышно из-за этих дурачков, — ни бахов, ни сирены...

— Недолётчики, хватит флудить, — сказала она, отцепляясь от кома. — Нам вообще выставка нужна? Ну, сейчас.

На неё посмотрели удивлённо. Как вообще может быть не нужна выставка?

— Короче, — Влада села ровно. — Сейчас гулять опасно, так? Поэтому сделаем сад в подвале. И это будут разные сады: Эдемский сад, бабушкин сад в деревне, детский сад...

— Маркиз де Сад, — убийственно серьёзно добавил Тёма, за что получил локтем по рёбрам. — Нет, серьёзно, крутая идея. Повесим какие-нибудь цитаты из Чехова: «все в сад» типа.

— А «Сад земных наслаждений»?

— Ну, слишком сложно, тут же концепция в другом, — Вика захрустела яблоком. — Что сад может быть везде и всегда. Это как душа, понимаете? Или как память.

Маша понимала. И не понимала. Сад как душа? Что... Зачем...

Она впервые почувствовала себя среди «перелётников» чужой.

«Искусством занимаешься? А люди сидят в метро, без света. Города в руинах», — бормотал внутренний голос.

«Сколько я должна страдать, чтобы ты заткнулся?» — спросила его Маша, залпом опрокинув стаканчик.

«Всегда будет мало», — честно ответил внутренний голос.

Просто чувствовать себя виноватой за мелочи. А если цена искупления — твоя жизнь, и другой цены не предлагают?

Маша не хотела умирать. И это всё решило. Но радости решение не принесло.

Когда стало совсем плохо, она взяла отпуск и уехала к маме.

«Совсем плохо» было не только внутри. Совсем плохо было в блёклом небе и на серой земле, сливавшейся с небом на горизонте. Как будто ничего, кроме бесконечной зимы, не осталось.

У мамы было не тише, — на краю посёлка дом сложился, как детский конструктор, выжили двое.

Свиться бы с кем-нибудь в тёплый клубок и уснуть до весны! До настоящей весны. Но уснуть не получилось, потому что у мамы постоянно стоял тарарам: на просторную кухню приходили тётушки со всего села делать окопные свечи и печь пирожки, вязать шарфы и странные варежки с двумя пальцами. С веранды наконец-то убрали хлам и поставили рамы. Вокруг сугробами возвышались обрезки белых лент и тюля, мотки делей. А на раме, туго натянутая на прибитые внизу гвоздики, раскинулась *она* — сеть — белая, пухлая, узорчатая.

«Наша невеста», — ласково сказала мама, глядя красоту. Обычные сетки плелись из специальных тканей, но на эту, нежную, снежную, пришлось снести из домов все старые шторы, изжёванные кружевные салфетки, детские платья снежинок с новогодних утренников. Всё, чтоб похоже стало на снег в полях: где-то ноздреватый, подтаявший, где-то гладкий, где-то рыхлый, с кремовыми пятнами от подтаявшей глины.

Плели «невесту» кусками, потом сшивали. Маша даже думать боялась, для чего она, такая огромная. Для того, чтобы спрятать танк, который будет убивать потом людей? От этой мысли ей было неуютно. Она сплела несколько рядов «розеток» сама, а потом ушла к маме на кухню помогать с горячими обедами для волонтеров. Несколько раз при бомбёжках поварахи выбегали в коридор, держа перед собой руки в муке и фарше, а потом перестали, — «не набегаешься». Среди больших окон и тонких потолков от судьбы не убежишь. И отчего-то Маше стало спокойнее.

Может, смерть — это не так страшно, в конце концов? Раз не все её боятся.

По ночам бывало шумно. Мама решила просто спать, не выбегать в коридор каждый раз. Но Маша не могла так: затащила в ванну тюк с готовой для отправки «невестой», постелила одеяла, бросила подушку. Укуталась до ушей, свернулась, как белка в спячке, сама в себя. Прижалась щекой к «невесте». Какая же красивая... И с какой любовью тётушки её делали! Может, нарисовать это? И деревянную веранду, залитую холодным зимним светом, и запотевшие окна, и...

...И потолок раскрылся, морозное, звёздное небо заглянуло в дом.

Маша открыла глаза. Звёзды моргали, глядя в ответ, с остатков крыши ветер сдувал серебристую позёмку. А может, бетонную пыль.

Если нет крыши, значит, второго этажа нет тоже. Значит, удар был такой силы, что всё смело.

Значит, в соцсетях напишут, что не выжил никто.

«Тогда почему я ещё могу смотреть?» — подумала Маша. Но тут ванна, заскрежетав чугунными боками, вырывая трубы, начала подниматься всё быстрее и быстрее. Маша вскрикнула, попыталась удержать разлетающиеся по сторонам одеяла, подушки, но они исчезли где-то во тьме.

Холодные звёзды становились всё ярче и ближе, и Маша совсем замёрзла в одной футболке. Чтоб согреться, она выпустила из кокона белую сеть-невесту, закуталась. Тюль ласкал плечи, ветер трепал волосы.

Она свесилась с края, пытаясь разглядеть дом, но увидела только оранжевые огни дорог, тёмные провалы улиц... Куда прилетело? Что напишут...

— Привет! Пришла всё-таки?

Маша вскинула голову и увидела кудрявого Платона из молодёжки. Он парил перед ней, растопырив руки, словно космонавт в невесомости. Приподнялись кудряшки, завязки худи стукались одна о другую.

— Привет... — Маша поплотнее завернулась в сеть. — Куда пришла?

Платон сверкнул улыбкой.

— Это же Ночная лига пинг-понга! Пошли!

Он протянул ей руку...

«Почему нет? — подумала Маша. — Я ведь уже... Всё. Так какая разница, что я делаю? Лига так лига...»

Она неловко приподнялась, сжимая сеть, стесняясь смотреть на Платона... Но что-то само потащило её вверх, пришлось схватить его за руку.

«“Невеста!” Главное, “невесту” не потерять, её же везти завтра...»

Ладонь у Платона была такая тёплая...

«А ведь это не она, а я, — невеста, — вдруг поняла Маша, глядя, как надулась вокруг сеть, словно колокол медузы. — Не голая — не одетая, не пешком — не верхом...»

Среди звёзд мелькнули тусклые искры, выстроились одна за другой... Прокатился грохот, страшный свист. Маша невольно прижалась к плечу Платона.

— Что это? — прошептала она, хотя прекрасно знала что. Так летают «Вампиры».

— Ночная лига пинг-понга, — спокойно сказал он. — Смотри!

И правда, из-за леса, словно струи поющего фонтана, поднялись ракеты. Каждая — в свою цель, — так чисто, так чётко! Только осколки разлетелись, осыпались на дрожащий огнями город внизу. Чьи там уверенные руки внизу отбивают каждый удар?

Платон потянул её дальше, и вот уже исчезли городские огни, внизу тёмным морем раскинулись поля. Но где же снег? Тётушки что, зря старались, плели белые...

Зажглись внизу фары грузовика, зашипела рация. Маша увидела лабиринт окопов, устланных светлыми сосновыми досками, смолистые брёвна ДОТов, торчащие из земляных холмов.

Вспыхнул на краю темноты огонёк сигареты, затем второй.

— Морозит... — хрипло сказал кто-то. — Чё там, снег обещают?

— Снег бы хорошо, а то сидим тут, бляха, как на ладони.

Снег... Конечно! Вот зачем «невеста» такая большая... Маша разжала ладонь, и ледяной ветер сдул сеть. Она раскинулась пологом, секунда, и располагаи уже не видно под сплошным ковром.

Дальше, дальше! Небо на востоке начало светлеть, улицы посинели внизу, потом порозовели... Частные домики сменились многоэтажками, обожжёнными сверху, заваленными мешками снизу. Маленький уютный город, зелёный-зелёный летом, прохладная речка бежит под холмом.

— Подожди! — крикнула Маша. — У меня вон там дедушка и бабушка жили! Вон! Улица Вити Захарченко...

Она выдернула руку и полетела вниз, ведь если это всё — посмертье, значит и бабушка с дедушкой где-то тут...

Но приземлилась она совсем на другую улицу. Коснулась босыми ногами асфальта.

Стояло лето. Раннее тихое утро, та самая одна минуточка до будильника. Где-то завела простую песенку горлица, повеяло холодком.

Солнце проникало сквозь сети на домах, ветерок колыхал их, словно вуали. Как странно и больно. Как красиво и нежно. Светлые, маленькие пятиэтажки в фате...

В конце улицы мелькнула тяжёлая тёмная фигура, совсем здесь чужая. Всё белое, а этот человек в зелёном и чёрном. Приземистый, с огромным рюкзаком, на плече нашивка с котёнком в каске, и пол-лица закрыто. Готов вот сейчас идти куда прикажут, пахнет почему-то дёгтем, как отходящий поезд.

Блеснул над каской золотой лавровый венок. Мгновение... но вот солдат развернулся, поправил безразмерный рюкзак и зашагал куда-то, растаял между колышущихся вуалей.

«Это был последний», — поняла Маша.

И проснулась.

Она лежала в ванне, неудобно закинув ногу на раковину. На кухне шкворчала яичница. Радио бормотало что-то: «...области Гладков сообщил... В результате ночных обстрелов погибло... Ещё двое ранены...»

Вот оно.

Ужасное барокко. Ночная лига пинг-понга.

И надо выжить. Надо всё это нарисовать.

Роман Воликов

Фёдоровна

Рассказ

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жёстко-тупое, всегда безобразное,
Медленно-рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое.
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, чёрное.
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежащее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко ничтожное,
Непереносимое, ложное, ложное.
Но жалоб не надо; что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: всё будет иначе.

3. Гиппиус

Знаете, доктор, я очень хорошо помню эти крики: «Фёдоровна! Фёдоровна! Выйди к нам, Фёдоровна!»

Пьяная солдатня жжёт костры на площади перед Гатчинским дворцом. Я запахнулся шинелью, сырые дрова нещадно чадят в камине.

Мне не страшно. Я знаю, что у солдат нет приказа схватить меня, просто им скучно, они замёрзли, если не обнаглели вконец. Те несколько человек, что сохраняют пока верность мне, отгонят их пулемётным огнём. Это чувство загнанного зверя, который судорожно озирается на каждый шорох, появится только спустя несколько месяцев, зимой и весной восемнадцатого года, когда буду скитаться по отдалённым поселениям около Петрограда и Новгорода.

После октябрьского переворота я отправился в ставку атамана Каледина в Новочеркасск, тот меня не принял. Я добрался до Омска, к новоиспечённому верховному правителю Колчаку. Колчак показался мне блёклым, ничтожным, на мой взгляд, неумным человеком. Мы беседовали стоя. Мой последний адъютант Николай Савицкий держался настороже, как секундант на дуэли.

— Вы олицетворяете собой позор России! — сказал мне этот блёклый человек.

Воликов Роман Владимирович — прозаик, автор девяти сборников рассказов и повестей. Родился в 1964 году, вырос в Мурманске, учился в МГУ имени М.В.Ломоносова. Печатался в журналах «Москва», «Дарьял» и других. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Вас возвели на пьедестал чешские штыки генерала Жанена, — сказал я. — Они же вас и сбросят, если у них поменяется мнение.

— Прощайте! — Колчак вышел из комнаты.

Если история про моё переодевание в женское платье перед бегством из Зимнего чистой воды вымысел или, если хотите, народная молва, тот факт, что последние дни в России я провёл в том же местечке Разлив у финской границы, где меньше чем за год до того коротал деньки лучший ученик моего отца Владимир Ульянов, — сущая правда. В отличие от Ленина я жил не в шалаше, а в деревенской избе, под недобрыми взглядами хозяев, которые и рады были бы меня продать, просто не знали кому. Из этой избы меня и препроводил вдаль от Родины милый британец Локкарт, навсегда.

Из всех, кто писал обо мне, самой точной была Нина Берберова: «Керенский — это человек, которого убил семнадцатый год». Жёстоко, но это правда, доктор.

Из лондонского лета восемнадцатого года мне больше всего запомнились слоны. Их реквизировали во время войны из зоопарка для работы на старинных водокачках вместо лошадей. Война закончилась, англичане наслаждались мирной жизнью, но слоны по-прежнему качали воду, для них время остановилось, они равнодушно взирали с высоты своего достоинства на детей, галдевших подобно сорокам.

Разговоры были в основном пустяковые и исполненные мажорных нот: в неминуемом и, главное, скором падении большевиков никто не сомневался. Мне было смешно. Я потолкался среди эмигрантской публики и переехал во Францию.

Почему я порвал с Белым движением? Потому что не было никакого Белого движения. Была куча мала, сборище бездарных генералов, сопливых корнетов, анархистов и авантюристов вроде монгольского барона Юнгерна, всевозможных батек, гетьманов и царьков, дорвавшихся до долгожданной свободы, присяжных поверенных с бонапартьими глазами. Так меня назвал один поэт-футурист. Впрочем, меня называли и по-другому. Сумасшедшие курсистки ходили по Петрограду с плакатом: «Другу человечества — А.Ф.Керенскому». Я пользовался популярностью у дам.

Яркие личности нашлись только у большевиков. Наверное, потому, что несли свет новой истины. Только не утомляйте меня, доктор, банальными пассажами о том, что новая истина оказалась кампанельской утопией, а отблески — багровыми. Революция — это всегда кровавая бойня, это знал о том и Кромвель, и Робеспьер, и я, когда возглавил Временное правительство. И Ленин со своей еврейской сворой знал это прекрасно. Красные потоки всегда заливают ломку сознания. К февралю семнадцатого сумма накопившихся амбиций достигла своего предела. Это ведь как снежный ком. Сначала царь манифестом от 1905 года разрешил говорильню — Государственную Думу и оппозиционные газеты. Затем бездарно ввязался в войну, уверовал в чары юродивого Гришки и не нашёл ничего умнее, как в шестнадцатом году ввести «сухой закон». Теперь каждый умник кричал, что так жить нельзя. Поэтому, когда утром четырнадцатого я шёл в Таврический дворец, чтобы произнести

ту самую свою речь про сгнивший в мракобесии средневековый режим, который пора смести, ту самую речь, которую многие полагают началом Февральской революции, когда я бросил в лицо всем этим Родзянкам и Гучковым, что пришло время повторить поступок Брута, я твёрдо знал — я вступаю в вечность.

Наверное, накатывающий хаос мог бы остановить Столыпин. Наверное, воли этого прагматичного и бессердечного в стремлении к справедливости человека хватило бы на то, чтобы развернуть ситуацию таким образом, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Наверное. Не люблю гадалок и причитания. Проворная рука исторической злокозненности устранила Столыпина ещё до войны.

Теперь, из тысяча девятьсот семидесятого года, революция вспоминается мне как пьяные дни. Солдаты тыловых частей разграбили винные склады, матросы в Кронштадте дорвались до морфия и кокаина, моё утро начиналось с полного стакана коньяка.

Меня мучили страшные боли. За полгода до революции мне удалили почку — неслыханная по сложности для того времени операция. Ваш коллега, давно, вне всякого сомнения, почивший в бозе, осматривая меня, сказал: «Вам бы на воды поехать, а не революцию делать».

Я пил коньяк, чтобы унять боль, я стоял перед народом, который больше не безмолвствовал, и говорил, говорил, говорил. Я никогда больше в жизни не произносил так много речей. Я ведь адвокат, а не управляющий имением или фабрикант. Всё, что я умею делать, по большому счёту — это лукаво складывать слова в предложения.

Я был не одинок в своём ораторстве. Тогда высказывались все, везде и по любому поводу. На улице, в трамвае, в трактире, в булочной стоило одному человеку что-нибудь сказать, другой тут же возражал, и образовывался стихийный митинг. Человеческий голос, как правило, искренний, прорвался через века немоты и бесправия.

Знаете, дорогой доктор, Россия ведь отсталая страна — и тогда была, и сейчас ею остаётся, но неглупых людей в ней всегда было достаточно. И вот ведь парадокс русской жизни: умных людей хватает, а страна живёт бездарно. Можно, конечно, всё валить на царизм, что я делал в семнадцатом году, можно на большевиков, чем занимался всю последующую эмигрантскую жизнь, но, к сожалению, это только ничтожная доля правды. А правда, горькая настолько, что невыносимо отравляет остаток моей долгой жизни, заключается в том, что русские умные люди обречены на непонимание. Их никто не желает слушать. Они и сами к своему же внутреннему голосу не желают прислушиваться, придумывают успокоения ради сказочки про дураков, дороги, чиновников-взяточников, бескрайние просторы, не подлежащие освоению. Чего не сделаешь, лишь бы ничего не делать. Инфантильность и расслабленность — вот основные черты умного русского человека. А это состояние с появившимся жизненным опытом порождает тотальную безответственность: я в этом не участвовал, знал, но был против в душе, я так красноречиво молчал, я не сомневался, что это плохо закончится. Моральное оправдание — вот смысл жизни умного русского

человека, а как там будет на практике, это не ко мне, пусть другие займутся, другие, но не я.

В начале шестидесятых, вскоре после карибского кризиса, меня часто навещал в Стэнфорде ваш любознательный американский мальчишка. Я понимаю вашу усмешку, доктор. Он, конечно, очень важная персона — господин Бжезинский, но всё-таки он младше меня почти на сорок лет. Бжезинский — безусловный прагматик, и с позиции строгой логики причинно-следственных связей он пытался разобраться в трагической непоследовательности русской жизни. В чём корни: в монгольском нашествии, в византийской наследственности, в умении правителей противопоставить защиту родного болота здравому смыслу, в изначальном евангельском пренебрежении к стяжательству, — в чём? По мере сил я пытался помочь ему в этом безнадёжном анализе.

Однажды я сказал: «Вы помните, кто основал анархическое движение?» «Кропоткин и Бакунин», — ответил Бжезинский. «Князь Кропоткин, — сказал я. — И богатый тверской помещик Бакунин». «Я вас понял», — сказал Бжезинский.

Я не историк, доктор, я — исторический персонаж. Точнее, я статист в той драме, которая развернулась в России в феврале семнадцатого, хоть и на первом плане. Я не собирался узурпировать власть. Я же — юрист, я точно следую терминам. Наше правительство называлось Временное. Временное, доктор. Мы действительно собирались передать власть Учредительному Собранию.

Знаете, доктор, университетские философы любят развлекать неподготовленную публику вот такими пассажами. Каждая вещь в нашем мире самоценна. То есть каждая вещь есть вещь в себе. Но когда она соприкасается с окружающей действительностью, появляется ещё иное, не относящееся к этой конкретной вещи, но тем не менее неразрывно с ней связанное. По-моему, у философов это называется «меон». Вот этот меон и составляет суть взаимодействия вещей в природе.

В июле семнадцатого, незадолго до корниловского мятежа, меня осенило: ту трагическую ошибку, которую совершили русские люди в конце Смутного Времени, выбрав на всенародном соборе царём дурака, повторить преступно. Неважно, состоится Учредительное Собрание или нет, важно иное: кто возглавит страну, кто тот лидер, который встряхнёт Россию и начнёт делать цивилизованное государство.

Я смотрел по сторонам. Кто? Башкироподобный генерал Лавр, искренне полагавший главным лекарством казачью нагайку? Думские депутаты: трудовики, октябристы, лицедеи и шарлатаны? Террористы эсеры, членом партии которых я некоторое время состоял? Кто? Ни одного достойного лица.

С Лениным я не был знаком. Разумеется, мы из одного города, наши отцы преподавали в одной гимназии. Но знакомы не были, и никогда не возникало желания познакомиться. Я читал некоторые ленинские статьи, они не произвели на меня ни малейшего впечатления.

Вот тогда я обратил внимание на Троцкого. Возглавляемый им Петроградский Совет был в революционные дни реальной силой, не менее реальной, чем наше Временное правительство. Троцкий был холодный и упрямый. Совсем не будучи

пролетарием, он управлялся со своим рабоче-солдатским сбродом куда лучше, чем я с высокообразованным и сплошь интеллигентским правительством. «Упырь» — так я его определил, когда увидел первый раз в Таврическом Дворце. Упырь ненасытный, жадный, фанатичный в своей последовательности.

Троцкий сидел на широком низком подоконнике, я стоял рядом. Мы оба смотрели в дворцовое окно. Были изумительные белые ночи. Вы можете мне не верить, доктор, но между нами действительно происходил безмолвный диалог.

«Еврей никогда не станет правителем России».

«Знаю. Для этого у нас существует Ульянов».

«Не лучший выбор».

«У нас нет выбора. Ульянов основал партию. И он не так стар, как Плеханов. И, в отличие от Плеханова, он — практик».

«Он заставит вас таскать каштаны из огня, а потом бросит на съедение шакалам. Не доживёте до торжества коммунизма на земле».

Троцкий молча посмотрел мне в глаза.

«Верные люди донесли: Корнилов готов выступить на Петроград. Вас сметут, пукнуть не успеете».

«Я вызвал надёжные части с фронта».

«Ой, ли! Вы преувеличиваете свою популярность в войсках, господин Керенский. Никто вас не защитит, кроме этого бабского батальона, что расквартирован в Зимнем».

«Сметут меня, следующий на очереди — вы».

«Не понимаю, чем Керенский лучше Ульянова».

«Ульянов слишком хорошо вас знает. Я же не знаю вовсе. Мы оба уже прыгнули в пропасть. Прекрасная возможность подружиться».

Больше с Троцким мы не встречались. Никогда в жизни. Между нами установился бессловесный, определённого рода телепатический контакт. Я дал негласное указание вооружить красногвардейские отряды. Именно они подавили корниловский мятеж. Троцкий был прав, моя популярность в армии являлась сильным преувеличением. Господа генералы ненавидели меня, вернее, в моём лице эту новую, неумолимо наступившую жизнь. Это можно понять, в их среде пределом вольнодумства была конституционная монархия на английский манер. Смешно, — декабристская фантазия в стране с поголовно неграмотным населением. В том огромном списке idiotских решений, которые мне приписываются, особенно любят издеваться над моим приказом о выборности командиров. На эту тему написана целая библиотека. И каждый автор, вне зависимости от цвета, указывает, что этот приказ дезорганизовал армию и фактически привёл большевиков к власти. Да, именно, так и было. Но почему-то никто до сих пор не написал, что, если бы я не создал анархию в армии, полки, проникнутые царским духом, растоптали бы революцию в самом её зародыше.

Я — первый. Троцкий — второй. До появления на сцене более достойных лиц. Так, во всяком случае, думал я. О чём думал Троцкий? Сейчас я понимаю, что он вообще не думал о будущем. Как фанатик идеи перманентности, бесконечного движения, он не верил в будущее, для него будущее — это смерть.

Для него есть только *hic et nunc*, только текущий момент, и ради этого момента он готов дружить и с чёртом, и с ладаном.

Двадцатый век, доктор, начался с крушения платоновского мира идей, Троцкий наглядное тому подтверждение. Он будет делать то, что удовлетворяет его тщеславие, а противоречит это его убеждениям или нет, не столь важно.

Мы оба летели в пропасть, я ожидал бархатную подушку, Троцкий не сомневался, что вместо подушки будут острые камни.

К двадцатым числам октября большевики контролировали почти весь Петроград. Не помню, в какой из дней мне доложили, что известно местонахождение Ленина и положили на подпись приказ о его аресте. Я не подписал. Я велел изъять и уничтожить тираж газеты, где большевик Каменев опубликовал подробный план вооружённого восстания. Я упрямо делал вид, что ничего не замечаю. Я был уверен, что Троцкий понимает меня. Утром двадцать пятого октября я вскользь заметил прогуливающемуся по коридору Зимнего коменданту Петрограда генералу Здановичу: «Вы знаете, генерал, что у нас вооружённое восстание?» Тот посмотрел на меня как на умалишённого.

Я сидел в царском приват-кабинете и ждал звонка Троцкого. На столе лежал томик Чехова, бутылка коньяка была ополовинена, — моя тогдашняя суточная норма. Я подумал о том, что, уходя в революцию, не дочитал новый сборник Зинаиды Гиппиус. Уже по первым стихотворениям было понятно, что это шедевр.

«Жаль, что не успел», — подумал я.

Раздался телефонный звонок.

«Александр Фёдорович! — голос телефонистки заглушался скрежетом и рёвом эпохи. — Александр Фёдорович! Я вас умоляю. Немедленно уезжайте из Зимнего».

«Кто вы?» — спросил я.

«Я Лиза. Лиза Колокольникова. Я служу стенографисткой в Петроградском Совете. Я вас умоляю, бегите. Дыбенко едет арестовать вас».

«Кто такой Дыбенко?» — спросил я.

«Это матрос. Дурной человек. Он убьёт вас. У него приказ военного совета».

«Кто подписал приказ?»

«Все, — сказала Лиза. — Ленин и все остальные. Они всегда подписываются все. Уезжайте, у вас очень мало времени».

«Троцкий тоже подписал?»

«Да, — сказала Лиза. — Троцкий предложил арестовать вас в первую очередь, чтобы потом судить».

«Спасибо, барышня! — сказал я. — Помолитесь когда-нибудь за меня».

Доктор, мне девяносто лет. Я пережил всех: врагов, недругов, завистников, хулителей, Ленина, Троцкого, Николая Второго, Сталина, Черчилля. Всех, кого я знал лично, и многих из тех, кто слышал обо мне. Свою единственную любовь я похоронил в сорок шестом году в Австралии, её звали Лидия Триттен. Если я продолжу жить, то с высокой степенью вероятности доживу до крушения коммунизма в России. У меня есть ощущение, что пресловутая идея Троцкого

о бесконечном движении воплотилась в моей жизни. Я не вижу конца. Я решил установить его сам.

Поэтому сейчас вы отключите аппарат, который поддерживает мою жизнь, сделаете это аккуратно, чтобы не вызвать подозрений в вашей врачебной этике, и тихо выйдете из палаты. Вы вернётесь через час, убедитесь в отсутствии жизни, сделаете соответствующую запись в медицинском журнале и гордо сообщите: «Я последний человек, который разговаривал с Фёдоровной».

Александра Кравченко

Похороны

Рассказ

Сашка мертвецов не боялся.

— Бояться надо живых, — сказала Сашке однажды бабка, когда он в самый первый раз оказался на похоронах.

Мать, едва родив, почти сразу укатила в Москву на заработки и не спешила тащить сына в новую сытую жизнь. Жили вдвоем — Сашка девяти лет и бабка семидесяти трёх — мальчишке она приходилась прабабкой, но он не особо понимал разницы.

Городская жизнь тяготила бабку: её тянула к себе земля со старой покосившейся избой, и когда она слышала этот зов, Сашка, не испытывавший нежных чувств к родовому гнезду, лишался права голоса — на старом дребезжащем пазике они уезжали в деревню. Сначала ему очень там не нравилось, а потом ничего, пообвык, друзей завёл, научился плавать и рыбачить.

В первый раз было страшно и странно. Сашка, покрываясь липкими бисеринами пота, не знал, куда стать, как стать и что вообще делать. Покойницей была тётя Маша, совсем молодая в сравнении с его бабкой. При жизни она была доброй, весёлой и неизменно при встрече совала в карман рубашки синий полтинник, спрашивая: «Санёк, как жизнь молодая?».

В гробу, казалось, лежала совсем другая женщина — улыбчивая полноватая блондинка с кудрями превратилась в иссушенную мумию с приглаженными к крохотной голове бесцветными прядями.

Кравченко Александра Павловна родилась в 1992 году в Курске. Окончила художественно-графический факультет Курского государственного университета. Работает учителем изобразительного искусства в школе, читает лекции по истории искусств студентам-живописцам. Печаталась в журнале «Наш современник». Участник Межрегиональной творческой мастерской АСПИР. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Отмучилась, отболелась, — сочувственно вздохнула бабка.

К девяти годам за его плечами было семь похорон. Уже к третьему разу мрачное действо превратилось в рутину с оплакиванием, погребением, сытным обедом, а иногда и дракой, которую Сашка ждал с особым вождением. Ему запомнилось, как два соседа — дядя Федя и дядя Серёжа — живописно расквашивали друг другу мясистые, красные от выпитого морды. Дядя Федя после очередного удара «ушёл» в кювет и пролежал там до вечера. Сашка вместе с деревенскими ходил каждый час проверять, не отлетела ли душа лежащего вслед за его отцом, которого хоронили тем утром. Дети подкрадывались к телу, проверяя, дышит ли оно, а потом рассыпались весёлой гурьбой от внезапного храпа.

В деревенском доме забытым сторожем жили муж бабки, Сашкин родной прадед — молчаливый тощий старик с длинными паучьими руками и ногами — и чёрный кот без имени. Когда они приезжали с бабкой в деревню, дед встречал их, сидя у крыльца на корточках с извечной «Примой» в зубах. Кот гордо восседал рядом на облезлом табурете.

Однажды Сашка затынулся оставленным в пепельнице бычком и, сразу закашлявшись, был пойман с поличным. Правда, бабка об этом так и не узнала, чему он был рад, почувствовав настоящее родство душ со стариком.

Иногда мальчишке чудилось, будто в их с бабкой отсутствие дед с котом сидят перед домом как сфинксы из легенды, которую он слышал как-то перед школой по телеку. Только они, в отличие от настоящих сфинксов, глупых вопросов путникам не задавали. Просто сидели, словно истуканы, перед входом в избу и были какой-то постоянной единицей в его жизни. Сашке казалось, что дед, кот и изба будут всегда. Но в один день дед умер, а через неделю кот ушёл, чтобы больше никогда не появиться.

Старик ещё при жизни сообщил жене, что ему похрен будет, что с ним сделают, когда он помрёт:

— Похрен. Хоть в огороде закопай.

— Сатанист! — в сердцах кинула бабка.

— Похрен...

Сашка боялся, что не узнает деда, — покойники часто не были похожи на самих себя, но в гробу с дешёвым бумажным венчиком на голове был тот же дед — та же густая серебристая борода, те же впалые щёки, разве что нос ещё сильнее заострился и стал похожим на клюв хищной птицы.

— Не грусти, Шурик, — бабка пригребла его к себе. — У Бога нет мёртвых, все живые.

Он смотрел на деда не отрываясь, и под мерное чтение молитв и позвякивание цепей кадила картинка перед глазами поплыла битыми пикселями, а дед стал казаться живым — по его лицу бегали мурашки, рот под седыми усами шевелился и что-то шептал внуку.

— Иди, поцелуй, — бабка придвинула мальчишку к гробу, и он послушно наклонился и поцеловал венец.

— До встречи, — прошептал он куда-то в лоб мертвецу.

Сашка стоял неподвижно, пока дед превращался в земляной нарост на теле деревенского кладбища.

— Братья и сестры, — его вырвал из оцепенения голос священника. — Умирая, мы не разлучаемся друг от друга, потому что все мы будем жить во Христе. И каждый из нас, как настоящий христианин, должен всегда думать о смерти...

Священник в чёрной рясе продолжал наставлять скорбящих, но Сашка уже не слышал его.

Он сначала хотел спросить, почему надо всегда думать о смерти, но вопрос показался ему глупым, будто все вокруг знают ответ, и бабка только посмеётся над ним. Или скажет, что поймёт, когда вырастет. Потому он просто решил стать настоящим христианином — повернулся к шерстяному узорному ковру на стене и, думая о смерти, провалился в глубокий, как кладбищенская яма, сон. В ту ночь Сашке приснился дед — он стоял на краю огорода и махал рукой. И, наверное, впервые на его памяти улыбался.

С тех пор мысли о смерти не отпускали Сашку надолго. Отвлечь его от идеи конечности бытия могла только Полина, которая, как дантовская Беатриче, в один прекрасный день явила себя ему в столбе солнечного света. Русые локоны до плеч сияли золотом и, подобно нимбам на иконах в бабкиной комнате, обрамляли её скульптурной красоты лицо. В это мгновение Сашка пропал и понял, что ничего и никого не видел красивее и вряд ли теперь когда-нибудь увидит.

Полина не замечала мальчишку на год младше и на голову ниже. А он слишком близко и не подходил — боялся, засмеют. Довольствовался тем, что иногда они вместе гуляли в одной компании, где ему удавалось украдкой поглазеть на то, как она ест яблоко, хохочет с подружками, раскачивается на качелях, прогибаясь в спине и касаясь волосами земли. Он даже пытался её нарисовать по памяти, но когда из-под неокрепшей руки вышло нечто, недостойное Полины, бросил это занятие.

Наступило лето, и Сашка почувствовал, что пришло время действовать решительно. В подъезде, перескакивая через ступеньку, он влетел на четвёртый этаж. Стоило поднять руку к дверному звонку, как от страха быть отвергнутым содержимое желудка подкатило к горлу. Палец соскользнул на кнопку, и где-то внутри квартиры раздалась электрическая птичья трель.

В дверной проём высунулось тонкое заплаканное личико.

— Ты это чего? — Растерялся Сашка.

— У меня хомяк умер.

— Покажи.

Причина смерти была не ясна, с хомяками просто такое случается. Полина снова заплакала.

— А давай устроим похороны?

Вырванная из своей скорби неожиданным предложением, Полина уставилась на него. Сашка отчеканил бабкиными словами:

— Похоронить его надо по-человечески, по-христиански. Навещать могилку будешь, полегчает.

Сашка серьёзно подошёл к делу и собрал целую похоронную команду: неприлично круглый первоклассник для выполнения обязанностей священника, две близняшки-плакальщицы из параллельного класса — одинаково блёклые и идеально подходящие на роль безразлично причитающих родственников. Самым деловым в компании был Петька — могильщик с железным совком вместо лопаты; он больше всех проникся и даже затребовал себе оплату, как настоящий копщик. Сговорились на полтиннике, хотя изначально Петька требовал сотню.

В чёрной лаковой шкатулке с незамысловатым, по-среднерусски тоскливым пейзажем и алым нутром, в которой Полина хранила всякую мелочёвку, теперь покоился хомяк. Процессия двинулась к клумбе у дальнего угла двора. Сашка шёл во главе колонны.

— Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас! — голосил тучный первоклассник, не понимая ни слова. Его нарядили в длинную чёрную кофту и вручили нещадно дымившее кадило из консервной банки и бельевой верёвки. Дым был не от благовоний, а от влажной бумаги, которую Сашка предусмотрительно набросал внутрь и поджёл.

Близняшки, прочувствовав торжественность момента, начали плакать всерьёз. Петька сосредоточенно ковырял землю в попытке вырыть могилу подходящего размера.

Лицо Полины и её голубое платьице покрывал узор из бликов и теней. Сашка, мастеровивший крест из палок и верёвки, тайком любовался ею.

— Как его звали?

— Пушистик...

Сашка написал чёрным фломастером на табличке имя усопшего.

Когда шкатулка чернела на дне неглубокой, но добротной ямы, вспотевший и грязный Петька подумал, что ему явно не доплачивают, ибо работу свою он выполнил более чем хорошо.

— Молодец, — Сашка по-деловому похлопал копщика по плечу.

Первую горсть земли бросила Полина, все последовали её примеру, после чего Петька совком нагрёб земли поверх шкатулки.

Сашка торжественно воткнул в свежую могилу крест.

— Мы с вами на самом деле братья и сестры.

— Никакой ты нам не брат, — возмутилась более бледная близняшка.

— Дура, мы не как вы сёстры, а братья и сестры во Христе. Ты в церковь вообще ходила когда-нибудь? — Он не понимал, как можно не знать таких очевидных вещей. — В общем, когда кто-то умирает, он только здесь умирает, а его душа попадает к Богу.

Своей речью он хотел хоть как-то утешить Полину, лицо которой по-прежнему было мокрым от слёз, но начал путаться в мыслях.

— Короче, — подытожил он, — когда мы все умрём, мы снова встретимся, только там, у Бога, у него все будут живы.

Взгляды Сашки и Полины встретились, она краем губ улыбнулась и положила на свежий холмик ярко розовый пион, сорванный с этой же клумбы.

— Ну не знаю, где они все там разместятся? — пробурчал первоклассник.

— Кто все?

— У меня уже было два кота, хомяк, кролик, а родители обещали ещё собаку — я там не смогу с ними со всеми сразу играть, их всех же ещё кормить надо, убирать за ними... А у бабушки в деревне ещё и курочки...

— Ничего ты не понимаешь, там будет всё не так, как у нас здесь, — в разговор вмешался Петька. — Мне матушка рассказывала.

— Ты что на клумбе забыл, паршивец? — действие прервали крики Сашкиной бабки, она бежала через двор, размахивая пакетами.

Все, кроме Сашки, бросились бежать.

— Мы тут это, ну... — Сашка немного замялся. — Хомяка хоронили.

Бабка в ужасе взглянула на свежую могилу и крест, возвышающийся над ней.

— Ты, гад, ещё и над символом веры измываешься... Я тебе шас устрою похороны!

Бабка замахнулась на внука пакетом. Сашка успел увернуться, а она, промахнувшись, разбила банку сметаны, по дороге покатились переспелые помидоры, чавкающие под Сашкиными сандалиями.

Отбежав на достаточное расстояние, он обернулся, чтобы посмотреть, где бабка, и увидел, что она идёт к клумбе.

— Не тронь! — Сашка заорал как сумасшедший, но бабка уже ломала самодельный крест.

Испытывая гнев, впервые в жизни, он побежал прочь. Несправедливость хватала его за горло, выдавливая слёзы, которые он размазывал по лицу грязными руками.

Ближе к ночи полицейская буханка выследила Сашку у пустыря в соседнем районе, его, обессиленного и разочарованного, опер посадил на переднее сиденье и отвёз домой. Бабка не находила себе места из-за того, что ребёнок пропал, но, когда открылась дверь и внук молча прошёл в свою комнату, она демонстративно смотрела в окно, по-старчески сложив руки на коленях. Из Москвы даже собиралась приехать мать, но, узнав, что всё обошлось, решила зря не мельтешить.

Сашке не спалось. Он дождался, пока бабка прочитает все молитвы и захрапит у себя в комнате. Наспех одевшись, он беззвучно шмыгнул в черноту подъезда.

В голове зрела мысль, что Бог, который создал его, Полину, цветы и зверей, небо и землю, должен быть безмерно мудрым. Что любая живая душа, неважно, человек это или хомяк — божья. И что всё, что обращается в прах, — это лишь на время, и прощаемся мы только для того, чтобы снова сказать «привет». Сашка твёрдо знал, что никто никогда не разлучается и что у Бога все живы.

Он собрал сломанный крест, воткнул его в клумбу и побрёл сквозь пустой двор обратно. Ночью ему снова приснился дед, тётя Маша и ещё какие-то неизвестные люди, которых, казалось, он где-то уже видел. Все они стояли на краю Сашкиного деревенского огорода, улыбались и махали ему руками.

Елена Черникова

1992

Рассказ

Я умею приземляться в глаз урагана, отчего и вышла вся петрушка: в начале августа 1991 года я села за руль серо-буро-синего казённого жигулёнка — учиться. Казалось, тихо всё. Разве что сбежала от мужа, но уже достал: пил, гулял — и хватит. Дождалась: и денег полно, и очередь подходит. Месяц-другой и — и счастье. Мне до ломоты в зубах надобно водить автомобиль и кататься по ночной Москве туда-сюда, туда-сюда. Физика моего тела выгнулась по осевой Садового. Я видела золотое кольцо Садовых как линию моей жизни. Мне всё удалось к августу 1991 года, всё, чего хотела с самого малых лет: я же выросла в машинах моего отца и не знавала иной счастливой жизни. Госпожа удача гладила меня по голове; мы ужинали с нею на крахмальной скатерти-самобранке. Любимая работа, дом, город, и уже приближается *моя* машина. *Моя машина* — и я буду как отец, и мы полетим. Образ будущего сыто заурчал в кармане настоящего: в моём любимом городе, на моей любимой работе подходит моя очередь на мою машину. Нет, описать невозможно, что значит в начале августа 1991 года *подходит моя очередь на мою машину*, — и на мои деньги она вот-вот будет куплена, и я поеду по ночному городу, обожаемому городу, в историческом центре которого у меня есть моя жилплощадь.

* * *

— Ты обязана рассказать! — он остановился посреди дороги.

— Хочешь, я напишу для тебя? Ты можешь понять.

— Я уже понял. Но это всё надо обнародовать. Пиши.

Мы по Москве шли и разговаривали. Мы сживали в кафешках и разговаривали. Он говорил, что мы лопухи: надо включать диктофон и всё записывать, поскольку слова улетают. А наши беседы важны, мы порождаем уникальное, и древние римляне знали, что сказанное улетает, а буква остаётся¹. Английский вариант радикальнее: *The voice heard dies, the letter remains written*: голос умирает, буква (письмо) остаётся написанным.

Иногда он приказывал: «Давай, разговаривай!» И даже: «О чём ты сегодня думаешь?» Он любил послушать, куда меня занесёт. Мои трели его подзуживали,

Черникова Елена Вячеславовна — писатель, журналист, преподаватель. Родилась в Воронеже в 1960 году. Окончила Литературный институт им.А.М.Горького. Печаталась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Знамя». Живёт в Москве.

¹ *Vox audita perit, littera scripta manet (латин.)*.

он распался и уверенно припоминал, что мою мысль он уже думал, и теперь она заиграла ещё ярче.

Мне жаль: сейчас мы не сживаем в кафешках. Но выполнить обещанное надо, и сначала о машине. Я не успела рассказать ему о машине до конца: он мгновенно терял интерес и забывал всё моё до него; даже его друзья послушно видели меня новорождённой, посему сейчас они либо молчат, либо говорят и пишут сквозь зубы, не без труда припоминая, где же они меня видели.

Последняя кафешка была на канале имени Москвы близ яхт-клуба «Маяк», где в соседнем подъезде — магазин японской косметики. Мы выпили, как всегда, шоколаду и зашли к японцам. В иероглифической кашеце, залепившей стены, сверкнула кириллица — на боку бутылочки цвета здоровой фуксии, и он купил мне этот дорогой гель для душа с прямолинейным названием — в аккуратном переводе с японского на русский — *очень хорошей тёлчке*. Потом его сиделка, выбрасывая мои вещи, не разобралась и взяла гель себе, решив, что номинация сия точнее подходит ей. Я пришла и отняла. Машина и тут важная деталь: у сиделки любовник — начальник автобазы, там сплошные машины.

Как ни вычёркивай прошлое, оно задиристо лезет в нарратив, чтобы рифмоваться с будущим, а это нелепо. Оды прошлому поют историки, но их можно понять: искушение велико. Но — нет такого прошлого, по которому можно предсказать будущее. Нет ни у частных лиц, ни у народов. Из мечты о машине в прошлом не выезжает машина будущего. Пендельтюр эпохальных иллюзий качается, поскрипывая: было — нет — было — нет. Но сам висит на своих петлях уверенно. Машина приедет, если я опять захочу. Но сейчас я уже согласна владеть одним водителем лишь, а в юности манкость металлической машины поджигала мой максимализм. У меня природный талант желать без охлаждения, и крутить баранку я хотела сама. Свободы у меня всегда было вволю. Рулить — моё. Оказалось, рулить Россией как машиной тоже можно; зелёный горошек истин мозговых сортов, как пишут на консервах, я распробовала в 1991—1992-м и, как ни сомнительно звучит, за рулём.

* * *

Инструктор автошколы, некогда гонщик, а ныне похмельный циник с багровыми нитками по ноздрям, не ждал от женщины за рулём ничего. Так и сказал. Он попивал и безмятежно прогуливал тренировки, встречались мы нечасто и дотянули до декабря. За время автоучёбы, прожитое нами медленно, в перебранках и взаимных уступках под крышей мутно-синей развалюхи, я успела пережить ГКЧП с танками под моим окном на Качалова, осень в безнадёжных очередях и лёд ранней зимы на пустом автодроме, распад СССР, отречение Горбачёва и Новый год во внезапно уединившейся России; а 2 января 1992 года вышла в магазин на Баррикадной и увидела колбасу по 8 рублей за килограмм. Окрест замерли фигуры обескураженных покупателей, прежде не выдавших подобного неподобного. Три сорта: «Любительская», «Докторская», «Краковская». Всё свеженькое и пахнет как встарь, но втридорога — и не у спекулянтов каких-нибудь, а на государственном прилавке. На прочих полках знаменитого гастронома — внезапная стереометрия каких-то пятен,

нечаянное чудо, вертикальные цветные коробочки, бантики, лакомства вроде кофе, — проросло из небытия, ещё вчера чистого, пованивающего хлоркой, абсолютного.

Граждане не поняли, что предречённая в газетах либерализация цен выглядит именно так. Не было ничего вчера — и стало 2 января. Но второе супротив забытого. Граждане, приняв под куранты новогоднее поздравление от юмориста М.Задорнова — ввиду отсутствия в ту ночь определённого президента и определённой страны, — не успели внять колбасе, удивились очень. Многие удивились насмерть. Многие вообще не помнят, что всё рвануло вверх по лестнице, ведущей в бездну, именно 2 января 1992-го.

Но я в те поры газеты читала и даже писала. Мигом сообразив, что упёртый младореформатор, мечтательно чмокая, выполнил обещание, то есть зажёг *очистительный огонь инфляции*. Сдавать на права я уже не пошла, поскольку зачем. Деньги, запасённые на машину, перешли в актив на жизнь. Первая глава поэтического цикла *хочу свою машину* полетела в корзину.

Трагедии во мне никакой не было: некогда стало трагедировать. Весёлая бедность — писал один мудрец другому — вещь честная. «Но какая же это бедность, если она весёлая? Беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше»¹. Не было машины — нет машины. Мечту на скаку тормознуть — я теперь умею, научилась в январе 1992 года близ метро «Баррикадная». Трагедия — промахнуться и родиться не там и терпеть с людьми, которых и знаешь тысячи лет, и всё ясно, а требовались уже другие, а чуть замешкался — и промахнулся, а подправили тебя в тело врага — и на ближайшую жизнь ты себе лютый враг. И ходишь по векам, приговаривая, что прошлое теперь уж не то, что прежде. И будущее не то, что прежде. Ворчишь, на ком-то женишься из соображений, но всё не то, что прежде. Любовь иная, деньги пухнут, глаза вылезают на лоб. Ты впервые в этой жизни задумываешься: почему я здесь? Почему я? Почему сейчас? Ещё вчера ты мог учиться вождению, работать в газете, респектабельно страдать, перебирая цитаты, формулируя, нырять в незнаемое, а тут вдруг не надо цитировать, исследовать, учёные поехали челноками, кое-кто самоубился без затей. Иные математики жизнелюбиво пошли на Арбат живописничать и акварельничать. Ещё вчера — свидания, роды, болтовня с соседками, а в сложных отношениях — мучительные тонкости: числишься скверным любовником, ибо привычно уверен; она в экстазе от одного лишь взгляда, и теперь можно не петтинговать, не пенетрировать — свобода! Ну хоть такая. И с чего она взяла, что должна быть счастлива! Помнишь, как говорил Мандельштам новобрачной своей? Грамотные взволнованно пописывали диссертации, рыбаки рыбачили, моряки морячили — вдруг чпоньк!

И ты врежешь новый замок — в мозг, поскольку старый, сказала новая сиделка, сломался. Причинно-следственные оковы прошлого пали с непотребным звяком и пустозвонил вечевой колокол крематория, где полыхала подожжённая целительным огнём инфляции страна. Звяк оков мигом отозвался в газетных

¹ Луций Сенека. «Нравственные письма к Луцилию». Первый век н.э.

шапках, где вместо сакраментального возгласа «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» впервые напечатали «Пролетарии всех стран! Успокойтесь!».

Любовники-снобы взяли мётлы, а любовницы наряду с официальными жёнами позажимали все сфинктеры свои — и роддома позакрывались. *Чёрный лебедь* Талеба ещё не написан, но это он, он самый, он режет московский воздух крылами, сотрясая, потрясая, и сквозняк от *чёрного лебедя* сильный. Упитанный мэр сказал по телевизору, чтобы рожали от богатых, а то у меня на вас денег нету. Сказал убеждённо и убедительно. Один галстучный холоп его весомо добавил, что в Центре Москвы будут жить только те, у кого зарплата от пяти тысяч долларов в месяц, а прочие пусть переедут на окраину. Но, подсказывает Сенека, никто не был так высоко вознесён фортуной, чтобы угрозы её были меньше её попустительства. Галстучные как оглохли, ну да туда им и дорога. Я живу в центре Москвы. У них не получилось.

Мои соседки собрались в коридоре и посовещались на перспективу: следующий лидер, которого мы уже начинаем ждать, как, простите, девочки принца, должен — по сумме претензий, накопленных к нынешним, — иметь приятное выражение лица, на лице должны быть видны глаза, из-под пиджака не должен торчать живот, звук «г» он обязан говорить не по-южному, фрикативный, а по-московски, в соответствии с нормативным произношением, — взрывной. Принц должен жалеть женщин, разрешать им рожать от кого захотят, а за детские сады пусть платит всем хоть из своего кармана. Идя к власти, он уже должен быть обеспечен, чтобы ему было не слишком больно идти в отставку, и чтобы на посту занимался не только своим, но и нашим благосостоянием — то есть пусть мы так будем думать. Мои соседки-1992 — чудо чудное, смак.

И, наконец, главное: наблюдающий есть наблюдаемое; что я тут делаю? Тут — на Малой Никитской, в доме 29, в центре лучшего города на свете. Непрактичная глупость — полагать и надменно говорить, что мы не выбираем ни родителей, ни родину. Э, нет. Выбираем. Точно знаю. Из этого следует исходить, когда вещаешь, оцениваешь и прицениваешься к лучшей доле. Отдавать долги небесные посылают куда следует.

Моя вожделенная машина, сожранная гиперинфляцией, моя милая, желанная, но так и не купленная подруга, позволила нам с младенцем и выжить, и вострепнуться. Мысли остались на горестной газетной полосе: я тогда всё сказала, что хотела, и никто ни слова поперёк моему свободолобию не молвил. А я была очень сильно против, что мой вагон получил неисправимое повреждение: ржавое чувство, будто валится набок и трещит, а на подлёте к пропасти входит проводник и проверяет уже проверенные билеты, внезапно штрафует и деловито высаживает из падающего поезда, и весь состав — из списанных вагонов. Моя Россия вдруг стала то ли брошенкой, то ли разведённой, обе изнасилованные. Пердюмонокль, право слово.

Брошенными в 1992-м почувствовали себя даже замужние и вполне упакованные. Женщины не рожают в знак протеста. Вот из солидарности с Горбачёвым, особенно в 1987-м и 1988-м, нарожали неожиданно ужас сколько народу. Поверили в обещанный социализм с человеческим лицом. Детей перестроечного бума потом в школу приходилось устраивать по конкурсу.

Они не помещались, и на приёмные экзамены в первый класс нанимали психологов. Демографический взрыв, вызванный перестроечной грёзой, вышел самым сильным в XX веке в мире. Потом сошёл на нет, отчего детишки, чудом всё-таки рождённые в 1992-м, получились как сгущёнка. Они взяли в себя каждый за десятерых, и уже в студентах они показали свою плотную начинку; я разговаривала с ними в XXI веке, принимала экзамены. Они, как выбрали Россию, так и остались. Они уверены.

А в 1992-м, когда моя соседка пошла в загс за свидетельством о рождении своего младенца, она не только не увидела очереди, она вообще еле нашла работницу загса, оказывающую эту услугу, и работница искренне удивилась, с чем пришла посетительница: надо же, ребёнок родился! С тех пор у меня под постоянным присмотром живут в голове две мысли: о чадородии как метафизическом институте, в котором абсолютно ничего не понимают экономисты; о России как субстанции. Мне с января 1992-го стало жаль её до физических слёз, потом вспыхнула неопишуемая страсть, как в родовой палате, и полилась нежная, осторожная любовь, как будто Россия — ребёнок и нуждается в материнской, то есть моей, опеке.

Только здесь, в золотой траве Левитана, абсолютно недвижим и несобытиен мир, и растёт космос вертикально, и стоит прозрачным столбом до геостационарной орбиты и далее — не шевелясь, как древко бесконечного знамени. У нас ничего не происходит, пока *там* не качнётся. Потом все вздрагивают и переустанавливают древко, и зная из облаков и звёзд, слегка колыхнувшись, успокаивается.

— Россия мне подходит, как вселенский термос, полный космоса и любви. У нас удобно: Бог держит знамя с той стороны.

— А поэты? Зачем тут поэты, если всё устроено? Минута — и стихи свободно текут.

— Как слюни. Прикидываются людьми, вестимо. Помнишь, как переврали Некрасова? Из школьного учебника тема Некрасова и генеральной ошибки училковой памяти — моё любимое пирожное. Окарикатуренная русская женщина сто пятьдесят лет стряхивала с себя кокошники, копыта коней на скаку в селеньях и вареньях. А беспилотный поезд литературоведения летит и расплёскивает, и последний зритель давно мечтает завязать все рельсы узлом. Зритель прав, и буфетчик, подающий коктейль *муза*, тоже прав. Они устали чинить пути русской литературы. Русская женщина даже у Некрасова — дворянка, поехавшая за мужем-декабристом в Сибирь. Из одноимённой поэмы. А та, которая на скаку, из другого сочинения. Так всё и склеивается. Говоришь *русский* — видят лапти. Вирши, батенька Николай Алексеевич, вирши ваши лубочные, приняли за идейную позицию. У крепостника наверняка была позиция. Денег у помещика много, вот и заигрывали в революшенку, как Достоевский в казиношенку. Доигрались, дети царёвы, все, все вы типичные Александровичи, никого Алексеевичей нет, тишайшего сына народного.

— Ты не злишь.

— Так врут же! А наши! Деньги делать умеют, но не для постоянного увеличения прибыли, а так, вразвалочку, чтобы каши поесть, а кашей

в «Славянском базаре» называлась полная чёрной икры миска. Можно красной. Дай каши! — несут икру. И кто нас понял? Никто. Левитан разве что.

Гуляли, спали мы; наутро я сообщаю, а он вслушивается, что река — мост через море; нет ни прошлого, ни будущего, а формальное настоящее — единственное чудо, которое годится как история, хотя рассыпается в мелкие кусочки. Настоящее незаписуемо, ибо либо живёшь, либо записываешь, а мозги хотят причинно-следственных карамелек. Всех в школе заставляли подумать своей головой. Травма. Но некоторые выжили. Незримых травм у моих соотечественников много. Почему я для текущего воплощения выбрала именно Россию? Я говорю, совсем уже не разбирая дороги, с пятого на десятое, поскольку он-то понимает и с пятидесятого на пятисотое: тем более что мальчики, рождённые после войны, боятся девочек. Всю жизнь и женятся, и отцовствуют, но подшутят унизительно — и готовно восклицают «да ты шуток не понимаешь!». Вечно дёргают за косичку. Теперь я понимаю, что мальчики, рождённые после войны, уже знают, а довоенные ещё не знали, зачем их столько народили, посему нет у послевоенных пиетета ни к жене, такой коварной, ни к жизни, такой короткой, а виновата во всём женщина как тип-класс-отряд-семейство-род-вид, которая бесталанна и чего-то хочет; замуж выходит родить, не представляя себе, что мужчина обречён владеть пенисом пожизненно, и с этим придётся годами что-то делать, а что именно? В школе не говорят. Одним словом, родиться в стране, где послевоенные мальчики боятся девочек, неприятно. Но: поколение уродов часто порождает гениев — видимо, для форсу, как стилиги в оттепель. Россия пережила: перенос точки через барьер, и начинаем по второй мысли, как по рюмке. Горячая, в белом скафандре порфирийного пациента, прицокнув невидимым каблуком, мысль подтаяла по краям медленно, уплыла по воздуху вверх, и звук был хлопком ладони одной руки, но стряхнул её фантом с сетчатки, погладил усы, вернулся. Мысль моя, подруга любимая, как ты прекрасна, виноградник, сосцы, черна, помню, помню. Опять озарение, что дух вечен, душа капризна, тело пародийно, время есть, и его много, нет причин жаловаться на Бога, и всё, что раньше было достойным, перестало. И стало хорошо, когда перестало. На берегу прозрачной по всему течению Оос стоишь, как Достоевский, видишь край Тибета, выбранного мыслью из праха и дыма, и мысль сияет гигиенично, добра и полётна, и нежность к ней заполняет душу, пока стоишь на берегу прозрачной по всему течению Оос в пастозной картине Баден-Бадена писанный, красивый, как холёный немецкий листопад из пневматической пушки дворника, выпущенный под клёны, прозрачные по всему течению. Подпись: дворник Его Величества Александра Павловича Благословенного, императора Всероссийского, давшего Баден-Бадену в 1823 году градообразующее предприятие: казино.

...Он и это слушал безмятежно. Всё до буквы понимал сразу. В нашей культуре не принято кричать о любви без весомой причины. Мы кричим из последних сил. Из первых тоже кричим о любви, привычно не надеясь на уверенный приём и нормальную слышимость.

* * *

Нам с тобой надо поговорить ещё, диктофон уже включён. Ты отчётливо видишь, почему я для очередного воплощения выбрала Россию: мне надо было поговорить с тобой. И ещё с некоторыми, но они русские, сами выбрали Россию, с ними говорить и незачем: обходимся одним взглядом и незаметным кивком. Родиться в России мне было необходимо, чтобы помолчать с ними, поговорить с тобой, записать, а потом наконец купить машину.

Москва, 23 июня 2025 г.

Андрей Шатохин

Козулин дом

Рассказ

Козуля ушёл добровольно ещё в августе. Мог и не ходить, но тогда бы он точно «заночевал», как все наши, под немцем.

А после Козули эти заявили быстренько и засели аж до зимы сорок третьего. В пригодном и призывном возрасте кто мог тогда «добыть» нормально? Мало кто. Почти никого. То искушение, то распоряжение. А донос? Было, не было — держись. Далеко из плена убежать? Только когда в лес. Так и лес не везде.

В героическом всё ж образе отстояли тогдашние пацаны курский дух несогласия. Таким погодничкам с искушением было не справиться, подпольного дела не избежать — конспиративного сопротивления: стреляли, взрывали, печатали. Но по-лёгкому не вышло. Молодо гвардейство. И были пойманы, и были биты, а убитыми брошены до нескольких дней где и как попало. Живая пропаганда.

А многих отлавливали и для полезной работы, «ахтунг», навыков культурного труда — гнали в лучший мир паровозами. Мало кто из них вернулся. Некоторых и до конца дней родня ждала — что с ними, как? А может, откуда и дадут сигнал? Но нет, — как не было.

Шатохин Андрей Владимирович родился в 1967 году в Новокузнецке. Окончил Институт журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ), аспирантуру кафедры истории и теории культуры РГГУ. Печатался в журнале «Вопросы литературы». Автор книги «Фотография как шарлатанство» (2017). Живёт в городах Орёл и Москва. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Козулино письмо пришло весной сорок третьего. В ответ Пётр Фомин, новый исполняющий обязанности председателя, сообщил, что теперь Козуля сирота и дом его заколочен до поры. Временная пустота так и будет, так как жить в нём нельзя — бомбо-снарядом сняло крышу, — да и некому. Людей ещё маловато.

Все эти наши первые орденосные инвалиды ставились тогда почти без остатка на характерные должности — заведовать освобождающимся хозяйством. Таким же раскаленным, как сами исполняющие. И надо сказать — да то и без нас прославлено, — держалось такое хозяйство не хуже фронтового. По шепотке отапливалось, по шепоточке кормилось, но спуску никому: ни в руку, ни в сердце — допуска нет. Безжалостно.

Однако нецензурные тыловички — сучьё кладовое — нашего первого послеоккупационного исполнителя подписали по-быстрому на долготню ближайшего пятилетия за растраты и хищения. Несмотря на весь героизм и заслуженность морпеха — в одну упряжь с предателями и лямку с коллаборационистами, — новые кадры демобилизовались, есть кем заменить.

Козулин дом — по-хозяйски успел, рассудил председатель Пётр Фомин, — года два ещё постоит, а потом начнёт сыпаться постенно. Отсыреет, замаякнет, прорастёт и завееется. Пол отойдёт, и печь рассодится, — пусть и кирпич сгодится на перекладку.

Так что, если в ближайшие пару годов он, Козуля, до малой родины добраться не сумеет, то решение о доме будет вынесено на правление и, видимо, по материалу пущен на общие нужды, какие они тогда будут. А уж потом, если и когда он, Козуля-хозяин, вернётся — когда б это ни было, — будет колхоз думать про новый Козуле дом. На той же его земле, в прежних межах.

Ну, а про родителей всё коротко. Незадолго до отступления отец был застрелен очкастым эсесовцем из маленького своего табельного вальтера прямо на пороге дома. Только бугорок под лопаткой от пулькиной головки. Не успел и дверь распахнуть как следует — так и всё. И по приказу три дня оставался неубранным. Примёрз даже, рассказывали, крепко к порогу своему. Но схоронили как положено. Отвоевали бабы у земли хорошее место, отдолбили ямку. А что, почему — только слухи. Видали там одного — из наших, полдлюка, — полицаем крутился. Но это собачья история — и недосказанная, и не пережитая до сих пор, — кто вспомнит — сожалеет, что не по самосуду кончилась.

А прочая родня сгубла, как наши даванули. В одно прямое попадание. Вместе с Ковалёвыми — две семьи унесло подчистую. Бывает же.

Второй треугольничек Козуля прислал как бы в продолжение на ответ председателя. На имя правления. Хотя какое там правление, — первое время и словом согласоваться (перепоручить, если что) председателю Фомину было не с кем.

После отступления, после оккупации сельские все были как бы сам по себе, долго не соглашались ни на какую выборность. Пока зверь не издох, а только

в сторонке, затих где-то рядом — никто не знал, не уверился, в какую сторону что опять покатиться может. Самолёт пролетит, и снежная туча распадается на всё небо. Сразу не падает, и один какой квадратик ти-та-ти, ти-та-ти на ветру. Ты за ним бежишь, а он всё дальше в поле заносится: «Мы ещё вернёмся к Пасхе. Выколем вам глазки». Но с этим у военных было строго — даже подымать запрещалось. В общем, народ не спешил.

А Козуля стал писать регулярно. И писал не оттого что — кому, а оттого что — некому. Как в семнадцать лет добровольно призвался, так родственников у него не прибавлялось, а только всё вычиталось. В неполные двадцать друзья и одноклассники были теперь, как он, — в самой гуще. Пропали многие, разметались до неузнавания.

Наверно, можно было кому и поближе найтись? Баб-Кате — полуграмотной соседке — или Клешиным, с чьей Татьяной до войны Козуля пару раз танцевал? Семья у Клешиных большая, кто-нибудь да нашёлся бы, но кто из них сейчас кто — дознаться трудно. Про тех, кто остался и не призвался, говорили разное. Председатель намекал: не все оказались стойкими. Не все в их деревне справились с верным страхом. Так что, мало ли...

То Козуля рассказывал о том, кто он был и кем пришлось стать. То про газету, где его рисунок якобы напечатали, но ему только сказали, а экземпляра — не досталось. Поднялись будто бы по тревоге и пошли, а когда тылы догнали, уже ни одного не осталось. Дивизионка расходилась быстро. И больше не печатался. Думаем, обиделся.

О доме Козуле писалось легко, с боевитым огоньком. Он живо подрисовывал к своим ровно и мелисто вышитым строчкам картинки берёзок, полянок и неба. Неба в козулиных письмах было особенно много: звёздного, утреннего, закатного, с птицами и самолётами, с воздушным боем и падающим на далёкий лес дождём.

Председатель, при всей своей войсковой «нездешности», понял это так, что отвечать парню надо, и пусть уж лучше что-то пишет на колхоз, чем никак.

Когда Пётр Фомин начинал писать сам, рассказывал о мире как о заботах. Что новую стройку ему не осилить ни по людям, ни по материалам, да и с проектом волокита. Что в колхозе остались только три здоровые кобылки, то есть списанные по ранению, но вполне пригодные на мирный труд. Ни одного трактора на ходу, ни одного кузнеца на семь вёрст, да и слесарные мастерские — одно название. Что школу пора открывать, ждут учительку.

При прочих помоях председатель обязывал кого из солдаток приписывать по паре-тройке строк. Для, так сказать, женского духа родной стороны. Чтoб не забывал.

Но Козуля будто и не замечал перемен с адресатом — сухо благодарил и продолжал своё раз начатое письмо, аккуратно, в несколько дней, исписывая и зарисовывая бумагу с обеих сторон. А бумага у Козули находилась почти всегда ровная, тетрадная, блокнотная.

Но главным в козулиных письмах оказывались рисунки. Когда и по десять, что спичечный коробок, на лист умещал. Иногда блёклым цветом раскрашивал. Где брал? Загадка. И только подписывал. Такие письма с картинками стали

ходить по домам вместо фотографий, и ответчиков прибавилось, приписывались часто к общему письму: «что это?» и «где это?».

А то к небу прибавлялась и трава-одуванчик окопного бруствера, и накаты землянки, жуки, кузнечики, муравьи с обозначенными подробностями — что особый отдел пропускал одобрительно, — аккуратно срисованная мелочь тишины войны, — Козуля художничал. Рисовал, кажется, всё, что видел в момент письма, не выдумывая и не разбирая.

Как-то прислал вид той страницы, которую сам сейчас заполнял: бумага на подложке, подпёртая коленом, прижатая большим пальцем левой руки, и карандашом, ведущим по листу слово «поле». И даже носок сапога, выглядывающего из-под листа. Кургузый, широкий, солдатский.

Однажды в письме оказался портрет какого-то немца: напуганного фрица с перекошенным ртом, струйкой крови из носа и маленькими кругленькими очками. Немец был пехотинцем, не СС, его после допроса расстреляли — «прямо по очкам его в очередь».

После границы Козуля стал писать чуть больше. Писал, что столько битых домов, сколько он повидал, не мог себе и представить раньше. Что столько труда может быть истрачено, чтобы разбить, разладить целые города, где и пригород — село, деревня ли — вовсе за потери будто не считались.

За свою избу Козуля радел особенно. Радовался, что в их селе разваленных домов всё-таки мало. Всё можно восстановить. И что он-то крышу на своём доме знает теперь, как ставить на польский манер.

Ближе к сорок пятому Козуля больше рисовал технику: раскорёженную капитальную рухлядь по обочинам дорог, а по оконечностям пустырей — неубранные трупы людей и животных.

Из Прибалтики и Польши шли трофейные виды черепичных крыш и конструкции деревянных обвязок. Сарайные профили, устройства, приспособления и хитрые вещицы тамошнего быта: косы с кривым косовищем и парными ручками, веялки, амбарный склад.

Председатель всё спрашивал, как там у них в хлеву и на ферме. Козуля стал срисовывать с размерами, подробно передавал про польский и немецкий порядок в хозяйстве. Но больше всего всё же было домов.

Козуля отыскивал и присылал такие панорамы, что народ большей частью гадал — а не выдумка ли? Постройки с контрфорсами и каменной сливной системой. Дом с круглой крышей и овальными окнами больше походил на праздничный хлеб, чем на дом.

Видно было, что уж больно Козуля хотел новый дом. Когда из настоящего на родине у него остались только стены, то о них он и понимал, как о последней родне. Каким точно будет его дом, он ещё не знал, но думал, что теперь-то у него будет лучший на селе. Поэтому как бы строил и перестраивал он его по новым своим намёткам.

Писал председателю, коль если до лета с немцем управятся, чтоб, может быть, в тот же год до осенних дождей успеть на старом месте новый под крышу подвести, как председатель обещал. Председатель не отнекивался и сообщал, что — чем возможно — помогать будет.

С конца апреля Козуля рисовал Берлин. Писем для войны стало много, чуть ли не каждую неделю. Школа взяла козулину корреспонденцию на себя. Учителка забрала всю председателеву папку, и рисунки Козули развешивала, как картинки стенгазеты. Под заглавием «Письма с фронта» загибала строчки и так вставляла в наклеенные уголки. Сопровождала рисунки Козули короткими подписями: «Дорога на Берлин», «Окрестности города», «Мы в Берлине». Получалась будто экскурсия.

По школе в стенгазете Козуля рисовал мало, не сохранилось. Рассказывали, он рисовал друзьям. Несколько таких тетрадей теперь хранятся. Нашлись уже после по одноклассникам, которым, может, повезло больше, и их вещи содержит родня.

А письма Козули давно перешли в краеведческий музей. Там целый стенд рассказывает о замечательном таланте земляка-самородка, «показавшего Родине войну от высоты окопа и из-под обреза солдатской каски».

Вот пейзажик полевой с отчерченным небом по дуге стального козырька. И подпись: «Мы ждём атаку второй день, но эти гады не торопятся». Вот небольшой муравейник вокруг пня и подпись: «Кажется, они заделывают свои норки. Нам ещё дождя сегодня не хватало». Вот три бойца под одной плащ-палаткой у кирпичной стены жмутся, как котята, и подпись: «Когда Змей Горыныч проснётся, все куда-то полетим».

На месте козулиного дома построился сын председателя. Хороший, нужный колхозу парень. Демобилизовался в начале сорок шестого. Пока отец отбывал, закончил сельскохозяйственный. В пятьдесят первом приехал в колхоз. В пятьдесят третьем женился на учителке, что делала стенгазеты с козулинскими рисунками, и в пятьдесят пятом начал строиться.

Дом долго не шёл, не ладился. Думали вовсе бросить. Козулина земля новый дом будто не принимала. То угол провалит, то затопится, чего никогда и не было. В мае пятьдесят седьмого родилась девочка. В мае шестьдесят первого родился сын — Валерка «казачок» — на октябрьские праздновали новоселье.

Козуля пропал в конце мая, и, кроме писем с рисунками, ничего не осталось от козулинского рода. Была какая-то последняя атака, после которой его тела не нашли. Похоронка адресовалась правлению. Только не сохранилась, тоже где-то затерялась.

Екатерина Какурина

В одном и том же

Рассказ

Синькой это место у реки называют потому, что там водится голубая глина. Ею можно щедро обмазаться и обмазать других. Чтобы скрыть свой секрет, Маринка ничего лучше бы и не придумала, поэтому с утра убедила девочек идти туда. Не то чтобы выбор был большой, второй вариант — Жёлтенькая, но к ней в последнее время повадились приходить животные, чтобы там умирать. А до Серебрянки идти под солнцем больше двух часов. Кому захочется? Плюс двадцать восемь.

Ксюшка потрогала воду ногой и крикнула: «А-а-а!»

Маринка спросила:

— Что, холодная?

— Нет. Мокрая!

Маринке от Синьки нужно было одно: чтобы никто не увидел её тела, пока она будет загорать. И с этим Синька справилась. Маринка последней забежала в воду, сделав вид, что возится с верхом купальника, в который раз заметила, что положить в него пока нечего, но заминка помогла. Резкий прыжок за спинами девчонок, и телу удалось остаться не увиденным.

А перед выходом щедро обмазалась глиной, пока Ира лежала звездой на спине, а Ксюшка на руках несла Дашу к берегу: вода ей стала до колена и сила притяжения взяла своё — обе упали с громким плеском в грязь и расхохотались до хрипа. Хулиганка-Ксюшка хотела проделать тот же трюк с Ирой, стала к ней подбираться в воде медленными шагами, но та показала ладошки над водой и привычно сказала: «Со мной так нельзя». Этой фразе научила её пару лет назад мама, увезшая её сюда через всю страну от папы, который маму обижал. Эту фразу Ира говорит, может, и часто, а как иначе, когда рядом Ксюшка со своими причудами, но обычно по делу.

Какурина Екатерина Вадимовна родилась в Смоленской области. Окончила Высшие курсы Литературного института имени А.М.Горького. Выпускница магистратуры филологического факультета НИУ ВШЭ по программе «Литературное мастерство». Печаталась в журнале «Знамя». Лауреат премии «Лицей» (2020). Автор романа «Маркетолог от Бога» (Азбука-Аттикус, 2024). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Ксюшка решила теперь приставать к Маринке:

— Бросай глину в меня!

Маринка бросила, Ксюшка увернулась.

— Мазила!

Маринка иногда думала, не называют ли их с Ксюшкой уменьшительно потому, что они, в отличие от Даши и Ани, ещё не стали девушками. И в один прекрасный день станут ли они автоматически Мариной и Ксенией? А если этого вообще не случится, будут ли её звать Маринкой до старости? Ксюшку будут, от неё любая серьёзность отскакивает, она глину вон размазывает по лицу и волосам.

Стали загорать. Поделили на четверых пластинку виноградной жвачки. Ира села по-турецки, накинув поверх головы и тетриса полотенце, чтобы лучше видеть блёклый на солнце экран. Играла со звуком, со щелчками вжимая кнопки, надписи под которыми от времени и усердия уже стёрлись. Неугомонная Ксюшка изображала звуки тетриса каждый раз, как их слышала: радостный «тынь-тынь» и недовольный «куzum-куzum». Девчонки смеялись.

Когда глина пошла черепками, начался новый для Маринки этап — её облупить, чтобы потом незаметно надеть штаны. Но глупая глина отлетала только там, где была намазана густо, а местами легла как краска. Маринка маялась и, наконец, решила, пока девчонки лежат лицами вверх, быстро прыгнуть в воду. Удалось. Обратно Маринка вышла, когда все собирались. Схватила свою одежду и никто бы не заметил, но надо было Ксюшке, надевая кроссовки, сдать назад.

— У тебя тут не отмылось! — она потёрла одно из тёмных пятен над почти надетой штаниной.

— Ай.

Ира нагнулась, Даша тоже посмотрела. Теперь уже не скрыть.

— Просто ремнём за двойку, — бормотала Маринка, — там случайно на спину и на ноги попало.

— Надо что-то делать, — сказала Ира.

Но что сделаешь, мамы у Маринки нет, слишком пожалуешься на папу — заберут в интернат, пожалуешься не слишком — пеняй на себя.

— Не, ну так или этак синяков больше будет, — подвела итог Ксюшка.

Все помолчали. Даша заплакала. Стала Маринку обнимать, гладить по волосам. Ну и Ксюшка присоединилась, не смотреть же. Ира обнимать не стала, повторила только: «Надо делать что-то».

— Вообще, такой он интересный, этот твой папа, — заворчала Ксюшка, — перевёл в нашу школу, чтоб тебя микрорайоновские не обижали, а сам бьёт. Взрослые такие глупые, не могу.

У Маринки сквозь слёзы прорвался смешок. Её перевели после Нового года. А в феврале пришли микрорайоновские показать на заднем дворе, как надо с Маринкой обращаться. Ира сказала: «В нашей школе её обижать не будут, у нас тупых нет». Была серьёзная битва в снегу, на счастье, мягком, но снежками доставалось больно. Для Маринки это была впервые счастливая боль. Так они стали дружить вчетвером: Маринка и те, кто её защищал. И даже одеваются

теперь одинаково, потому что они команда. Сегодня вот белые штаны и топик. У Маринки уже слегка выцветший, но любимый, с «Титаником».

Было решено пойти на рынок и купить арбуз на деньги из банка, который они сколотили на прополке огурцов у Дашиной бабушки. Хотя и договаривались не раздражать своей дружбой микрорайон, но ведь Маринка любит арбуз. Надо её порадовать.

У входа на рынок им встретились мелкие и сказали, что микрорайоновские их ищут. Маринку сковало знакомое чувство: где-то в ком-то другом поднимается волна ярости и остаётся только ждать, когда она рухнет на тебя. И чем дольше прячешься, тем сильнее ударит.

— Надо идти в безопасное место, — сказала Даша.

— Значит, по домам? — спросила Ксюшка.

На секунду все замолчали и посмотрели украдкой на Маринку по очереди.

— Нет, в домик, — решила Ира.

Домиком называли небольшой сарай из досок на дереве, глубоко в пролеске за частным сектором. Никто из детей про него не знал. Откуда он там взялся, непонятно, девчонки решили, что когда-то давно его «построили бомжи». Нашли, обжили, оклеили плакатами из журнала Cool Girl, и теперь это их домик.

— А что будем делать с дядькой? — вспомнила Ксюшка.

По пути к домику, в начале пролески, то и дело расхаживал дядька, и старшие девочки говорили, что ходит он там не просто так, а чтобы «демонстрировать».

— Что демонстрировать? — спросила наивная Даша.

Ей объяснили.

— Мне девочки из десятого Б рассказывали, — сказала Ксюшка.

Проверить не хотелось.

Ира придумала. Вспомнила большое зеркало, которое видели сегодня на помойке. С зеркалом на вытянутых руках можно мимо любого подозрительного человека пройти. Девочки обрадовались, глаза загорелись! Стали смеяться, перебивать друг друга: представлять, как это будет.

Все вместе дошли до мусорной кучи и взяли зеркало. Пошли в пролесок на охоту.

Дядька расхаживал, где и ожидалось. Увидев девчонок, сначала заинтересовался, но как только заметил зеркало, весь как-то съёжился, сунул голову в плечи и ушёл.

Как они смеялись!

Зеркало решили поставить возле домика, и смотреться удобно.

Залезли наверх, играли в дурака, стало душно. Решили, что первый, кто вылетит, сходит за газировкой. Вылетела Ира. Даше стало её жалко, пошла с ней.

Идти до ларька десять минут. Через двадцать Ксюшке и Маринке стало как-то тревожно. Через полчаса они дошли до ларька, где встретили мелких. Те сказали, что Иру и Дашу поймали.

На заднем дворе начальной школы смеркалось и не было видно лиц тех, кто стоял в кругу. Слышно было выкрики «что ты танцуешь?», «меня мама по попе сильнее шлепала!», грубый нарочитый смех и ругань.

Маринка и без лиц всех этих людей узнавала и до тошноты ненавидела, но боялась подойти. Она прижалась спиной к стене школы и заплакала. Ксюшка побежала вперёд и получила удар в грудь ногой от охранявшего круг паренька. Она упала и на спине проехала по траве. Маринка поднялась на ступеньки запасного выхода. Ей теперь было понятно, что в кругу: драка два на два. С Иррой дралась её главный враг — Юлька. Девочка, с которой Маринка перестала дружить, и та приняла это как предательство. Юлька всегда работала на опережение: била, унижала, будто чтобы успеть раньше, чем кто-то скажет, что она дочка двух алкоголиков, никто её не любит, и только полоумная бабка и глухой дед поддерживают в них с сестрой жизнь, но большего дать не могут. И хотя Маринка даже не думала такое кому-то рассказывать, Юлька уже жила в этой боли и искала, как её унять.

Против Даши поставили толстуху из восьмого класса. Даша не хотела и не била. Добрая Даша. Маринке стало больно рыдать.

— А что ты плачешь? — с ласковым вопросом подошла старшая сестра Юльки получить свою порцию удовольствия. Это было гадко.

— Мальчик бросил, — ответила Маринка.

Даша сдалась первая, и её заставили извиниться. Ира извиняться не хотела, и её пинали уже на земле. Кто-то вслух забоялся, что она не шевелится, и все разбежались.

Девочки плакали на ступенях под вой Даши. Ира не плакала, сплёвывала кровь. Маринка сквозь рыдания, заикаясь и задыхаясь, сказала Ирре:

— Мне больше всех жалко тебя.

Ира пристально посмотрела на неё. Стояла тишина.

— Потому что получается, — всхлипывала Маринка, — что с тобой теперь так можно.

— Со мной так нельзя, Марин. И со мной навсегда так нельзя.

Идти домой в таком виде было невозможно. Но невозможно было и не идти домой. Уже стемнело, и Ксюшкины разбитые часы с Микки Маусом показывали, что нужно что-то решать.

— Пойдём спать в домик, — решила Ира. И спросила у Маринки: — У тебя дома телефон проводной или трубка?

— Проводной, — ответила Маринка.

— А провод дотянется через окно?

Маринка, одна сохранившая утренний вид, могла тайком зайти домой и вытащить телефон. Тогда девчонки бы позвонили и отпросились у родителей на ночёвку к ней, а сами пошли бы спать в домик, потому что никаких ночёвок папа Маринки, конечно, ни за что не разрешит.

Таким был их план, но случилось по-другому. Папа ждал Маринку в прихожей. Девчонки слушали, как он ругался на неё через приоткрытую дверь.

— Всё, — Ира резко распахнула дверь, ведя девчонок за собой.

Они втроём остановились перед папой и Маринкой, которые были одинаково удивлены.

— Вы чего все в синяках? — спросил папа.

— Мы команда и поэтому ходим в одном и том же, — ответила Ира.

С минуту стояло молчание, потом Ира сказала:

— Не говорите родителям про наши синяки, — она подошла к Маринке и взяла её за руку. — И мы тоже взрослым ни про какие синяки не расскажем.

Папа сделал резкий шаг вперёд, но Ира не дрогнула. Маринка заметила, что девчонки, сами того не замечая, обступили её. Будто защищая от отца. Она задержала дыхание — таким теплом её вдруг окатило.

Ира выдержала на себе строгий взгляд Маринкиного папы.

Он бросил сквозь зубы, что дочка постоянно падает, но телефон дал.

На разложенном диване в комнате Маринки поперёк поместились все вчетвером. Девчонки с мокрыми волосами, кусками картошки на синяках, лежали и пытались не болтать. Уже в который раз настал тот момент, когда вроде бы все успокоились и даже начали засыпать, как Ксюшка шёпотом сказала:

— Сегодня акция, четыре избитых девчонки по цене одной.

И снова комната взорвалась смехом. Послышался тихий стук в стену от Маринкиного отца.

Утром уже снова были на Синьке, в креме «Балет» на синяках. Закрывая нос, опускались на дно одновременно, споря, кто первый всплывёт. Ксюшка смотрела на Марину и пыталась понять, почему та смеётся так громко, как не смеялась раньше никогда. Папа точно ей ещё всыпет за вчерашнее, и всыпет ещё не раз за следующие шесть лет, пока она не уедет учиться. Но, наверное, жить легче, когда понимаешь, что с тобой навсегда так нельзя.

Аркадий Леонов

Животные на войне

Рассказ

В детстве у меня был хомяк, но он сбежал на третий день. Рыбки через неделю плавали в отрицательном положении тела. Купленная в зоомагазине канарейка выпорхнула из клетки в открытое окно. Подаренный соседкой котёнок сразу же написал в мои туфли и тотчас был лишён права проживать в нашей квартире.

Но добил меня соседский попугай, будивший меня по утрам истошными криками: «Хер я в грибы поеду!» После этого я решил: животные сами по себе, а я — сам по себе.

Я и не думал, что однажды окажусь в месте, где никакие прежние решения не имеют значения. На войне никто животных не покупает: ни в зоомагазинах, ни в питомниках, ни на фермах... Они приходят сами.

К нам в подразделение пришёл кот. Точнее, не пришёл — материализовался. Как будто собрался из атомов, субатомов и прочей квантовой пыли. Худой, полосатый, с выражением лица кадрового офицера. Мы — временные жильцы. Он — хозяин положения.

Уминал он всё с завидным аппетитом: и тушёнку, и сухпайки, и кашу с мясом, и солёные огурцы. Но особенно уважал шоколад «Алёнка», которым его угощал Серёга. С этого момента Серёга стал его главным человеком. Остальные числились массовой.

Ночью кот спал в каске. Не знаю, как помещался. Каска маленькая. Кот — нормальный. Но он сворачивался так естественно, будто каска и была его кроватью. Днём перекочёвывал на карту местности. Лежал на ней и смотрел, словно корректировал огонь артиллерии.

Во время обстрелов мы дрожали. Он — нет. Сидел спокойно. Как будто ему известны секретные сводки.

— Ну, у нас теперь боевой кот, — сказал я однажды.

— Боевые — это мы, — ответил Серёга. — А он просто живёт. И делает это лучше нас.

Через месяц кот исчез. Мы не удивились. Появился сам. Сам и ушёл. Возможно, к новой роте. Возможно, на повышение.

К Витьке прибилась собака. Большая, чёрная, как уголь. Витька назвал её Чернышом. Лаяла на всё: на людей, на технику, на танк. Мы шутили: «Если танк испугается, — война окончена».

Черныш имел странное свойство: при нём нельзя было ругаться. Он обижался. Смотрел так, будто ты только что сдал позиции врагу. Витька уверял, что он дисциплинирует личный состав. Мы проверяли — действительно, дисциплинирует.

Когда Витьку ранило, Черныш неделю жил под его койкой в госпитале. Его пытались выгнать — не вышло. В итоге оформили официально. В журнале медсестра записала: «Порода — неизвестна. Функция — моральная поддержка».

К нам в часть приплелась лошадь: старая, усталая, с проседью в гриве, с глазами, видевшими слишком многое, чтобы удивляться.

Мы звали её Бабкой, а иногда — Марьей Ивановной. Она никогда не спешила, просто стояла рядом, жевала сухую траву и смотрела так, будто знала больше, чем мы.

Иногда кто-то подходил к ней ночью. Гладил шею, шептал о доме, о страхе, о том, чего не скажешь товарищу. Она фыркала, дышала, слушала и всё прощала. Казалось, всё видела и всё понимала.

Однажды под обстрелом мы лежали в земле, а она стояла на пригорке. Стояла и смотрела, как будто проверяла нас на прочность. И странным образом именно это придавало сил.

А потом её не стало. Никто не знал, куда она ушла. Только в грязи остались следы копыт, ведущие к посадке. Мы решили: Бабка просто пошла дальше — на другую войну, где тоже нужны её большие спокойные глаза.

Рано утром нас всех разбудил пороссячий визг. Так у нас появился поросёнок. Маленький, с умными глазами, хвостиком крючком и розовым пяточком. Он рос на наших глазах, превращаясь в солидного борова. Его звали Пых. Никто уже не помнил, кто дал ему имя. Но все знали: пока Пых жив — всё будет нормально.

Пых погиб. Осколок. Его похоронили как героя. Но даже мёртвый, Пых, казалось всё ещё рядом — и значит, всё будет нормально.

У Сани был хомяк. Белый, грязный, с глазами цвета бутылочного стекла. Саня носил его в кармане бушлата. Потом переселил в рюкзак — хомяк рос, а карман нет. Когда Саня погиб, хомяк остался. Его носил другой боец. Потом ещё один. Так он превратился в полковой талисман.

Война быстро делает людей чёрствыми. Привыкаешь к потерям. И когда погибает собака или исчезает кот, — это почему-то больнее. Наверное, потому, что они не обязаны тут быть. Мы принимали присягу. Они — нет. Они выбрали нас сами.

Если меня когда-нибудь спросят, что я запомнил о войне? Полосатого кота, который спал в каске и смотрел на нас глазами вселенской совести.

Анвар Амангулов

Непрочитанный шедевр

1

Лицо пограничника было неестественно добрым. Обычно эти поджарые парни в форме бывают куда суровее. Я протянул ему паспорт сквозь узкую амбразуру и окинул осоловелым от недосыпа взглядом его рабочее место за прозрачным пластиком. Всё выглядело очень стандартно. Рабочий стол, минимум каких-то офисных папок и большой монитор с клавиатурой. Он быстро пролистал паспорт и так же быстро постучал пальцами по клавишам.

— *Көз айнегиңизди чечип, видеокамерага караңыз*¹.

Я снял очки и посмотрел в видеокамеру. Пограничник сделал фотографию моего помятого и небритого лица и вновь сказал что-то по-киргизски, чего я уже не смог разобрать.

— *Байке, мен кыргызча бильбейм*², — ответил я ему.

Он внимательно посмотрел на меня, но без той сверлящей пристальности, какая присуща пограничникам, но с намёком на любопытство, и спросил уже по-русски:

— Кыргызского гражданства, что, нет?

Я отрицательно покачал головой. Пограничник смачно шлёпнул печать, протянул паспорт и совершенно неожиданно добавил с неподдельной торжественностью:

— Добро пожаловать на родину.

Я всегда завидовал людям, умеющим спать в самолёте, ибо сам такой способностью не обладаю. Дорога из Ванкувера в Бишкек через Сиэтл и Стамбул оказалась долгой и изматывающей в креслах эконом-класса, неизменно пробуждавших во мне ассоциации с таким понятием как прокрустово ложе. Доехав до родительского дома, от усталости и недосыпа я чувствовал себя зомби, и хорошо, что брат, встретивший меня в аэропорту, сделал остановку в забегаловке где-то на полпути от Манаса. Оказавшись

Анвар Амангулов — разработчик программного обеспечения. Родился и вырос в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета и отделение информатики CDI College of Business and Technology (Барнаби, Канада). Печатался в «Авроре», «Дарьяле», «Новом журнале» (Нью-Йорк), «Сибирских Огнях» и др. Живёт в Британской Колумбии (Канада). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Снимите очки, посмотрите в видеокамеру (*кырг.*).

² Байке, я не говорю по-киргизски (*кырг.*).

в доме и увидев отца, я забыл о том, что ещё мгновение назад падал от усталости. Ата был невероятно худой. Смуглое морщинистое лицо казалось вытянутым, как на классических полотнах Эль Греко, и его всегда неестественно большие для киргиза карие глаза будто бы буравили насквозь. Было видно, что навалившаяся внезапно болезнь взяла своё. Он устало улыбнулся.

— *Насылсыныз?*¹ — в шутку сказал я по-турецки, подчёркивая, что ещё несколько часов назад находился в Стамбуле.

— *Жакиш*,² — ответил ата.

Последовал малопонятный мне, но неизменный ритуал с пиалой, который принят у киргизов после долгой разлуки, и мы вошли в дом, мало изменившийся с тех пор, когда я был тут ребёнком в далёкое советское время. Я открыл чемодан и стал извлекать привезённое из-за океана.

— Медовый бурбон «Джек Дэниэлс», какой ты любишь, — сказал я и поставил на стол бутылку виски.

Ата едва заметно кивнул, но особых эмоций не проявил. Было ясно, что экзотический алкоголь, столь понравившийся ему у меня в Канаде, не был во главе списка волновавших его сейчас тем. Это настораживало. Отец всегда любил жизнь во всех её проявлениях: от плавания в прохладных горных озёрах до дегустации самых необычных напитков. Я вытащил картонную коробочку с изображением абстрактного объекта и протянул отцу.

— Что это? — удивился он, рассматривая странный рисунок.

— Это генетический анализ. Узнаем твою родословную с генетической точки зрения.

В его глазах появился узнаваемый блеск интереса. Ата очень любил историю и её переплетения с эпическими сказаниями киргизов (а их очень много) и современностью. У киргизов есть где покопаться в прошлом — первые задокументированные упоминания о рыжеволосых и зеленоглазых бестиях с точно таким же племенным названием относятся к третьему веку до нашей эры. Китайские летописи тех далёких пор описывают их яростный милитаризм и военные рейды в Поднебесную с Алтая, где они тогда кочевали. Для китайской империи тех времён киргизы были сродни бичу божьему, как викинги для Британского архипелага или венгры для Моравии в Средневековье. Таких древних народов, сумевших наперекор историческим обстоятельствам не раствориться в потоке истории, а остаться отдельным этносом на протяжении тысячелетий, не так уж и много. Армяне, баски, евреи, киргизы... А где сейчас, допустим, «неразумные хазары», этруски или ацтеки? Расплавлены в горниле истории, сделавшись составной частью чьего-то этногенеза. Не то чтобы это очень важно, молодой народ или пожилой исторически. Лично мне всегда было без разницы. С учётом того, что я являюсь «продуктом» Советского Союза, я никогда не придавал особого значения этнической принадлежности, своей или окружающих меня людей. Национальность для меня была важна разве что с гастрономической точки зрения: уйгурский лагман, турецкая баклава или корейское кимчи... Только тогда я вспоминаю об этом, по большому счёту, когда случались острые ситуации с обвинениями в «манкуртизме». Но отец смотрел на историю иначе. Для него это было важно. Он изучал историю своего народа и гордился им, его

¹ Как вы? (*уважительно, турец.*).

² Хорошо (*кырг.*).

турбулентной и часто трагической судьбой, но при этом без ощущения превосходства над другими этносами, какое иногда встречается у агрессивно настроенных «патриотов».

Впрочем, а у какого народа историческая судьба без трагедий?

— Могут быть сюрпризы. Мой приятель в Канаде всю жизнь считал себя человеком шотландского происхождения, а оказалось, что генетического итальянца в нём куда больше, — сказал я, радуясь, что в глазах ата, наперекор болезни, зажёгся неподдельный огонь интереса.

— Не думаю, скорее всего, сюрпризов не будет. Но посмотрим, — с энтузиазмом ответил он и показал знаком, чтобы я налил ему привезённого бурбона.

Бишкек сильно изменился с тех пор, как я бывал тут в середине десятих. Тогда, после первой революции (а всего их за новейшую историю Кыргызстана произошло уже целых три), это был полный хаос, броуновское движение автомобильного трафика и потоков людей на фоне деградирующего советского наследия — совершенно убитых дорог. Сейчас порядка стало куда больше, и особенно это бросалось в глаза на вполне приличных трассах: как в советские времена, работали светофоры и соблюдались правила дорожного движения. А самый центр города, уютный тенистый даунтаун, где расположены посольства, вообще чем-то напоминал сердцевину Сиэтла с его ухоженными улочками, пиццериями, бургерными, фирменными бутиками типа «Бенеттон» и неонам рекламных огней в ночное время.

Черты того города, в котором прошло моё детство, узнавались, но не более, чем силуэты уцелевших гор на фоне тектонических сдвигов. Бишкек теперь запросто и без преувеличения можно назвать мегаполисом, причём вполне себе современным и с особым шармом, в котором чувствуется синтез старого советского, нового западного и подлинно тюркского. Здания советской постройки в центре, часто с новым «макияжем» на фасадах, использовались мириадами разных способов, с преобладанием, разумеется, коммерческого — плотность магазинов и бизнес-офисов в городе просто невероятна.

Западное влияние чувствуется в первую очередь в наружной рекламе, которой очень много, а больше всего среди неё — бесчисленных билбордов и растяжек, призывающих закусить в KFC. Этим Бишкек сильно отличается от городов Северной Америки, где признанный лидер фаст-фудной рекламы — это вездесущий «Макдональдс». Но здесь, в сердце Азии, по какой-то неведомой мне причине казалось, что «Макдональдса» будто бы вообще не существует в природе. Зато KFC занимает почти всё рекламное пространство. Реклама, к которой привык на английском языке, звучит необычно, когда видишь её на киргизском — на остановках я видел лайтбоксы «*Сандерс картөшкөсү*» («Картошка полковника Сандерса»), только с тем киргизским звуком «ө», которого не существует в русском языке (но который парадоксальным образом встречается в английском, как, например, единственная гласная в слове girl).

Тюркский же компонент прослеживается в многочисленных узорах, подобных тем, что можно видеть на национальных коврах-ширдаках, очертаниях юрт и снежных отрогов на разных вывесках, а также мощное присутствие турецкого бизнеса в городе — в какой-то момент у меня даже сложилось впечатление, что других банков, кроме турецкого «Демир-банка», в Бишкеке просто не найти.

Одна из очаровательных деталей городского ландшафта — это удивительная лингвистическая толерантность. Вывески, реклама, витрины и бока автобусов с одинаковой частотой и лёгкостью транслируют информацию на трёх языках: русском, киргизском и английском. Кириллица мирно уживается с латиницей, часто в контексте

одного и того же объявления. Несмотря на то, что с момента независимости Кыргызстана прошло больше тридцати лет, русский язык в городе продолжает оставаться тем *lingua franca*, каким он был в советское время. Трудно сказать, сколько ещё продлится такое положение вещей, но мне кажется, что до того момента, когда русский окажется вытесненным английским и, возможно, турецким как языками-мостами в республике. Может пройти ещё пара десятилетий, как минимум.

Но и отблеск лихих девяностых, как их принято называть, время от времени даёт о себе знать, совершенно неожиданно выпрыгивая на твоём пути, словно чёрт из табакерки, — около главного универсама столицы, знаменитого бишкекского ЦУМа, словно древние рептилии, пережившие падение Юкатанского метеорита, вполне себе успешно функционируют платные туалеты.

2

Мой отец мог бы запросто служить иллюстрацией к такому понятию как «любовь к жизни». И дело вовсе не в классическом одноимённом рассказе Джека Лондона. Ата обожал познавать всё новое, что могло появиться на его жизненном пути. Как истинный кочевник, он был лёгок на подъём и даже после семидесяти совершенно не задумывался, если появлялся шанс куда-нибудь поехать, будь то располагающийся под боком Казахстан или же другой конец света, как, например, Аляска. Нашу семью раскидало по всему белому свету: я оказался в Канаде, сестра в Италии (только недавно она перебралась в канадскую Манитобу), брат долго жил в Москве. Даже лучший друг юности отца уже в пожилом возрасте оказался в американской Флориде благодаря стечению уникальных жизненных обстоятельств. И везде отца с радостью ждали, что только подогревало и раззадоривало его тягу к новому опыту. Не знаю, откуда это у него. То ли некий глубоко сидящий генетический код, оставшийся в крови с тех легендарных времён, когда тюрки мигрировали с Алтая по всей Евразии, включая Балканы и Византию, то ли просто, оказавшись в молодости взаперти в душном Советском Союзе, когда выезд из страны для простых смертных почти полностью исключался, он теперь использовал любую возможность компенсировать потерянные в этом смысле годы. И везде, где бы он ни оказался, ата с жадностью впитывал культурные, гастрономические, исторические и прочие нюансы, которых не было в родном Кыргызстане. Когда мы приехали, помнится, в крошечный курортный городок Осоюз в Британской Колумбии, первое, что ата захотел узнать, — где тут индейская резервация и есть ли у них музей. Невероятным образом у местных индейцев действительно оказался музей, и ата сходил туда, с интересом изучил экспозиции томагавков и луков, а вечером что-то сосредоточенно записал в блокнот. Не зная английского, он тем не менее требовал, чтобы его брали в книжные супермаркеты, где однажды долго и дотошно рассматривал огромные фолианты по истории Древнего Египта. Глядя на него в такие моменты, я не мог отделаться от мысли, что отец чувствует себя первопроходцем, попавшим на интересную, неизведанную территорию, полную тайн и загадок. Как Эрнандо Кортес в Мезоамерике, но только без воинственности. Или Джеймс Кук на Гавайях, но без коммерческих интересов. Его завораживали тотемные столбы индейцев Аляски, а однажды я взял его на прогулку по периметру знаменитого Стэнли Парка в Ванкувере, самого большого в Северной Америке, и отец, несмотря на возраст, бодро прошёл целых семь миль, приговаривая, что если уж начал дорогу, то надо её завершить.

Самое удивительное случилось на Аляске, в крошечном городке Скагвей, прилепившемся к узкой береговой полосе между океаном и величественными горами. Наш лайнер приплыл туда рано утром, и у нас был целый день для прогулок. Мы долго бродили по старым улочкам со строениями, будто бы перенесёнными сюда из времён освоения Дикого Запада, где основными предметами торговли, как и столетие-другое назад, были золото, копчёный лосось и алкоголь. После исследования окрестностей мы нашли небольшую беседку в русском стиле (на Аляске вообще много русского), где и остановились передохнуть. Отец долго и очарованно смотрел по сторонам и вдруг сказал: «Знаешь, бывает так, что попадаешь в какое-то место и вдруг чувствуешь, что именно тут ты и должен жить. Понимаешь, о чём я?»

Я усмехнулся. Я понимал. Я и сам не против начать жить, допустим, на гавайском острове Мауи, но вероятность этого, разумеется, невелика, потому что наша фамилия не Делл, не Брин и не Гейтс¹. И вдруг ата со всей серьёзностью, на которую был способен, добавил: «Я, пожалуй, тут останусь, на корабль не буду возвращаться».

Я вновь усмехнулся и покачал головой. Он, конечно же, шутил. Но в глазах его была печать той отчаянной уверенности, какую, наверное, можно было найти во взгляде османского султана Мехмета, решившего в далёком 1453 году, что он хочет жить в Константинополе, или же легендарного Манаса², при котором в незапамятные времена киргизские племена вернулись в современный Кыргызстан с Алтайских гор.

Мой отец родом из Центрального Тянь-Шаня.

Большая часть топографии Кыргызстана — это горные кряжи, бороздящие республику с востока на запад, оставляя совсем немного места долинам и озёрам, одно из которых — огромное солёное озеро Иссык-Куль. Если направляться в Чолпон-Ату, но не доезжая Иссык-Куля резко взять вправо, в сторону Нарына, то можно доехать до большого села Кочкор, за которым рассыпью лежат айлы поменьше, один из них называется Кум Дебе. Там-то и родился мой ата.

Первый раз я там побывал, когда мне было года четыре, и мои самые яркие воспоминания о той поездке — это вездесущий и пронзительный запах бараньей шерсти и странное, почти потустороннее ощущение, что все вокруг в этом айле похоже на тебя. Много лет спустя я читал, что в горных селениях Сардинии такая схожесть не редкость ввиду того, что в стародавние времена относительная изоляция в горах приводила к ситуации, когда генетический пул становился своего рода инкубатором без серьёзного влияния извне. Вполне возможно, эта же логика была применима и к айлу, откуда родом отец. Кыргызы перешли к осёдлости к тому времени не более чем за поколение назад. Мой дед, которого я едва помню, родился в кочевых условиях, но кочевья эти почти наверняка были в окрестностях местных гор и включали в себя при нормальных обстоятельствах две большие перекочёвки в год. Летом — в горы, где обильнее и сочнее трава и можно выпасать скот. Зимой — в долину, где теплее, на зимовку.

Дело было летом, и осёдлая жизнь фермерского характера бросалась в глаза. Запомнились в полях стройные ряды джигитов с косами, трава до бедра. Джигиты заготавливали сено на зиму совершенно классическим образом, безо всякой

¹ Имеются в виду Майкл Делл (Делл Компьютерс), Сергей Брин (Гугл) и Билл Гейтс (Майкрософт).

² Манас — герой одноимённого кыргызского эпоса, признанного самым объёмным эпосом в мире.

механизации труда. Из кошар, где содержался скот, вырезали пласты кизяка и высушивали на солнце для топлива. Приземистые и всегда тёмные лошади были норовистыми и не терпели чужаков вроде меня. Молчаливые киргизские волкодавы грязно-песочного цвета казались огромными, но совершенно не свирепыми, что, конечно же, было обманчиво, поскольку охраняли они отары от волков. Диета была, как и принято у киргизов, — мясомолочной, с хлебобулочными изделиями типа боорсоков, которые хозяйки всегда готовили вручную. И каждый вечер предлагалось выпивать кесушку свежего, кислого и вяжущего рот кумыса, от которого можно было слегка захмелеть.

С отцом и родственниками я ездил несколько раз в местные горы, запомнившиеся ошеломляюще красивыми водопадами, живописными рыжими скалами и горными ручьями, полными форели. Форели было так много, что ловить её можно рубашкой, как неводом. Жареная на подсолнечном масле, она была очень вкусной.

«Здесь хорошо, зимой тепло. Совсем не так, как в Нарыне. В Нарыне холодно, как в Сибири», — говорил мне отец.

Уже подростком я как-то раз побывал в Нарыне, и сам удостоверился, что в декабре в этом городе было едва ли не так же холодно, как и в Новосибирске, где я в это время учился в университете. При этом я узнал, что Нарын как населённый пункт появился на карте в середине XIX века, когда царские войска заложили тут, на отдалённом фронтире Российской империи, город и заставу. И зачем, недоумевал я, покидая декабрьский Нарын, царские офицеры решили поселиться в таком холодном месте, когда буквально под боком, в Кочкоре, климат куда мягче? Ответ на этот вопрос мне до сих пор неизвестен (возможно, решение это обусловлено сугубо геополитическими соображениями, при которых климат имел второстепенное значение). Однако кое-какие исторические факты, связывающие меня лично и царскую Россию, узнать всё же удалось.

Девяностые, годы моей юности, оказались невероятно турбулентными для Евразии. Когда я был студентом в России, Советский Союз величественно рухнул. С его уходом на обломках империи появилась подлинная свобода, часто граничившая с хаосом. Свобода эта была почти во всём: можно было читать и смотреть что захочешь, как угодно относиться к истории, открыто критиковать кого хочешь, исповедовать какую угодно религию или идеологию — от кришнаизма и до черносотенства. Одновременно Россию и бывшие провинции Союза захлестнули экономические проблемы, и в какой-то момент мне казалось, что коммерцией во всех её ярких проявлениях не занимаются только ленивые. Кроме этого, многие вокруг вдруг стали находить в себе дворянскую кровь и с пеной у рта доказывали, что ведут свою родословную от Глинских, Дашковых или самих Юсуповых. Меня всегда веселили эти страстные потуги гордиться этой мнимой или реальной связью с дворянством или казачеством, которое тоже в те годы переживало ренессанс. Мне всегда было без разницы, какая у человека родословная. Для меня было куда важнее находить общий язык и общие интересы с людьми безотносительно паспортных данных или известности предков.

В этом смысле я, как и многие из моего поколения, серьёзно отличался от традиционного подхода к знанию собственного рода. Согласно традиции, каждый должен был знать своих предков до седьмого колена. Эта любопытная традиция несла в себе как ритуальную функцию (почитание предков и истории рода), так и чисто утилитарную, как мне однажды объяснил отец. Дело в том, что у киргизов исторически

запрещалось сочетаться браком с родственниками ближе седьмого колена, и знание своих предков помогало соблюдать данный запрет. Если же в силу случая имена предков, скажем, в пятом колене совпадали (фамилий-то ещё не было), то собирался совет аксакалов, который проводил расследование и либо давал разрешение, либо запрещал брак. Если вдуматься, в этом есть здравый смысл. Любые генетические отклонения вроде гемофилии, известной нам по династии Романовых, в условиях суровой кочевой жизни приводили бы весь род к непоправимым последствиям. У киргизов было необъяснимое, но очень верное понимание того, что родство супругов должно отстоять друг от друга как можно дальше для лучшего здоровья потомства. Вот на глубоко подсознательном уровне и появилось это понимание.

Но я, будучи по сути своей хомо советикусом, не знал своих предков до седьмого колена. И даже, к стыду своему, не любопытствовал. Ата, бывало, заикался об этом, но, видя, что меня это не особо интересует, не настаивал.

— Ну хоть запомни, что ты из племени Сары-Багыш! — с нескрываемой грустью сказал он мне однажды.

Это я запомнил. У киргизов народ подразделяется на племена, которые, в свою очередь, делятся на роды. Это типично для кочевых народностей, возьми любой тюркский этнос — структуру эту всегда найдёшь. Племя Сары-Багыш любопытно своим названием, ибо переводится на русский как «жёлтый лось». Вполне возможно, это связано с алтайским периодом раннего Средневековья как киргизов, так и всех тюрков вообще, поскольку лоси не водятся в Кыргызстане, зато они обитают на Алтае. В киргизском языке встречаются слова, непонятно откуда взявшиеся. Скажем, слон — это «пиль», а носорог — «керик». Откуда в языке столь короткие слова с яркой идентичностью, без калек с других языков и без композитного состава, как в том же «носороге»? Означает ли это, что в древности киргизы кочевали в краях, где водились эти животные? Или же, наоборот, это означает, что слоны и носороги населяли когда-то Алтай и его окрестности?

Мой младший брат, чья юность пришлась уже на эпоху суверенитета республики, оказался другой, более традиционной заправки. Он по сути своей остаётся моим окном в прошлое как нашего рода, так и народа вообще благодаря отличному знанию языка и традиций. А однажды он меня ошарашил тем, что нашёл в русскоязычной Википедии статью о нашем прямом предке по отцовской линии. Он, как и отец, знает наизусть все свои предыдущие семь колен, включая восьмое, которое известно отцу. Для меня это тоже восьмое колено, и звали предка Бекбото, и род наш так и называется — Бекбото. Статья же посвящена отцу Бекбото, человеку, сыгравшему серьёзную роль в истории киргизов, некоему Черикчи-бию, с 1758 по 1760 годы возглавлявшему союз киргизских племён. Черикчи-бий являлся, как написано в статье, «крупным феодалом». Уж не знаю, можно ли считать такую характеристику принадлежностью к дворянству. Портрет, приложенный к статье, не бросается в глаза ярким фамильным сходством, но ожидать этого после более чем двухсотлетнего периода и не приходится. С портрета смотрит самый что ни на есть типичный по виду киргиз с аккуратной бородой и в традиционном тебетее. Черикчи-бий много и успешно воевал как с китайскими войсками Цинской династии, так и с главной силой региона того времени — монголоязычными джунгарами (тоже, кстати, полностью ушедшими с исторической арены ввиду геноцидной политики маньчжурских монархов). Благодаря его усилиям север сегодняшнего Кыргызстана обрёл независимость от джунгарского владычества. Этот исторический персонаж был настолько хорошо известен за пределами Центральной Азии, что даже упоминается в рапорте некоего полковника Павлуцкого

к царю-батюшке от второго июня 1747 года наряду с описанием того, кто такие киргизы в принципе: *киргизы, они же и буруты; жительство имеют в городе Андижане, в расстоянии от Урги* (ставки джунгарского хана) *в западную сторону, например, ходу месяц*. Рапорт этот, по всей видимости, и есть та единственная ниточка, что связывает меня как прямого потомка Черикчи-бия по отцовской линии с голубой кровью киргизов с одной стороны и с царской Россией с другой. Факт сам по себе любопытный в исторической ретроспективе, но, конечно же, почти ничего не значащий в современных реалиях ни в России, ни в Кыргызстане.

3

Отец устало смотрел на меня.

Его лицо, да и сам он весь, казалось, усохли. За последние недели ата потерял двадцать один килограмм. Болезнь безжалостно подтачивала его изнутри, хотя держался он молодцом — не жаловался и не просил о помощи в бытовых вопросах. На журнальном столике перед кроватью, где он проводил теперь большую часть времени, лежал присланный мною несколько месяцев назад американский русскоязычный литературный журнал с моим рассказом. Лежал он разворотом кверху. Похоже, отец читал его незадолго до моего прихода.

Я стал бодро рассказывать о своих детях, его внуках, которых он знал и любил. Как они живут в далёкой Канаде и чем занимаются. Что сын, будучи студентом университета Торонто, готовится к экзаменам и практикует русский, общаясь на нём со студентами из Казахстана, России и Армении. Что дочь увлекается кроссфитом и европейским футболом, называемым в Северной Америке соккером, и говорит по-французски без акцента. Отец удовлетворённо кивал, приговаривая слова одобрения по-киргизски, и вдруг неожиданно сказал: «Сходи, с Ивановым поговори. Пока ты тут».

Я молча кивнул.

То, как я зарабатываю на жизнь, не имеет ничего общего с моим, как я его сам называю, увлечением графоманией. То есть на работе я тоже пишу, но это компьютерный код, который читают лишь мощные серверы, облегчающие работу массе людей в определённой индустрии. Графоманию же я на досуге, которого, как правило, почему-то всегда не очень много. Кое-что из того, что сочиняю, иногда публикуют в литературных журналах. В некоторых чаще, чем в других, как, например, в «Литературном Кыргызстане» — издании очень старом, выходившем ещё в советские времена, когда-то публиковавшем произведения Распутина, Евтушенко, Айтматова, Пикуля. Александр Иванов возглавлял журнал в последние годы, и, вспоминая о нём, я не мог перестать думать о нём как об античном Прометее, несущем спасительный огонь людям. Но Александр Иванович был совсем непохож на того атлетичного мифического титана, какого мы видим на полотнах классиков. Да и огонь, что он нёс киргизстанским читателям, был далеко не экзистенциального характера, оставаясь лишь той частью современной письменной культуры, без которой, строго говоря, прожить можно. Это отлично прослеживалось в падающих тиражах журнала и в отсутствии интереса к его функционированию как у молодого поколения, так и у государства, никак не поддерживавшего его.

Я зашёл к Александру Ивановичу в редакцию журнала, разместившуюся в старом обшарпанном здании, которое, как я понял, занимала в основном некая коммерческая компания, торгующая кафельной плиткой или чем-то вроде того. В офисе висел тяжёлый запах затхлости и складированных где-то под боком стройматериалов. «Запах отчаяния», — отчего-то подумал я. Александр Иванович сидел за компьютером и, подслеповато щурясь, неторопливо что-то печатал.

Мы говорили недолго, и диалог наш касался общего вектора эволюции книги как носителя информации, хотя вряд ли я могу считать себя экспертом в этом вопросе. Я честно сказал, что не вижу большого будущего у традиционных бумажных книг, кроме детской литературы и, возможно, того кулинарного сегмента, где важны крупные и качественные фотоиллюстрации. Бумажные книги в наши дни замещаются электронными очень быстро. Хранить и читать их на ридерах типа Киндл, Нук или Кобо куда удобнее. Батарея «пыхтит» неделями, можно выставить шрифт и его размер согласно собственным предпочтениям, а также читать в темноте. На ридер можно закачать библиотеку, занимающую в печатном виде целую комнату. Александр Иванович слушал меня с грустью. Его поколение, и это неудивительно, любит бумажные книги. Шуршание страниц и аромат бумаги значат для него куда больше, чем для меня, человека, проводящего большую часть времени с самыми разнообразными гаджетами — от ноутбука, на котором я работаю, до айфона, который, как те провербильные деньги, — не пахнут.

«Тебе надо издать собственную книгу», — вдруг сказал он.

Я знал, что Александр Иванович имел в виду. У меня нет гуманитарного образования и, возможно, поэтому я пишу как банальный оппортунист — что придёт в голову, вне зависимости от того, вымысел ли это чистой воды, травелог или эссе-размышление. Когда-то в юности я провёл несколько месяцев в первозданно диком киргизском высокогорье в охотничьем лагере, где отчаянно храбрые джигиты помогали добывать архаров состоятельным охотникам из Америки и Европы. Воспоминания о тех временах стали базисом для целой коллекции новелл. Это и имел в виду главный редактор. Но издание книги в Кыргызстане и, как я подозреваю, на большей части постсоветского пространства, не имеет ничего общего с тем, что такое издание книги, например, в Америке. Автор, по сути, сам должен профинансировать издание, забрать тираж и где-то его самостоятельно реализовывать одному богу известными способами. Меня, разумеется, это не интересовало, о чём я честно и сказал Александру Ивановичу. И сменил тему: а как «Литературный Кыргызстан»? Развивается? Процветает?

Его лицо сразу же стало печальным и как-то даже посерело.

«Нет. Журнал закрывается», — ответил он с горечью.

После многих десятилетий работы и славной литературной истории возглавляемое им издание оказалось, как говорят в Америке, belly up, — «брюхом вверх». Запах отчаяния, что я уловил, заходя в это допотопное здание, оказался далеко не беспочвенным.

Мы оставили позади черту города и двигались в сторону гор.

«Здесь тоже есть», — показал мне брат на придорожный щит, рекламирующий торговлю свежей форелью.

Время не стоит на месте, и эта трасса из Бишкека в ущелье Ала-Арча может служить прекрасной иллюстрацией к классическому высказыванию Гераклита о том, что в этом мире постоянны только перемены. Традиционную кухню киргизов можно

назвать классически кочевой — мясо-молочной с небольшим количеством овощей (при доминировании лука) и мучных изделий (типа традиционных боорсоков). Но вот рыбы в этой кухне не было никогда. До недавнего времени. Теперь же рыба начинает мощно интегрироваться в традиционную кухню, разрывая, если можно так выразиться, гастрономические шаблоны. Сейчас в Кыргызстане настоящий рыбный бум, судя по бесконечным вывескам вдоль дороги. Форель можно купить сырой или приготовленной. Форель можно выловить и тут же зажарить. Брат сказал, что бизнес по искусственному разведению форели настолько бурно развивается, что уже начались экспортные поставки рыбы в Россию. Киргизы, да и вообще все кыргызстанцы, очень гибки и открыты миру, что бы этот мир им ни нёс. Когда я был ребёнком, среди киргизов бытовало мнение, что заниматься коммерцией в чистом виде — занятие не особо достойное уважения. Теперь же киргизов во всех сферах бизнеса, от мелкой торговли на базарах и до крупнооптового экспорта на внешние рынки той же форели, — хоть отбавляй.

Мы бродили по невероятно живописным тропинкам в ала-арчинском ущелье вдоль заснеженных ёлок и сосен и шумной горной реки, полирующей прибрежные валуны до идеальной округлости. Многочисленные племянники бодро и весело носились по камням сухой части русла, заставляя нас с братом нервничать. Низко висевшие над отрогами облака придавали пейзажам библейскую ауру. Было пасмурно и промозгло, но ошеломляюще красиво. Киргизские ущелья чем-то напоминают те, которыми изобилуют горы Британской Колумбии, особенно в засушливой её части, что ближе к долине Оканаган. Тропы были не очень многолюдны, и почти все встречные и поперечные являлись туристами. Туристов вообще очень много в стране. На моём рейсе из Стамбула в Бишкек рядом, в одном ряду, летела женщина из Финляндии, изучающая что-то этнографическое в киргизской глубинке, и два совсем молодых паренька из (внимание!) Аргентины, которые просто хотели увидеть киргизские горы, а уж потом поехать в Самарканд лицезреть средневековую архитектуру. Кыргызстан как туристическое направление неожиданно стал очень привлекательным для всего мира, но при этом без фанфар и громкой рекламы. Почему — загадка.

«Это пакистанцы», — сказал брат, когда мы миновали группу смуглокожих граждан, оживлённо трещащих на непонятном наречии, остервенело фотографируя скачущих белок и шумных птиц.

«А это из России», — добавил он, указав на троих пареньков, неторопливо двигавшихся нам навстречу.

Даже я, спустя несколько дней, стал различать местных и тех, кто приехал из России. «Релоканты», — так их с оттенком пренебрежения называют в официальных российских СМИ. Говорят, их было особенно много сразу после объявления мобилизации. Поток их в какой-то момент был настолько мощным, что Кыргызстан на непродолжительное время вошёл в тройку ведущих стран мира по плотности айтишников на душу населения после Америки и, парадоксальным образом, Армении (куда, кстати, поток выехавших из России оказался более серьёзным). Мой наблюдательный брат выделил три ярких признака неместных русских. Во-первых, они говорят с другой интонацией, лексикон их отличается от местных русскоязычных. Во-вторых, у многих есть разноцветные татуировки, что в консервативном Кыргызстане вещь почти не встречающаяся у обывателей. А в-третьих, они часто ярко одеваются, что, опять же, в целом, не характерно для Кыргызстана, особенно среди мужчин. Россиянам здесь в целом легче адаптироваться и прижиться, чем во многих других странах, поскольку русский язык до сих пор весьма

распространён, а отношение киргизов к приезжим в целом довольно спокойное, тем более что среди них много доходоприносящих туристов. Кыргызский бунт бывает если не бессмысленным, то однозначно беспощадным, как показали события трёх прошедших революций и треволнений помельче, но, за исключением эксцессов на юге, имевших скорее криминальный характер, бунт этот не несёт в себе ярко выраженной националистической окраски. Это не означает, что ситуация однозначно радужная, о чём свидетельствуют недавние трения местной молодёжи с пакистанскими студентами (обошлось, слава богу, без жертв). Но в целом киргизы народ толерантный и, как говорят в Америке, *let's keep it that way*, — пусть так и остаётся.

Племянники вновь устроили игру, оживлённо скача по камням в русле и даже запрыгивая на заснеженные валуны, расположенные вблизи быстрого течения. Брат прикрикнул на них, и в какой-то момент все четверо обернулись и посмотрели на нас. Они были удивительно похожи на нашего отца, особенно старший. Генетическая преемственность налицо. Ата медленно, но неуклонно угасал, но внуки продолжали нести его мощный генетический заряд в будущее. Мы переглянулись с братом, и тот сказал: «Молодец, что приехал, увидел отца».

Я молча кивнул и посмотрел на русло реки, уходящей вдаль, туда, где две огромные горы с вершинами, укрытыми одеялом из тёмно-серых туч, будто бы наползали друг на друга. Библейская аура по-прежнему бросалась в глаза, только вместо ветхозаветных смоковниц вокруг стояли хвойные деревья.

В мой последний день в Бишкеке мы, согласно инструкции в коробочке, взяли генетический анализ у ата. Я тщательно его упаковал и пообещал отправить для теста в компанию, которая предоставляет эту услугу, сразу же, как только вернусь в Канаду. Отец устало, но с одобрением кивал. Я старался быть оптимистичным.

— Давай выздоравливай и приезжай! Тебя ждут и в Канаде, и в Америке. Я уже начал процесс по обновлению твоих виз.

Друг юности отца зазывал его во Флориду. Наша сестра ждала его в Манитобе. Мы всегда были рады принять его в Ванкувере. Отец опустил голову на подушку и закрыл глаза. Я продолжал бодро говорить, строя планы на будущее. Он поднял руку, как бы прося меня сделать паузу. Я замолчал. Отец тихо и не открывая глаз произнёс:

— Твой шедевр в бунинском журнале... Я не смог его прочитать. Я больше не могу читать, оказывается.

Он назвал журнал бунинским, потому что Иван Бунин участвовал в его создании в Нью-Йорке в далёком 1942 году. Я мысленно выругался на обоих языках. Отец *всегда* читал мои публикации, и стало понятно, что болезнь усилила свою хватку. Я взял его телефон с тумбочки, быстро нашёл вебсайт, на котором можно было слушать аудиокниги на русском, и сказал как можно спокойнее, что это не беда и, скорее всего, явление временное, что пока он может слушать книги вместо того, чтобы их читать.

— Что тебе включить? — спросил я.

— Чехова включи, — попросил он, не открывая глаз.

Я включил ему «Крыжовник», и некоторое время мы вместе слушали эту классику, начитанную выразительным мужским голосом с почти идеальной дикцией.

Проводы, как водится у киргизов, были долгими, и чемодан мой изрядно потяжелел из-за подарков, которыми родня меня просто завалила. Около полуночи

я выехал в аэропорт. На пограничном контроле тот же самый офицер с неестественно добрым для этой службы лицом так же смачно шлёпнул печать в мой паспорт.

— Чон рахмат¹, — сказал я ему и отправился в свой терминал в крошечном по меркам Стамбула или Сиэтла бишкекском аэропорту.

4

После изнурительных перелётов я ехал под проливным дождём из Сиэтла в Ванкувер и думал об увиденном в Кыргызстане.

Страна, которую я покинул давным-давно, когда ещё она была провинцией в составе почившей в бозе империи, сильно изменилась. В ней осталось совсем немного советского, хотя, спроси любого в городе, используя старые названия улиц, площадей или районов, тебя без проблем поймут. Траектория развития независимого Кыргызстана была замысловатой и не всегда радужной. Три революции, огромная доля населения, работающего за пределами страны, пограничные трения с южным соседом, перерастающие в боевые столкновения, трагедия с пандемией (как и во всём мире, впрочем), затяжные экономические проблемы — всё это, разумеется, нельзя сбросить со счетов. Но, с другой стороны, видны ростки подлинного ренессанса, причём во многих областях жизни. Этот год был первым, когда качество воздуха зимой не зашкаливало в худшую сторону ввиду проводимой массовой газификации Бишкека. Деловая активность всех бизнесов, от туристического и ресторанного до условно инновационного вроде разведения форели, бьёт ключом. Даже киргизская музыка словно вырвалась из прокрустово ложа традиций и лилась из каждого утюга в мириадах жанров, включая киргизский рэп и киргизский рок. Впервые я испытал осторожный оптимизм по поводу будущего Кыргызстана.

Думал я и об отце, понимая, что дела оставляют желать лучшего. Ата всю жизнь был удивительно здоровым человеком, и даже дантиста посещал крайне редко. И поэтому скорость и безжалостность его угасания не переставала изумлять. Ещё несколько месяцев назад он бодро передвигался, колесил по республике, руководил массой разных дел и активно планировал путешествия по планете. А теперь был практически прикован к постели и даже не мог делать того, чему всегда посвящал много времени, — читать. Дождь в напавших сумерках усилился, и я включил дворники на ускоренный режим. Тёмные струи воды стекали по лобовому стеклу в полумраке, словно чьи-то исполинские слёзы.

Я отправил на следующий день генетический тест, взятый у отца.

Через пару недель подробный отчёт стал доступен на вебсайте компании, и каково же было моё удивление, когда я увидел разбивку по генетическому портрету ата! Большая часть была предсказуемой — Центральная Азия играла первую скрипку. Два процента составляли далёкие канадские аборигены, но это тоже вполне объяснимо, поскольку Америка заселялась мигрантами из Азии в те далёкие времена, когда Берингов пролив представлял собой сухопутный перешеек между континентами. Но вот как получилось, что отец почти на десять процентов финн, понять было непросто. Я позвонил ему в тот же день, когда прочитал результаты. Его голос стал заметно слабее, но информация заинтересовала, и он внимательно слушал.

¹ Большое спасибо (кырг.).

— Так откуда у тебя финские гены? Какое отношение Кыргызстан имеет к Финляндии? — спросил я.

— Финны, венгры, — они все выходцы из наших краёв. У них даже языки схожи с тюркскими, — ответил он.

Я тоже читал, что тюркская семья языков схожа по ряду параметров с финно-угорской, что отражается в том факте, что носителям турецкого венгерский даётся легче, чем любой индоевропейский язык. Но те времена невероятно седой старины, когда финно-угорские племена откочевали далеко на северо-запад, казались такими же далёкими, как юрский период. Генетический код, однако, словно печать в паспорте, не думает меняться с течением времени и географическими перемещениями по континенту.

Субботнее утро началось спокойно.

После напряжённой трудовой недели я встал чуть позднее обычного. Жена налила кофе, и я, пригубив, открыл свежие газеты на айпэде. На первой полосе флагамена американских медиа была большая статья об успешной операции израильских спецслужб по освобождению четырёх заложников, захваченных террористами Хамас ещё в прошлом октябре. Среди них была девушка, запомнившаяся, пожалуй, всему миру, поскольку захват её террористы снимали на видео, которое потом стало гулять по сети. Агония на её лице в тот страшный момент без сомнения стала ассоциироваться у многих с тем кошмаром, что Хамас устроил Израилю своим внезапным нападением на мирные киббуцы. Но теперь её освободили, и она находится в безопасности. «Слава богу», — облегчённо подумал я, поражаясь профессионализму израильского спецназа.

Мой телефон залился узнаваемой трелью. Звонила сестра из Манитобы. Я взял трубку, и спустя мгновение потерял всякий интерес как к кофе, так и к чтению. Отец ушёл из жизни, немного не дотянув до восьмидесяти. Сестра рыдала и сбивчиво говорила что-то, но я уже плохо понимал, о чём. Моя жизнь в этот момент вновь разделилась на две части — до и после. «До» — когда я ребёнком ездил с ним в родовое село и когда уже взрослым с интересом слушал его впечатления о моём творчестве. «После» — когда нужно было говорить детям, что ата умер и заниматься организацией поминок. Потом были многочисленные звонки из Кыргызстана, где дым теперь стоял коромыслом.

Мы все приходим в этот мир только для того, чтобы в конце концов уйти из него, и, в принципе, это нельзя назвать чем-то неестественным. Всё имеет своё начало и свой конец. Наше пребывание «по эту сторону рая», как сказал классик, весьма скоротечно во вселенском контексте. По словам Набокова, человеческая жизнь — это краткосрочная вспышка света между двумя стенами вечности. Но есть ли какой-то смысл в нашем пребывании в этой юдоли скорби, какой часто представляется окружающая нас реальность? Есть ли смысл в уходе человека из жизни?

Я думал об этом тем субботним вечером. Кофе передо мной сменился рюмкой виски. Постукивая кубиками льда в бурой жидкости, я вдруг вспомнил, как читал об освобождённой израильской девушке, и подумал, что в один день одна жизнь прервалась, а другая получила шанс на продолжение. Эти два события объективно были совершенно не связанными друг с другом и произошли в разных концах света. Но, быть может, это не так? Быть может, уход из жизни моего отца каким-то загадочным образом положительно повлиял на события в Святой Земле — в контексте провербиального эффекта бабочки? Я никогда не узнаю, так ли это,

но я знаю, что всегда теперь буду говорить самому себе, словно агент Фокс Молдер из старого сериала «Секретные материалы»: *I want to believe*, — мне хочется верить.

Несколько дней спустя я работал поздним вечером, напряжённо ища в собственном коде логическую ошибку в бизнес-отчётности компании клиента. Жена отвлекла меня ненадолго, сказав, что наши друзья планируют поехать в отпуск на Барбадос, где их сын недавно нашёл хорошую работу.

— Скажи, что мы поедem с ними, — быстро сказал я, не отрывая глаз от монитора.

Повисла пауза. Похоже, я застал её врасплох. Наконец, она со скепсисом в голосе произнесла:

— Ты уверен? После всех выплат за университет ребёнку в этом году у нас ещё будут средства на отпуск на Барбадосе?

Я оторвался от дисплея и посмотрел сначала на неё, потом на портрет отца, обосновавшийся на моём рабочем столе. Отец улыбался той мягкой улыбкой, что всегда обезоруживала его собеседников и располагала к долгому и интересному диалогу. Я ответил:

— Уверен. Ничего нельзя откладывать. Ничего.

Ганна Шевченко:

«Поэтический дар — мутация души»

Разговор ведёт Юрий Татаренко

Ю.Т.: Как эволюционируют поэты? Сначала молодой яркий автор набивает шишки — а дальше?

Г.Ш.: Я приехала в Москву в двадцать девять лет. За плечами провинциальная литературная студия, где мои стихи в основном хвалили. И вот я начинаю осваивать московское литературное пространство и размещать стихи в интернете. Боже, какую боль мне доставляли критические комментарии, оставленные коллегами, я аж краснела от гнева, когда их читала. Был такой сайт «Поэзия.ру». Там сидело какое-то рекордное количество злых дядек, которые с утра до вечера только тем и занимались, что бродили со страницы на страницу и критиковали чужие стихи. Сколько они моей крови попили... А потом были семинары в Липках, в ЦДЛ, в Булгаковском доме, в Коктебеле на Волошинском фестивале — мастер-классы Бахыта Кенжеева, Алексея Цветкова, Ольги Ермолаевой, Ирины Барметовой, Андрея Василевского, Алексея Алёхина. Постепенно пришло понимание, что такое хорошо и что такое плохо для поэтического текста. И вместе с ним — равнодушие к чужому мнению, и к хуле, и к похвале. А если нужно с кем-то посоветоваться, показываю тексты экспертам из ближнего круга — любимым поэтам и любимым редакторам. А вообще, с возрастом стихов становится меньше и меньше. И дело не только в угасании творческой энергии, а ещё во внутреннем отборе — всё меньше тем и явлений трогают душу, вызывают необходимость лирического высказывания. Высшая точка эволюции поэта — это молчание.

Ю.Т.: Вы назвали больших мастеров слова. Они ведут занятия по-разному? Расскажите, чем запомнились эти разборы стихов.

Г.Ш.: Помню мастер-класс Цветкова и Ермолаевой в Коктебеле. Ольга Юрьевна взяла тогда на себя роль «злого полицейского» и очень привередливо, как и должно редактору серьезного журнала, разбирала стихи. И вот после её справедливых замечаний по моим текстам Алексей Петрович положил руку на рукопись и сказал: «Но это не бездарно». Разве такое забудешь? Хорошо запомнился мастер-класс Кенжеева в том же Коктебеле. Когда закончилось обсуждение, он подошел ко мне и сказал: «Деточка, в стихотворении “Охранник Геннадий Сушко” слово “овощи” я заменил бы на “яблоки”». Конечно, я исправила, и в “Сибирских огнях” впоследствии оно было опубликовано с правкой Бахыта — вот такая у меня осталась о нем память. И наука — от общего уходить к конкретному, лучше наводить резкость, глядя на предмет.

Ирина Барметова — редактор высочайшего уровня. Она вела семинар прозы, и помнится, один мой короткий рассказ вернула со словами: «Если всё исправишь, я готова его опубликовать». Я посмотрела в текст и ахнула, на нём не было живого места, он весь был в красных зачеркиваниях и замечаниях. Ирина Николаевна научила меня тщательно подбирать слова и отсекал лишнее. Алексея Давидовича Алёхина я считаю своим «крестным отцом» в поэзии. В марте 2012 года он в РГГУ представил новых поэтов журнала «Арион», где я выступила в числе других молодых авторов. Я тогда только начинала публиковаться, и это приглашение было для меня честью. С тех пор я печаталась в «Арионе» каждый год, и всякий раз, собирая подборку, Алексей Давидович устраивал мне маленький мастер-класс, давая дельные советы. А ещё, приезжая в Липки на Форум молодых писателей, я ходила на семинар Василевского и Алёхина, послушать, как они разбирали стихи других авторов. Очень захватывающее зрелище. И полезное.

Ю.Т.: Где и у кого учиться начинающему поэту? В литературе учителя и авторитеты — синонимы?

Г.Ш.: Научиться быть поэтом — это как научиться быть альбиносом. Поэтический дар — это мутация души. Конечно, начинающему автору нужен наставник, чтобы помочь правильно распорядиться полученным даром, найти свой оригинальный голос.

Ю.Т.: А вы на чьих стихах и книгах учились жить и писать? Кто для вас авторитеты в искусстве?

Г.Ш.: Я родилась и выросла на окраине мира в маленьком шахтерском поселке и была оторвана от большой литературы. Читала то, что находила на семейных книжных полках и в местной библиотеке. Первая любовь — это Ахматова. Её стихи хорошо запоминались и точно выражали чувства вечно влюбленной девушки, какой я была в ту пору. Вторая любовь — Гумилёв. Его сборник я случайно нашла в шахтной библиотеке и так и не вернула. Его стихи мне показались диковинными сувенирами — такие экзотические, яркие, выразительные... А потом был Бодлер и его «Цветы зла»... Пожалуй, это моя любимая троица юных поэтических лет.

А сейчас для меня значимыми являются поэты, которые возбуждают творческое либидо. Прочитал одно-два стихотворения — и чувствуешь, как внутри зашумела стихия. Носители вечного огня. Прометеи, дарующие тепло.

Ю.Т.: Поэты обладают способностью предвидеть. Много ли напорочили себе в стихах?

Г.Ш.: «Оставляя на почве дымящийся след, снова Гекатонхейры выходят на свет и колонной идут в облаках синевы в направлении Курска, Орла и Москвы». Эти строки вертелись в голове осенью до известных событий, когда мы и подумать не могли о том, что случилось в феврале. Гекатонхейры — это воинственные великаны из древнегреческой мифологии, олицетворяющие хаос и разрушение. Стихотворение так и не сложилось, но я не раз вспоминала это четверостишие, читая новости о событиях в Курской области.

Ю.Т.: Есть устойчивая точка зрения: поэзия — только то, что в рифму. Согласны?

Г.Ш.: Американский мифолог Джозеф Кэмпбелл писал, что миф — это чудесный канал, по которому энергия космоса оплодотворяет человеческую культуру. Уверена,

поэзия спускается на Землю по этому же каналу, и какое имеет значение, в зарифмованном виде она является или нет.

Ю.Т.: То есть вы не противница верлибра. А кто из мастеров свободного стиха вам наиболее интересен?

Г.Ш.: Верлибры писали многие классики, от Сумарокова до Ахматовой. Интересны все, кто делал и делает это талантливо.

Ю.Т.: Опасны ли графоманы? Почему они не прогрессируют?

Г.Ш.: Они, в первую очередь, вредны. Люди, лишенные таланта, публикуются в литературных журналах, издают книги, ездят по фестивалям. Всё это приводит к катастрофической девальвации поэзии. Читателю сложно в этом обилии безвкусовых текстов найти что-то по-настоящему стоящее. Вот и обращаются люди всё больше к проверенной классике, разочаровавшись в современной поэзии.

Ю.Т.: Лучшее начало встречи с читателями — это...? Важно ли вам поскорее установить контакт с публикой?

Г.Ш.: Лучшее начало встречи с читателями — это присутствие этого самого читателя. Думаю, многие попадали в ситуации, когда мероприятие активно рекламировалось, афиши размещались на сетевых ресурсах и в блогах выступающих авторов, а в зале — несколько слушателей.

Ю.Т.: Яркий финал — это критерий хорошего стихотворения или нет?

Г.Ш.: Многие считают, что критерий, но есть и противники этого приема. Помню, как-то Андрей Чемоданов писал в своём блоге, что яркий финал — это легкий и проверенный путь, и он предпочитает расставлять акценты иначе — сделать яркое вступление, а к финалу снизить градус повествования. В данном случае я — консерватор. Если стихотворение не просто лирическая зарисовка, а нарративное высказывание, для него трехактная структура является идеальной — завязка, развязка, кульминация. Можно сколько угодно изобретать треугольные и квадратные колёса, но круглое катится лучше.

Ю.Т.: Что выбираете: прогулку с Гёте или Столыпиным?

Г.Ш.: Шопенгауэр после первой встречи с Гёте писал, что великий поэт всё время говорил о своей теории цвета. Думаю, мне сложно было бы поддержать этот разговор. К тому же Гёте оставил большое литературное наследие, и я могу общаться с ним каждый день, открывая книги. А вот Столыпин, хоть сам и не писал, был ценителем изящной словесности и поддерживал литераторов, писавших стихи о родном крае. Думаю, нам было бы о чём поболтать.

Ю.Т.: Налицо интересное поколение тридцати-сорокалетних поэтов. Воспринимаете их как коллег или как конкурентов в борьбе за читательское внимание и литературные премии? Чьи стихи вам ближе — Майки Лунёвской или Марии Затонской? А может быть, 26-летней Варвары Заборцевой? Читаете ли тексты из длинных списков премии «Лицей»?

Г.Ш.: Специально премиальные листы не просматриваю. Читаю то, что от случая к случаю попадает в сети. Имен называть не буду, чтобы никого не обидеть.

А насчет конкуренции даже не знаю, что ответить... С кем и за какой приз бороться? Серьезные премии закрылись. Издать книгу за деньги сейчас может даже попугай Кеша, едва научившийся говорить. А в литературных журналах царит полная демократия — в уважаемых изданиях наряду с отличниками публикуются и слабые троечники. За читателя тоже бороться бессмысленно — дамы, читающие Солу Монову, вряд ли станут читать Ольгу Седакову и наоборот. Так что места под литературным солнцем сегодня хватает всем.

Ю.Т.: Что делает современную поэзию современной?

Г.Ш.: Отражение в стихах процессов, ранее невиданных, будь то технический прогресс, социальные явления, философские установки.

Ю.Т.: Слышали песни на свои стихи? Как реагируете?

Г.Ш.: Благодарю автора за музыку. Поэты вниманием не избалованы, и, если твой текст так запал в душу музыканта, что он решил его спеть, это вызывает радость и приязнь.

Ю.Т.: В этом году вы выложили на своей страничке «ВКонтакте» почти полсотни новых стихов. Что помогает быть в тонусе?

Г.Ш.: Сейчас пишу мало, как никогда. А «ВКонтакте» наряду с новыми иногда выкладываю старые, забытые тексты, чтобы поддерживать жизнедеятельность страницы или просто поделиться настроением через стихи.

Ю.Т.: Вас редко встретишь на литфестивалях. Кому нужнее фесты — писателям или читателям? Почему вас нет в телевизоре?

Г.Ш.: О больших, масштабных фестивалях, вызывающих интерес и резонанс общественности, давно не слышала. А съезд поэтов за свой счет под видом литературного события, чтобы почитать друг другу стихи в полупустых залах и попить вина — дело, конечно, хорошее, но бессмысленное. Почему меня нет на телевидении — не знаю. Спрошу у Эрнста или Добродеева, если представится такая возможность.

Ю.Т.: Почему в отечественной прозе есть понятие бестселлер, а в поэзии — нет?

Г.Ш.: Поэзия — искусство элитарное. Не так много людей читают стихи, ещё меньше — понимают. Поэтому поэзия и бестселлер — понятия взаимоисключающие.

Ю.Т.: Недавно увидел интересную афишу: Василий Нацентов и Вадим Муратханов. А вам с кем вместе было бы интересно выступить?

Г.Ш.: С Дмитрием Воденниковым, например.

Ю.Т.: В Сети есть необычная дефиниция поэта Ганны Шевченко: звезда Московского слэма. Вас привлекает соревновательность? Ваше мнение о формате поэтического турнира? Какой способ самопрезентации для вас приемлем?

Г.Ш.: Не столько соревновательность, сколько новый опыт. Пару лет назад я написала заявку на участие в Московском поэтическом слэме, попала в финал в финальном туре заняла четвёртое место, а после — место на алле славы Московского

слэма. Мне хотелось себя испытать. Читать переполненному театральному залу — это не трём дремлющим бабушкам в библиотеке, к тому же отдельный балл зрительское жюри ставит именно за исполнение текста. Поучаствовала, поняла, что добиться настоящего успеха в слэме можно при условии большой работы и постоянного развития в этом направлении. Просто прийти и почитать с листа, как мы часто делаем на литвечерах, — безусловный провал. А формат мне нравится, турниры собирают большое количество зрителей и дают возможность расширить свою читательскую аудиторию. Если говорить о самопрезентации, то я не приемлю кривляний, я старалась, чтобы мой персонаж был максимально похож на поэтессу Ганну Шевченко.

Ю.Т.: «Мы научились в космос выходить,/ Но разучились сказки понимать». За какие сказки вам обидно? Ваше мнение о научно-техническом прогрессе — с точки зрения гонки вооружений и писательской лаборатории?

Г.Ш.: Помните, как у Гумилёва: «Солнце останавливали словом,/ Словом разрушали города»? Ученые много открытий сделали в области физики и мало в области метафизики. Вот за это и обидно.

Ю.Т.: Максим Амелин недавно в интервью заявил: главное для современного поэта — не написать лишнего. Как прокомментируете?

Г.Ш.: Мне кажется, я ответила на этот вопрос в самом начале интервью. Идеально — вообще замолчать.

Ю.Т.: И всё же: как вы редактируете свои тексты? Сокращаете строфы безболезненно?

Г.Ш.: По методу женщины-хирурга из фильма «Покровские ворота»: «Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!» Вот примерно так я отношусь к саморедактированию. Сокращаю безболезненно не только строки, но и строфы, если это делает стих более цельным.

Ю.Т.: Алексей Сальников убежден: в хорошем стихотворении обязательно должны быть снег, ребёнок и трамвай. А вы как полагаете?

Г.Ш.: Здесь, я думаю, у каждого будет персональный набор, у меня, как вариант — берёза, женщина и автобус.

Ю.Т.: Что общего у поэта Ганны Шевченко и поэтессы Ганны Шевченко?

Г.Ш.: Игра в правильные и неправильные феминитивы мне наскучила лет пятнадцать назад. Давайте не будем тратить время на подобную чепуху.

Ю.Т.: Насколько легко переключаетесь с поэзии на прозу? Какова ваша специализация? Пишете ли тексты для детей? Переводите ли стихи с других языков?

Г.Ш.: Иногда переключаюсь быстро, иногда медленно. Помню, был длинный прозаический период, когда я писала повесть «Шахтёрская Глубокая»¹, и вообще не писала стихов. Переводами не занимаюсь. А вот детскую сказку недавно написала по просьбе одного иностранного издателя.

¹ Повесть «Шахтёрская Глубокая» была опубликована в журнале «Дружба народов» (2016, № 2).

Ю.Т.: И что было дальше? Она опубликована? В какой стране? О чём сказка?

Г.Ш.: Недавно книга появилась на «Амазоне». Она о мальчике и девочке, которые отправились в некую чудесную страну искать потерявшегося брата. Что со сказкой будет дальше, одному Богу известно.

Ю.Т.: Трудно писать для детей? Не планируете повторить этот опыт?

Г.Ш.: Писать для детей не трудно. Трудно находить оригинальные идеи. Опыт с удовольствием повторила бы, если бы ко мне постучался интересный персонаж, как Чебурашка к Эдуарду Успенскому или Муми-тролли к Туве Янссон.

Ю.Т.: Вопрос человеку с воображением и поэтическим мышлением. Скажем, если в декабрьский полдень разбинтовать облачное небо над Москвой — что можно увидеть?

Г.Ш.: Оленя, запряженного в красные сани, на санях Дед Мороз и гора разноцветных коробок, перевязанных серебристыми лентами.

Ю.Т.: На что вам не жаль тратить деньги?

Г.Ш.: На детей, на подарки, на книги, на обучение, на новый опыт.

Ю.Т.: А можно поподробнее? Какие книги купили за последнее время и не пожалели об этом? Какие компетенции получаете платно?

Г.Ш.: Из книжных покупок последняя — «Не самое главное» Паоло Соррентино. Недавно пересмотрела все его знаковые фильмы и очень загорелась, узнав, что он пишет прозу. Не удержалась, заказала на Wildberries и не пожалела. Это оказалась даже не проза, а скорее развернутая библия персонажей. Соррентино, как Карабас-Барабас, сложил в одном месте всех своих кукол, чтобы достать из коробки, когда того потребует очередной сюжет.

А насчет компетенций, вы сейчас удивитесь, покупала лекции по истории Таро. Случайно попала в руки колода, и я, больше из баловства, стала делать расклады. Но вскоре поняла, что карты Таро — волшебный инструмент, который с помощью языка архетипических символов передает из какого-то неведомого поля запрашиваемую информацию. Какие энергии задействованы в этом процессе, я не знаю, возможно, квантовая физика когда-нибудь это объяснит. Но то, что система работает, у меня сомнений нет. Кстати, отцы-основатели самых знаковых колод — Артур Уэйт и Алистер Кроули — писали стихи и прозу. Думаю, это неслучайно. Возможно, и здесь как-то задействован тот самый космический канал, о котором писал Кэмпбелл.

Ю.Т.: С трудом удалось найти в Сети дату вашего рождения — 05.07.1975. А ведь в ней интересная комбинация цифр. Получается, вы суеверны?

Г.Ш.: Нет, это случайность, никогда не скрывала эту информацию.

Ю.Т.: Если бы сейчас вы встретили себя двадцатилетнюю, что сказали бы?

Г.Ш.: Дала бы несколько советов личного характера.

Ю.Т.: Зачем существует несправедливость? Приведёте примеры из своей жизни?

Г.Ш.: Я много раз получала от жизни больше, чем заслуживаю. Вот такая вот несправедливость.

Олег Сидоров

Путь Андрея Борисова:

от «Желанного берега...» к настоящему и будущему

Штрихи к портрету преобразователя культурного пространства

«“Я знаю, что я знал...” — в этой многозначной фразе заключена парадигма познания, основанного на интуиции, на активизации генетической памяти... В ней призыв к жизни раскрепощённой, богатой, как сама природа, и прекрасной, как её величество Игра.

Я знаю, что я знал... В этой мысли, в отличие от сократовской “я знаю только то, что я ничего не знаю”, нет пессимизма и погони за суммой знаний, которая всё глубже убеждает тебя в том, что чем больше ты знаешь, тем очевиднее твоё незнание... Я знал... Поэтому я спрашиваю у себя. Я читаю Сократа, чтобы вспомнить, что я знал... И тогда отзывается во мне вселенский голос, и пробуждается генная память. И тогда я могу явить миру свою, общую, идею и прозвучать своей нотой в земном бытии».

Андрей Борисов

(«Я знаю, что я знал...» — Якутск: Бичик, 2011)

Год назад СМИ Якутии разнесли весть: премьер-министр Индии Нарендра Моди в радиопрограмме «Говорю от чистого сердца» рассказал слушателям о том, что его удивило и восхитило: «Представьте себе зимний день, температура минус 65 градусов, белый снежный покров. И там, в театре, зрители заворуженно смотрят “Абхиджняна-Шакунтала” Калидасы. Можете ли вы представить себе тепло индийской литературы в самом холодном городе мира — Якутске? Это не воображение, это реальность. Истина, которая наполняет нас всех гордостью и радостью». Так лидер великой державы отреагировал на спектакль режиссёра Степаниды Борисовой «Сахаантала» на сцене Театра Олонхо под руководством Андрея Борисова. Спектакль по мотивам драмы, созданной в IV или V веке по одному из сюжетов индийского эпоса «Махабхарата»¹.

Сидоров Олег Гаврильевич (Амгин) — российский якутский журналист, писатель, публицист, исследователь. Родился в 1962 году в селе Амга, Республика Саха (Якутия). Автор многих книг, в том числе «Россия-Якутия: Вчерашнее завтра» (1999), «Платон Ойунский» («ЖЗЛ», 2016), «Максим Амосов» («ЖЗЛ», 2017), «Платон Ойунский. Пылающий камень Сата» (2017).

¹ О спектакле театра Олонхо рассказал премьер-министр Индии // Официальный сайт Театра Олонхо URL: <https://olonkhotheater.ru/2024/10/28/o-spektaкле-театра-олонхо-рассказал-п/>

Андрей Саввич Борисов — якутский театральный режиссёр, общественный деятель, наделённый не только творческими талантами, но и огромной созидательной энергией. Народный артист России, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации, художественный руководитель Саха академического театра им. П.А.Ойунского, Государственный советник Республики Саха (Якутия), министр культуры и духовного развития Республики Саха (1990—2014), президент Академии духовности Республики Саха, основатель Театра Олонхо. Но главная его миссия в этом мире, как называет его народ саха — в мире Серединном, — искать то, что может объединять народы России и стран Азии на основе искусства и культуры. Вся его деятельность показывает, что в современном мире — глобальном, технологичном, цифровом и медийном — культура есть тот мост, который способствует уважению к традициям народов, их взаимопониманию, диалогу и консолидации.

Андрей Борисов начал свой путь с успешного окончания в 1974 году Щепкинского училища. Следом были учёба в ГИТИСе по специальности «режиссёр» в мастерской Андрея Гончарова и первая ступень к признанию — выпускной спектакль «Желанный голубой берег мой...» в 1982 году. Уже в этом спектакле по повести «Пегий пёс, бегущий краем моря» Чингиза Айтматова было заложено ощущение грядущих перемен и идея духовного единства с огромным культурным пространством Евразии.

Молодой якутский режиссёр Андрей Борисов и русский художник и сценограф Геннадий Сотников поставили спектакль, повлиявший на культуру и искусство Якутии. Первую высокую оценку «Желанный голубой берег мой...» получит в Тбилиси. Знаменитая Верико Анджпаридзе признается в любви к Якутскому театру и назовёт спектакль реформаторским. Отметим спектакль и в Мексике на фестивале «Сервантино».

Спектакль «Желанный голубой берег мой...» — эпическое сказание о мироздании, о жертвенности ради продолжения жизни — был понятен всем. Якутский зритель словно ждал эту постановку, приняв безоговорочно, от неё начался отсчёт преобразования культуры народа саха. Тогда же у Андрея Борисова зародилась идея создания театра якутского эпоса Олонхо.

Вторая половина 80-х и 90-е годы — время перемен и в стране, и в республике. В Якутии под руководством её первого президента Михаила Николаева был дан толчок процессу преобразования культуры и искусства, который продолжается до сих пор. Андрей Борисов в сентябре 1990 года был утверждён министром культуры республики. Свою работу в качестве министра он начинал с реализации программы «Хомус — Ысыах — Олонхо — Итэгэл». Согласно этой программе 1991 год был провозглашён — Годом хомуса (традиционной музыки), 1992-й — Годом ысыаха (традиционных празднеств), 1993-й — Годом Олонхо (национального эпоса), 1994-й — Годом Итэгэл (якутских верований как проявления духовности). Так было определено и обозначено ядро культуры народа саха. Опираясь на национальное, привлекая международное культурное сообщество, искать новые возможности для развития.

Мир по-новому открыл Якутию. Якутия открывала Запад и Восток и осознала собственную идентичность, корнями уходящую в историю древней Азии.

Размышляя об этом периоде якутской культуры, Андрей Борисов писал: «Русский поэт и религиозный мыслитель Вячеслав Иванов говорил, что культура развивается на путях таинственной целесообразности. Так вот, целесообразно было якутской культуре в последние десятилетия сформироваться в основных своих постулатах, в главных ипостасях. Наши проекты, задуманные сознательно или интуитивно, реализовались. Это было время культуры в становлении государственности

и высшего художественного образования, включения в контекст мировой культуры, создания инфраструктуры для развития профессионального искусства, время рождения науки и философии культуры народов республики. А в основе всего этого становления — возрождение традиционной культуры как живительного источника¹.

И по прошествии многих лет мы наблюдаем, как шаг за шагом Андрей Борисов реализует в своём творчестве грандиозный проект «Единое пространство культуры Евразии». Реальный осязаемый проект. Его Евразия — это фестивали «Желанный берег...», «Ёрдынские игры», художественный фильм «Тайна Чингис Хаана»... Режиссёр ставит спектакли на Алтае и в Китае, в Башкортостане и Турции, в Якутске и Москве... Он не только активно развивает межкультурные проекты, но и вдохновляет новое поколение творческих людей на поиски общих ценностей, подчёркивая значимость интеграции народных традиций в современные тренды.

Евразия — единый огромный мир. Не просто географическое понятие, но особая субстанция, живущая по своим законам, таинственные места, сконцентрированная энергетика. Тибет. Кайлас. Великая Степь. Озеро Байкал. Ленские столбы. Горный хребет Кисилых в северной Якутии... Мы живём в эпоху ренессанса идей евразийства. Идеолог и автор большинства программных документов движения Пётр Савицкий утверждал: «Культура России не есть ни культура европейская, ни одна из азиатских... Она — совершенно особая, специфическая культура... Её надо противопоставлять культурам Европы и Азии как срединную, евразийскую культуру... Мы должны осознать себя евразийцами, чтобы осознать себя русскими»². Россия — мост, соединяющий Европу и Азию. Это место взаимообогащения национальных культур. В новом времени — XXI веке, с его техническим потенциалом и глобализационными вызовами — появилась новая возможность осознания внутреннего единства и движения к нему.

Якутия, Саха — одна из важнейших частей этого огромного пространства. Наше мироощущение всегда было пронизано чувством причастности к миру Евразии. Наши гении начала XX века — Василий Никифоров-Кюлюмнюр, Алексей Кулаковский-Ексекулях Елексей, Гаврил Ксенофонтов, Платон Ойунский... Мы, народ саха, принадлежим и Северу, и Востоку. Два крыла для полёта. Православие народного писателя Суоруна Омоллоона. Преданность миру древних монголов и истории Китая нашего современника Народного писателя Якутии Николая Лугинова.

Время выбирает личностей, людей, которые чувствуют его пульс. Андрей Борисов создаёт единое пространство культуры, реализует его, делая для нас евразийский мир более явственным, артикулируя его художественными образами и словом, преобразованным на театральной сцене в визуальную культуру.

Творчество режиссёра неразрывно связано с сакральными местами Якутии. А в основе его сакрального пространства — слово писателя, литература: от произведений классиков якутской литературы до современников Николая Лугинова и Василия Харысхала. Герои его спектаклей — исторические личности, оживлённые драматургией якутских писателей: Кюлюмнюр, Манньяттаах уола, братья Ксенофонтовы, государственный деятель Илья Винокуров, народный учитель Михаил Алексеев, мифологические герои Олонхо и первопредок Эллай...

¹ Андрей Борисов. «Взлететь, вобрав в себя Запад и Восток». — Илин, 2009, № 2—3.

² Пётр Савицкий. Континент Евразия. — М., 1997. С. 40.

Семь крупнейших культурных проектов последних десятилетий на бескрайнем духовном пространстве за Уралом — как семь больших шагов на пути к своей Шамбале — недостижимому завтра, будущему, к которому стремится евразийское сознание, видение мира. Путь к Шамбале — путь к достижению гармонии, пробуждению. Каждый человек создает свою Шамбалу. Человек творческий обязан это делать перед лицом истории.

Символы культуры Якутии последних десятилетий — Театр Олонхо — преображённый древний эпос народа саха, театральный фестиваль «Желанный берег», Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры», культурная программа Международных детских спортивных игр «Дети Азии», художественный фильм «Тайна Чингис Хаана» — постижение тенгрианства как мировоззренческого и духовного вклада народов тюркско-монгольского мира, Арктический центр эпоса и искусств...

Система культурного пространства строится из совокупности различных элементов. Прежде всего это духовные, культурные и нравственные ценности. Они материализуются в архитектуре, скульптуре, музыке, литературе и театре, кино и в других видах искусства. Это пространства, впитываемые культурой, высокой и повседневной: игровые, художественные, архитектурные, театральные пространства, пространства литературы, музыки, живописи, образовательное пространство, пространства мифа, науки... Время — как уважение к чужому и своему времени — формирует культурное пространство так же, как уважение к памятникам, книгам, архитектуре, историческому наследию. Культурное пространство, с другой стороны, это и быт, обычаи и ритуалы, общение, модели поведения, ценности, в целом, всё что окружает нас и в повседневной жизни, и в воображаемом, символическом мире.

Семь символов культурного пространства Андрея Борисова

Театр Олонхо

Театр Олонхо — преображённый древний эпос народа саха в реалиях современного театрального и визуального искусства. Олонхо по определению классика якутской литературы, автора олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» Платона Ойунского — «это поэтическая история и родное евангелие с древних времён до наших дней».

Якутский театр Олонхо был создан в 2008 году и работает уже семнадцатый сезон. Театр соединяет театральное искусство, игру профессиональных актёров и олонхосутов — создателей и исполнителей Олонхо. За эти годы театр принимал участие в фестивале индийского эпоса «Махабхарата» в Индии, представлял свои постановки на сцене японского классического театра в городе Нара в Японии. Спектакль «Пионовая беседка» по пьесе китайского драматурга Му Дан Тхин был поставлен Театром Олонхо в Пекине. Олонхо «Светлоликая Туяаарыма Куо» Платона Ойунского с аншлагом прошёл в Пекине на сцене Пекинской Оперы Куныцю. Эпос Олонхо был показан в Париже, а спектакль «Кудангса Великий» режиссёра Андрея Борисова по произведению Платона Ойунского был поставлен на площадке греческого амфитеатра в рамках проекта «Два крыла Олонхо от Европы до Азии».

С идеи Театра Олонхо начиналась и идея Центров (Домов) Олонхо, строящихся в улусах и городах Якутии. Новая трактовка места и роли олонхо в современной культуре позволила выявить глубинную связь народа саха с евразийской культурно-исторической общностью.

Фестиваль «желанный берег»

Международный кочевой театралный фестиваль «Желанный берег» зародился в Якутии в 2005 году. В новом веке надо было связать народы огромной страны через культуру, через образы, понятные всем, объединяющие ценности. При поддержке министерств культуры и массовых коммуникаций России, Федерального агентства по культуре и кинематографии, Союза театралных деятелей России фестиваль приобрёл статус межрегионального, а затем и международного. Теперь он проводится каждые два года в том или ином городе России, поэтому и называется «кочевым». Фестиваль уже побывал в Бурятии, Калмыкии, Башкирии.

Ёрдынские игры

Идея проведения пришла с берегов священного Байкала. Огонь Игр зажигается на острове Ольхон. Продюсер фильма о Чингисхане Владимир Иванов в одном из интервью рассказывал: «В 2005 году мы инициировали проведение вторых Ёрдынских игр и решили именно оттуда начать съёмки фильма “Тайна Чингис Хаана”. Убеждён, что именно Россия как евразийское государство хранит в себе эту уникальную тайну».

Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» — традиционный праздник многочисленных кочевых народов Евразии. Центральное место в концепции фестиваля занимает священное озеро Байкал — чистейшее и самое глубокое в мире озеро. Коренные народы Сибири почитали и придавали землям вокруг Байкала сакральное значение и раз в год проводили здесь межплеменные коллективные молебны. На это время прекращались войны и конфликты. В единой молитве люди просили Творца о здоровье и благополучии рода. Постепенно молебны трансформировались во всеобщий праздник с песенно-танцевальными и спортивными состязаниями. Местом этого праздника стала гора Ёрд, расположенная в долине реки Анги, в восьми километрах от районного центра Еланцы, давшая впоследствии название празднику. Только XX век прервал традицию проведения Ёрдынских игр. Они возобновились в 2001 году и собирают рекордное количество участников — более пяти тысяч человек.

Современные «Ёрдынские игры» — это своеобразные Олимпийские игры народов Центральной Азии, участники меряются силами не только в национальных видах спорта (борьба, конные скачки, метание камня, стрельба из лука и др.), проходят состязания певцов и сказителей. Главным событием на играх выступает круговой танец Ёхор вокруг сопки Ехе Ёрд, ведомый Андреем Борисовым. Чтобы охватить сопку полностью по периметру танцующими, необходимо не менее семисот участников. Периодичность проведения Ёрдынских игр — один раз в четыре года.

Игры «Дети Азии»

Международные спортивные игры «Дети Азии» — это не только и не столько спорт, но и культурное событие высокого международного уровня. Церемонии открытия и закрытия игр — из числа самых массовых и зрелищных культурных проектов Андрея Борисова. В рамках Игр традиционным стал фестиваль шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Священные гора Кисилых и Ленские столбы — места зажжения огня Игр и фестиваля «Шедевры ЮНЕСКО». Благодаря этим акциям «Дети Азии» невозможно представить без духовной и культурной составляющей.

«Дети Азии» возникли в 1996 году по инициативе президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева и были посвящены столетию олимпийского движения. С тех пор они проводятся совместно с Олимпийским комитетом России, Росспортом, Министерством иностранных дел, Министерством образования и науки Российской Федерации. Игры получили патронат Международного Олимпийского комитета и Президента России. По своей сути «Дети Азии» напоминают аналогичные юношеские спортивные форумы и «взрослые» Олимпийские игры, объединяя страны в деле развития детского спорта, воспитания патриотизма, пропаганды идей олимпийского движения, укрепления дружбы и мира на земном шаре.

Фильм «Тайна Чингис Хаана»

Исторический фильм по мотивам романа народного писателя Николая Лугинова стал событием в культурной жизни Якутии и тюркских регионов России, Монголии, Китая. Это не блокбастер, ориентированный на кассовость, а рассказ-притча о единстве народов Евразии. Авторы сценария — Владимир Карпов, Валентина Чусовская. Фильм является первым широкомасштабным проектом якутского кино. Чингисхан с лёгкой руки Андрея Борисова стал культурным героем Якутии в начале XXI века. Воплощённый в фильме Чингис Хаан — с его обращением к небу, Тэнгри, — выступает как проводник тенгрианства. Он сын неба, он поборник мира. Он мифологизирован, он первопредок азиатских народов, устроитель евразийского миропорядка. Он создатель государства, основанного на законности и порядке. Фильм охватывает период времени от рождения мальчика Темучина до становления его императором — Чингисханом.

В главных ролях: Эдуард Ондар, Сюзанна Ооржак, Оргил Махаан, Олег Тактаров, Кэри-Хироюки Тагава. Оператор Юрий Бережнев. Композитор Владимир Кобекин.

Тенгрианство

Тенгрианство (тенгризм) — это этническая религия тюрко-монгольских кочевников евразийских степей и Центральной Азии, в которой центральным божеством признаётся обожествлённое небо — Тенгри. Источниками изучения тенгрианства являются исторические легенды, мифы, фольклорный материал, сконцентрированные в эпосах тюрко-монгольских и других народов. На стыке XX и XXI веков приходит понимание необходимости осмысления понятия «тенгрианство». Нужно было объединить ученых. И вот, поддержав идею исследователей и последователей тенгрианства, Андрей Борисов становится во главе этого проекта.

Периодически проводятся Международные научно-практические конференции «Тэнгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность» при поддержке государственных органов и ведомств регионов России и других стран Азии, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ЯНЦ СО РАН, «Ассоциация Олонхо», Международной ассоциации монголоведов (Монголия), Академии наук Монгольской Народной Республики, Международного фонда исследования «Тенгри» (МФИТ) и других.

Арктический центр эпоса и искусств

Логика движения и путь Андрея Борисова, преобразующего культурное пространство Евразии, привели его к идее создания культурного комплекса — Арктического центра эпоса и искусств на берегу легендарного и священного озера Сайсары в городе Якутске. Здесь, на берегу озера, находилось древнейшее поселение народа саха. Разработана оригинальная концепция архитектурно-паркового комплекса на участке в шестьдесят два гектара. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, «наличие объекта, где будут выступать и мировые звёзды, и местные артисты, в том числе профессионально занимающиеся Олонхо, будет стимулировать развитие нашей культуры. Центр послужит базисом для того, чтобы Якутия генерировала проекты международного масштаба». Помимо чисто культурного значения, комплекс АЦЭИ будет иметь и коммерческие, и общественные площадки¹.

Арктический центр эпоса и искусств можно с полным правом назвать проектом будущего, который реализуется здесь и сейчас.

По словам Андрея Борисова, президента Академии духовности республики, строящийся Арктический центр эпоса и искусств будет многопрофильным и сложным с точки зрения технологий подобных архитектурных сооружений. И станет одним из крупнейших культурных комплексов в России и площадкой для всех творческих коллективов регионов России. Центр откроет свои двери в будущем 2026 году.

«Наша республика наиболее северная во всей России. Название Арктического центра нужно относить не только по карте, но и по смыслу. Статус Арктического центра даёт амбиции, поскольку культура и искусство народов республики может доминировать в арктическом пространстве всей планеты. Эпос является основой культуры каждого народа», — отметил в одном из интервью Андрей Борисов.

В современных реалиях создаются условия для пространственного функционирования культуры народов России, обеспечивая целостное поле. Андрей Борисов верен своим идеалам культуры и духовности: «Главная потребность человека, основа человеческого существа, соответственно семьи, государства, всегда опирались на духовность. Энергия убеждений является основой общества, идеалы — душой народа. Любой человек может прекрасно себя чувствовать в материальном плане, карьерном, быть на первый взгляд благополучным, но если он утрачивает главные духовные ориентиры, то всё это становится прахом»².

¹ Уникальный проект: каким будет Арктический центр эпоса и искусств в Якутске // ЯСИА. — 2023 — 13 июля URL: <https://ysia.ru/unikalnyj-proekt-kakim-budet-arkticheskij-tsentr-eposa-i-iskusstv-v-yakutske/>

² Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии. — Якутск: Бичик, 2011. — С. 111.

Вера Харченко

Выбор имени

Заметки о юбилеях и современном творческом процессе

В религиозной традиции юбилеем считается срок в 50 и в 100 лет, а промежуточные даты относятся к круглым датам. И в 2025 году мы отмечали 100-летний юбилей первого патриарха Руси — Тихона. Был снят фильм о нём, организован концерт в честь патриарха, и, конечно, во всех храмах проходила служба с поминанием этого великого человека. Всё это знаменательно, поскольку те притеснения, которым подвергался Тихон, то гонение на церковь настоятельно требовали покаяния, хотя лиц, причастных к этому, уже не отыскать.

У религиозных деятелей можно учиться, они не отделены от нас. Сошлюсь на собственный опыт. Внимание к митрополиту Макарию (Булгакову) подвигло прочитать все семь томов «Истории православной церкви» и как результат — испытать восхищение богатством словаря, пластикой стиля, лёгкостью чтения и мощным воздействием текста. А гармония стиля без гиперкритики и гипокритики, то есть без неуёмного восхваления, когда труды служителей церкви не подвержены анализу, цитируются с придыханием, подчёркнуто благоговейно, и столь же неуёмного порицания, что иногда наблюдается в религиозной литературе? А воззвание к благородству собеседника, даже если с ним ты не согласен?.. Обо всем этом в итоге была написана монография¹. А начиналась работа с юбилея митрополита.

Но сейчас речь о тех, в честь кого отмечают не только их пятидесятилетие и столетие. В 2025 году юбилеями стали Софья Ковалевская, Илья Мечников, Пётр Семёнов-Тян-Шанский, Александр Грибоедов, Евгений Баратынский, Афанасий Фет, Антон Чехов, Иван Бунин, Александр Блок, Сергей Есенин. Годом раньше отмечались юбилеи Дмитрия Менделеева, Ивана Павлова, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Владимира Набокова, Анны Ахматовой. Разумеется, юбилеев на порядок больше. Главное — нам есть из кого выбирать, есть кого исследовать с учётом новых знаний и изменившегося понимания. Выбор — наша привилегия, живительная возможность.

Харченко Вера Константиновна — советский и российский лингвист-русист. Родилась в 1949 году в Калинин (Тверь). Окончила Новосибирский педагогический институт и аспирантуру при кафедре русского языка Ленинградского педагогического института им. А.И.Герцена, доктор филологических наук, профессор. Автор нескольких монографий, более семисот научных работ и пяти поэтических сборников. Живёт в Белгороде.

¹ *Харченко В.К.* Митрополит Макарий (Булгаков): пластика языка и стиля. Белгород: Белгородская областная типография, 2017, 224 с.

Итак, первое, что надо отметить, — это счастье выбора имени. Мы живём в великой стране, и великих людей в ней много. И языковая картина будет ли полной без учёта серии известных имён?

Второй вопрос: зачем исследовать?

Здесь напрямую начинается наше творчество. Мы можем восстановить справедливость, если великого человека при жизни мало ценили или даже преследовали. Мы можем по-иному расставить акценты, поднять на высоту его деятельность, представить его как пример для подражания. Например, Баратынский подвергался острой критике Белинского, тогда как Пушкин ценил и печатал стихи поэта в журнале «Современник». Циолковского, утверждавшего, что «Земля — колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели», жители Калуги считали сумасшедшим, а ему принадлежит до сих пор действующая теория космических полётов. Его максима «этика космоса — это отсутствие страдания» звучит в XXI веке, когда действуют силы, определяющие захват звёздных, галактических пространств, весьма злободневно. Ещё пример: Ломоносова по праву считали и считают выдающимся поэтом, признанным учёным, но многим ли известно о трактате Ломоносова «О сохранении и размножении российского народа», написанном в надежде быть услышанным Екатериной II, — где говорилось о борьбе с пьянством, о неразрешении принимать монашество до пятидесяти лет, о людях, навсегда уезжающих за границу?...¹

Актуально ли это сегодня? Безусловно, актуально.

Приведенный выше список юбиляров 2025 года можно дополнить именами знаменитых прозаиков и поэтов второй половины XX века Константина Ваншенкина и Михаила Матусовского, Константина Симонова и Михаила Шолохова, Евгения Винокурова и Юрия Трифонова, Михаила Исаковского и Александра Твардовского. Но и это ещё не всё. Можно найти человека, о котором есть что сказать нового, поведать о том, что прочитали, рассказать что-то особенное, то, что уходит из внимания «официальных» исследователей.

Здесь наши усилия распадаются на две волны.

Первая — это новые сведения о «старом» юбиляре.

Например, Лев Толстой. Казалось бы, на гребне популярности сейчас Чехов, в театрах, обращаясь к классике, ставят преимущественно его пьесы, но ученый лингвист Елена Владимировна Белоглазова, выступая на онлайн конференции в Горловке 17 декабря 2021 года с докладом «Литературные онимы-русизмы за границами русского языка и литературы», приводила данные о том, что в последние годы престижное первое место по цитированию и количеству интерпретаций занимают произведения Льва Толстого. Он опережает Достоевского, Чехова и многих других писателей: 1785 раз цитируется «Анна Каренина», тогда как следующий за ним писатель упоминается... всего 14 раз. Как сказал один из современников, в России в конце XIX века самыми популярными были имена Александра III, Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского (ТВ, 6 канал, «Проповедники», 16 апреля 2025 г.). Такова роль Льва Толстого, и не должно об этом забывать. Что отличает Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского? Неукоснительное следование искренности. Этот концепт становится ведущим в творчестве обоих деятелей. Что касается Чехова, меня когда-то покорили записи писателя в специальной садовой тетради о том, как он сажал сад возле дома в Ялте, как выписывал семена, саженцы, как рассчитывал посадку деревьев, короче, вел себя как ученый. И, гуляя по саду, гордишься усилиями этого человека — не только писателя.

¹ Сьянова Е. Памятка властителям России // «Знание — сила», 2007, № 4, с. 70—74.

Или обратимся к Пушкину. В феврале 2025 года в цикле передач «Кто мы?» на телеканале «Культура» Феликс Разумовский рассказывал, что Пушкин не был революционером (мне вспоминаются школьные годы!). В 1826 году, живя в Михайловском, находясь в ссылке, по поручению царя Николая I он написал Записку «О народности и воспитании». В ней пересмотревший к этому времени своё отношение к идеям декабристов поэт призывал изменить систему образования, потому что молодым людям свойственно «полупросвещение», они не владеют историей своей страны, они оглядываются на Запад... Когда слушаешь и читаешь об этом, кажется, что написано о сегодняшнем дне. Но Николай I не внял Пушкину, проставил, по словам Феликса Разумовского, на Записке сорок вопросительных знаков и предпочел последовать другой теории — теории Сергея Уварова. Россия отвернулась от консерватизма.

Еще один пример — юбилей Иосифа Бродского в 2025 году. Что нового мы можем сказать о поэте? Для меня самое, пожалуй, главное — это то, что Бродский был теоретик поэзии. Но, вместо того чтобы вчитаться в его рассуждения о поэтах и поэзии, мы по привычке считаем, что если ты поэт, то и будь поэтом, и только. У нас нет, что печально, традиции признания поэтов как людей Ренессанса, хотя такими были и Ломоносов, и Пушкин, и Бродский, это свойственно нашей культуре.

Другая линия празднования юбилеев — это открытие не самого известного или некогда популярного, но полузабытого «нового» имени.

Мне уже доводилось писать о Владимире Клавдиевиче Арсеньеве¹. 10 сентября 2022 года исполнилось 150 лет со дня его рождения. Сфера его интересов была разнообразна и обширна: он занимался географией и этнографией, картографией, статистикой, археологией, геологией, гидрологией и метеорологией, музейным делом и даже орнитологией и лингвистикой. Более того, как ученый В.К.Арсеньев внимательно изучал, например, качество леса, проводя измерения стволов деревьев: «Я измерил несколько елей. Из 40 измерений в 4 местах (по 10 измерений в каждом) я получил следующие цифры: 44, 80, 103 и 140 см. Цифры эти указывают на лучшие качества леса по мере удаления от Сихотэ-Алиня». Андезиты, гнейсы, фильзитовые порфириды, вулканические туфы? Большинству из нас непонятны эти названия, но согласимся, что само знание окружающих веществ и вещей вызывает неподдельное восхищение. Ученый, путешественник — да, но ведь еще и писатель! Как он описывает красных волков, или китайцев, не берущих деньги за услугу, или Дерсу, слушавшего «Сказку о рыбаке и рыбке» и сочувствовавшего старику, или... Человек-легенда, при всей его скромности — человек Ренессанса, открывший нам завораживающий Дальний Восток.

Вспомним про ещё одного недавнего юбиляра — путешественника, исследователя, писателя Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. Хорошо известно, что это был великий человек, учёный, исследователь, но оказывается, что он любил живопись и собрал коллекцию прекрасных полотен, которая была подарена Эрмитажу. Голландские мастера пейзажа, портрета, натюрморта — сотни картин, и это тоже наше достояние.

Не могу не упомянуть «полукруглую» дату: 15 апреля 2025 года исполнилось 135 лет со дня рождения советского военачальника, маршала Иосифа Родионовича Апанасенко (1890—1943). В Белгороде, где он погиб, на привокзальной площади ему поставлен памятник. Чем же прославился этот человек? В память врезались три эпизода. Во-первых, это дороги. Когда Апанасенко послали на Дальний Восток, он возмутился, что там нет дорог, и организовал их строительство. Это был январь

¹ Харченко В.К. Кумиры: от подражания к творчеству. / Монография. — М.: ИНФРА-М., 2023. 170 с.

1941 года. Во-вторых, он начал там формировать войска, хотя это запрещалось. И когда Сталин перед контрнаступлением под Москвой потребовал дивизии, они были уже укомплектованы. А в-третьих, когда Сталин потребовал ещё и орудия, то Апанасенко швырнул стакан с чаем в сторону вождя: не дам! Чем я буду обороняться от японцев? И Сталин стерпел: успокойся! чего ты так расшумелся?

Такое «юбилейное» чтение обогащает. Открывается как раз то новое, что характерно для юбиляра, заставляет говорить о человеке, писать о нём, восстанавливать его имя, пополняя языковую картину отечества, делая её выразительной, своей.

Третий вопрос: для кого мы, отвлекаясь от своих тем и дел, сворачиваем на освещение судьбы ещё одного человека? Отвечаю: прежде всего для себя, для своего развития и своей работы.

Я уже упоминала имя великого русского и советского учёного Ивана Петровича Павлова. В минувшем году отмечали 175 лет со дня его рождения и в Подкасте 1-го канала ТВ прозвучала такая интересная деталь: отец заставлял маленького сына дважды читать книги, и это свойство учёный сохранил на всю жизнь. Мелочь? Возможно, но не она ли среди всего прочего помогла Павлову стать Павловым?.. Пушкин конспектировал книги по Камчатке, хотя эти книги были у него в доме¹.

А сколько препятствий испытывали наши герои — но это уже для поведения, для выработки незаурядного, дивного спокойствия. В «разговорной эпопее» у нас было высказывание: [доцент коллеге по телефону] «Надо учиться быть неуязвимым! Кто бы что ни сказал, а Вы этого не видите! Ну, я не знаю, муравей бы сказал: ты такая-сякая! Ну и что? Ползи дальше! (23.08.2013)»².

Так, митрополит Макарий (Булгаков) был «уличён»... в распространении фальшивых денег! «Да разве только это пришлось пережить? Чего стоили обвинения в... манкировании своими архипастырскими обязанностями в Виленский период деятельности!» Замечательный биограф митрополита Ф.И.Титов блестяще ответил на эти обвинения, составив и опубликовав, выражаясь современным языком, «хронотоп» деятельности: поездок, встреч, богослужений — митрополита Макария, перечень дел, восхищающий своей интенсивностью и насыщенностью. Предваряя свою трехтомную биографию митрополита, Ф.И.Титов с горечью пишет: «Но ныне уже пора бы, кажется, снять с главы покойного святителя венец злохуления, каким увенчала его неразумная человеческая ненависть»³.

Речь о внимательном прочтении текстов людей-юбиляров, о новых данных, которыми располагает наука, о восстановлении справедливости и о многом другом, что высвечивается, когда мы вчитываемся в эти произведения, вслушиваемся в воспоминания, рассказы. Самое главное, что эти люди, о которых мы пишем или повествуем в дни их юбилеев, становятся для нас близкими, они незаметно учат нас, а это ценно в любом возрасте, в любом положении.

¹ Ср.: «Переписывать любимые книги от руки. Лучше, чем переписыванием их не прочитаешь». (Лебедев Андрей. На гобеленах. Малая проэзия // «Новый мир», 2015, № 5. С. 7—55.). Или: «Я не представляю себе чтения без карандаша, без ручки. Иначе я страшно нервничаю. Меня одолевает потребность вмешаться в текст, вступить с ним в диалог, определённым образом присвоить его себе. Делать записи, подчёркивать — это ведь тоже в какой-то степени переписывать, обогащать текст...» (Неуман Андрес. «Борхес бывает вампирическим». С писателем беседует Элина Родригес. Пер. с исп. // «Иностранная литература», 2015, № 12. С. 249—254.)

² Харченко В.К. Антология разговорной речи: Некоторые аспекты теории. / В пяти томах. — М.: ЛЕНАНД, 2016.

³ Титов Фёдор. Материалы к жизнеописанию митрополита Макария (Булгакова). / Тт. 1—3. — М.: село Белянка, 2015. Том 3.

Лейла Шахназарова

Чёрная шелковица, белая акация...

Несколько страниц из истории ташкентской эвакуации

I

«...Осенью 1941-го, перед отъездом в эвакуацию, мы с мужем, Абрамом Эфросом, — он уезжал раньше с писательским эшелоном в Андижан, — договорились, что будем искать друг друга через Соломона Михайловича Михоэлса...»¹

Этими строчками, этими именами, сразу приковавшими к себе внимание, начинался текст, который...

Впрочем, лучше с самого начала.

Много лет назад в редакцию журнала, где я тогда работала, пришла немолодая женщина, предложила для публикации свои очерки. Это была Надежда Крикун, когда-то — жена Абрама Марковича Эфроса, известного литературоведа, искусствоведа, театроведа, переводчика, который в годы войны находился в эвакуации в Ташкенте.

Ох, мало мы тогда, в конце 1980-х, в доинтернетные советские времена, знали и об Абраме Эфросе, и о Соломоне Михоэлсе, и о многих других личностях, ставших эпохой в истории русской культуры XX века! А Надежда Саввишна Крикун писала обо всех этих людях как о своих добрых знакомых...

Осознание этого, удивление, восхищение пришли ко мне много позже. Правда, понять, что воспоминания бывшей москвички, в 1941 году эвакуированной в Ташкент и оставшейся здесь навсегда, — документ редкий, уникальный, — я всё же тогда, при первом знакомстве, сумела. А вот расспросить, разговорить, получше узнать человека, которого уже в то время можно было считать живой легендой, частью истории нашего города, — не удосужилась. Да и имена — великие имена великих людей, которые упоминались в её рассказе, далеко не все мне были тогда знакомы. Увы, невежество молодости...

Лейла Шахназарова — писатель, эссеист, публицист, родилась в Бухаре. Работала в журналах «Звезда Востока» и других республиканских изданиях. Автор сборника документальной прозы «Тогда, под чинарами Ташкента...» (2021), один из авторов сборника современной малой прозы Узбекистана «Дойра» (2022). Лауреат ряда литературных конкурсов, в т.ч. серебряный призёр в номинации «Проза» Международного конкурса «Литературная Азия», проводившегося в Казахстане среди центральноазиатских республик (2024). Живёт в Ташкенте.

Очерк мы тогда напечатали, хоть и — страшно жаль — в сокращении; потом было ещё несколько публикаций её документальной прозы... И... больше о Надежде Саввишне Крикун я ничего не слышала много лет. Пока не наткнулась недавно в своём архиве на те самые старые журналы с теми самыми публикациями...

«...К осени 1941 года мы, первокурсники ИФЛИ, уже вкусили жестокой правды войны. Обстреливаемые пулеметами с немецких истребителей, рыли противотанковые рвы за Смоленском, в верховьях Днепра. В августовские дни 1941 года впервые воочию увидели трагедию нашего отступления. Мы прочли её в глазах солдат: оборванные, окровавленные, плохо вооружённые, они шли через деревню, где мы были расквартированы...»

Перегруженные эвакопоезда — грузовые, пассажирские — направлялись в тыл страны, а со стороны Урала, Сибири шли составы с войсками и военной техникой. Медленно, отсчитывая километр за километром, эшелон, в котором находились студенты и преподаватели двух московских вузов — Университета и Института философии, литературы и истории, — двигался к Ташкенту. Путь был долг — полтора месяца. Было голодно... Начался сыпной тиф. Первых больных оставили в Кызыл-Орде, затем в Арыси. Остальных поместили в сыпнотифозные больничные бараки уже в Ташкенте...

Тебе напоминать не надо,
Как в страшный год везли сюда
Дистрофиков из Ленинграда
Ободренные поезда.

И на испуганном вокзале,
От грома чёрного вдали,
Сирот узбеки разбирали,
В халаты завернув, несли...²

«...На привокзальной площади разместилось несметное число эвакуированных. Женщины, старики, дети... Укрытые одеялами, клеёнками, с узлами нехитрого скарба, который наспех удалось прихватить зачастую уже из горящих домов. Плач детей, горестные причитания стариков, смешение языков украинского, еврейского, белорусского, польского...

Всё это звучало над площадью как стон. Как неумолчный сигнал беды. Что-то будет с ними, смогут ли найти пристанище в этом чужом городе?.. А люди всё прибывали и прибывали...

...К беженцам на площади то и дело подходят какие-то люди из местных... Я видела, как женщины — и русские, и узбечки — подходили к толпе и, выбрав себе “для уплотнения” одинокую женщину с детьми, уводили домой... Вот одна, другая, третья семья отделяются от толпы. Вещи грузят на арбу или ручную тележку и отъезжают прочь... Ташкент делал всё, чтоб укрыть, сберечь людей, искавших здесь приют, избежавших гибели на долгих и трудных дорогах...»

Воспоминания очень личные, дышащие абсолютной правдой. «Я видела...» И в то же время — объективное свидетельство одной из самых горестных и трогательных страниц истории Узбекистана, — из тех свидетельств, что относятся к драгоценному достоянию народа.

«...В Ташкенте я впервые узнала, что такое палящий жар, древесная тень и звук воды. А ещё я узнала, что такое человеческая доброта».

Эти строчки написаны другой эвакуированной — Анной Ахматовой. Но вслед за ней их могла бы повторить Надежда Крикун.

О ташкентских встречах Надежды Крикун с Анной Андреевной Ахматовой — рассказ впереди. Пока же было понятно: у меня в руках — живая ниточка к тому времени, к тем людям, что на много десятилетий сформировали духовный облик Ташкента.

II

Город, который потом назовут столицей эвакуации, Ташкентскими Афинами, встретил Надю Крикун холодной бытовой неустроенностью и... искренним человеческим теплом. Это была глубокая осень 1941 года, первая военная осень.

«Ташкент 1941-го был суров и жил, до боли стиснув зубы. Осень мела по улицам жёстко шуршащую сухую листву, серое небо в тучах было полно предчувствия долгой беды. На улицах стало больше людей в шинелях. У магазинов росли очереди. Здания школ переоборудовались под госпитали...»

И вчерашняя студентка московского Института философии, литературы и истории, как и многие её сверстницы, пришла работать в эвакуогоспиталь 3665, располагавшийся тогда в здании школы № 50.

Как на киноленте чёрно-белой,
всё так просто:
В городе Ташкенте,
возле школы девяносто —
Чёрная шелковица,
белая акация...
Э-ва-куа-ция...³

Для санитарок-новичков срочно ввели специальный медицинский курс обучения. Началась работа, весьма далёкая от избранного Надеждой искусствоведения: дежурства возле послеоперационных больных, стирка бинтов, снятие гипса у прибывающих из медсанбатов раненых бойцов...

Муж Надежды, Абрам Маркович Эфрос, как уже сказано, на первых порах был эвакуирован в Андижан. Она некоторое время, в ожидании места в университетском общежитии, жила в другом своеобразном общежитии — писательском. Это был небольшой двухэтажный дом 7 по улице Карла Маркса, где в перегороденных комнатах размещались эвакуированные семьи литераторов. Надю приютили супруги Цявловские — Мстислав Александрович и Татьяна Григорьевна, известные пушкинисты.

Обустройством эвакуированных писателей занимался замечательный узбекский поэт Хамид Алимджан. Эта административная деятельность, как вспоминает Н.С.Крикун, была для него внове, но работал он очень добросовестно, помогая всем быстро и по-деловому, стараясь накормить, напоить, обогреть всех своих необычных подопечных. Хамид Алимджан остался в памяти Надежды Саввишны красивым, очень приветливым, корректным человеком, всегда подтянутым и дружелюбным:

«...Курчава голова, золотисто-загорелое лицо, на котором светились умные тёмно-карие глаза с каким-то непреходящим выражением печали и знания — некоего особого знания жизни ли, грядущего ли, сокровенного ли смысла бытия... Выражение его глаз помню до сих пор: в них был Восток со всей его тысячелетней пытливой духовной сутью...»

Как жена литературоведа и переводчика Надежда Крикун получала в Союзе писателей Узбекистана талоны на питание (порцию скудной военной снеди — то затируху, то пустые щи) и могла пользоваться писательской столовой. Располагалась эта столовая во внутреннем дворике здания Союза писателей на улице Первомайской и была местом каждодневных встреч, центром общения, своеобразным форумом. Дворик этот никогда не пустовал, здесь можно было увидеть весь тогдашний цвет литературы.

«Никогда, наверное, за всю историю советской литературы на столь малом пространстве не собиралось такое множество писательских талантов! Подумайте: Алексей Толстой, Айбек, Корней Чуковский, Владимир Лидин, Всеволод Иванов, Уйгун, Эди Огнецвет⁴, Янка Купала, Владимир Луговской, Василий Ян... Молодой Иззат Султанов — драматург и учёный, знаток Навои; поэт Максуд Шейхзаде — подвижный, энергичный, живо откликающийся на всё, что происходило вокруг... Почти каждый день они собирались здесь. Шла война, и кто не мог быть на фронте, всё равно считал себя призванным».

Нередко можно было видеть здесь и Анну Ахматову. Всегда державшаяся чуть замкнуто, всегда с королевской осанкой, она говорила неизменно тихо. Была сдержанна, скупа на слова, но при её появлении все как-то внутренне подтягивались, становились строже, начинали говорить чуть тише. Часто Анну Андреевну можно было видеть беседующей с Айбеком — они были дружны. Внешность молодого Айбека запоминалась всем, кто его видел, — и взглядом чёрных, яростно умных глаз, и ощущением огромной силы и энергии.

Ахматова была со всеми равна, но, вспоминает Крикун, — вероятно, не желая этого, а может быть, и не чувствуя, она несла с собой дыхание того огромного, часто трагического мира, где свершились и продолжали свершаться кровавые, страшные изломы эпохи.

III

Однако та писательская столовая не была первым местом встречи Нади Крикун с великой поэтессой. Ахматову она увидела ещё в первые недели эвакуации. Однажды Надежда стояла у окна приёмной того самого эвакуогоспиталя 3665 и вдруг заметила двух высоких женщин, медленно идущих по противоположной стороне Хорезмской улицы.

«В одной я легко узнала нашу всеобщую любимицу актрису Фаину Раневскую, вызывавшую на лица встречающих весёлую благодарную улыбку. А другая? Я стала всматриваться. Подчёркнуто прямая, с горделивой, прямо-таки королевской осанкой...

“Ахматова!” — мгновенно мелькнула мысль. Ну да, конечно, это она! Чёлка на лбу, тонкий профиль. Нос с горбинкой. Замкнутое, почти застывшее лицо, в которое её спутница поминутно пытливо вглядывалась... Да, это была Анна Андреевна Ахматова. То, что я увидела её вот такую, не на портрете Модильяни, а живую, медленно идущую по ташкентской земле, казалось чудом...»

Надя долго стояла, не в силах оторвать глаз от женщин, которых — это видно было по их жестам, общей интонации разговора и даже по походке, — связывала та особенная дружба, что говорит о снисходительной привязанности одного и восхищённой преданности другого...

Когда потом, уже в послевоенные годы, Надежде Саввишне порой доводилось видеть Раневскую и Ахматову вместе, она убеждалась, что её первое впечатление от характера взаимоотношений двух этих замечательных женщин было верным.

...Плывёт по тылу медленное лето.
Отец народов шурится с портрета.
Под ним — закрытый хлебный магазин.

Дом в зелени. Приют любви и вере.
Раневскую добытый керосин.
Ахматовой распахнутые двери⁵.

Эта встреча мгновенно перенесла девушку в детские годы, в среднюю школу города Ростова Великого, что на Ярославине. Надя с сестрой и матерью были высланы туда из Москвы после расстрела отца в 1937 году. Жили, что называется, на медные гроши, в тяжкой бедности.

«Мы были административно высланной семьёй “врага народа”, поэтому общение с нами многие считали предосудительным. Исключения были редки, и среди них — моя учительница по литературе, преподававшая ещё в старой женской гимназии, интеллигентнейший человек, нёсший в жизнь великую традицию русских народоволок. Пусть вновь прозвучит её имя: Анна Ивановна Иродова. Именно из её уст я впервые услышала — конечно же, шёпотом, так как имена эти лучше было тогда не произносить, — о Блоке, Есенине, Гумилёве... И об Ахматовой. В библиотеке Анны Ивановны я впервые увидела сборники стихов “Анно Домини”, “Чётки”, “Белая стая”. Это было моё первое робкое знакомство с высокой поэзией Ахматовой... Потом в войну, в пору жестоких боёв, мы часто с горечью повторяли её строки: “Любит, любит кровушку русская земля...”».

Вот почему, когда, приехав в Ташкент, Абрам Маркович Эфрос привёл свою молодую жену к Ахматовой, Надежда отнюдь не была ни невеждой, ни случайным в обиталище поэта человеком.

Ахматова жила в маленькой комнатке на втором этаже (дом № 7 по улице Карла Маркса) того самого «писательского общежития», где обитали Цявловские. Тот первый визит запомнился Надежде Саввишне до мелочей. Подниматься надо было по довольно крутой лестнице. А.М.Эфрос, легко постучав в дверь, проговорил: «Анна Андреевна...» Из-за двери послышался низкий грудной голос: «Абрам Маркович, вы? Входите, входите...»

«Распахнулась дверь. Анна Андреевна — высокая, прямая, в чёрном, изрядно поношенном декольтированном платье, двинулась нам навстречу. Мне она вежливо кивнула в ответ на представление, Абраму Марковичу царственно протянула красивую руку, над которой он почтительно склонился в поцелуе...»

Эфроса и Ахматову связывало давнее знакомство, ещё когда он в 1922 году организовывал для неё выступления в Москве. В 1924-м оба писали для журнала «Русский современник», а спустя несколько лет Абрам Маркович привлёк Анну Андреевну к работе над переводом писем Рубенса. Книга вышла в 1933 году в переводе А.Ахматовой и под редакцией А.Эфроса, с его вступительной статьёй.

И вот теперь, спустя почти двадцать лет, судьба снова свела их — в городе, «от войны далёком, но уже прифронтовом»⁶...

Надо сказать, что Узбекистан сыграл в судьбе А.М.Эфроса немалую роль. Тогда, в эвакуации, в 1942—1943 годах, Абрам Маркович, к тому времени известный искусствовед и критик, вёл семинар по музееведению на искусствоведческом отделении Среднеазиатского университета. После войны вернулся в Москву, но, как оказалось, ненадолго: вскоре его выслали на четыре года снова в Ташкент. Эта ссылка стала следствием развернувшейся в те годы кампании по борьбе с космополитизмом. С 1950 по 1954 год, вплоть до своего отъезда назад в Москву, А.Эфрос работал в Ташкентском государственном институте театрального искусства.

«...Среднеазиатский театральный институт создали вот эти “безродные космополиты”, высланные из Москвы в конце 40-х годов. Это Абрам Маркович Эфрос, это Михаил Морозов, это Марк Рубинштейн, это Владимир Сергеевич Иогельсен... Прямые ученики Мейерхольда и Вахтангова, прямые руки! И Ташкент оказался тем городом, где в 1948 году их не только не заперли вторично, но дали им возможность создать институт...»

Об этом говорил в одном из своих последних интервью Марк Яковлевич Вайль — основатель легендарного ташкентского театра «Ильхом».

Ташкентский государственный институт театрального искусства, в 1954 году, после открытия здесь художественного факультета, переименованный в Ташкентский театрально-художественный институт им. А.Н.Островского, станет важной вехой и в судьбе Надежды Саввишны Крикун. Но это — уже позже. Пока же — 1941 год, она — скромная вчерашняя студентка, которой посчастливилось встретиться с великим поэтом и присутствовать при разговоре двух необыкновенных людей, равных друг другу собеседников.

«Должна признаться, — пишет мемуаристка, — что Анна Андреевна не проявила бурного интереса ко мне. То же случилось и потом, через ряд лет, во время других наших встреч. (Думаю, что менее всего это было высокомерие — большого поэта абсолютно несостоятельно мерить общежитейскими мерками.) Между тем я глядела на неё в немотно-почтительном состоянии, поражённая чудом живого прошлого, в котором были мансарды отверженных художников, Париж, Модильяни, Николай Гумилёв и Блок, Александр Блок, стихи которого в военную пору зазвучали так современно: “Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего...” или “Девушка пела в церковном хоре...”

Впрочем, разве могла подумать Анна Андреевна, что мы, молодые, повторяли эти стихи вместе со стихами Константина Симонова, Семёна Гудзенко...

...Сознание собственной безмерной малости никогда не покидало меня в присутствии Ахматовой».

Абрам Эфрос и Анна Андреевна заговорили о публикации её стихов и переводов. Надежда, прислушиваясь к беседе, невольно оглядывала жилище поэта. Первое, что бросалось в глаза, — аскетическая бедность обстановки. В узкой, длинной, похожей на пенал комнате с одним окном стояла железная, тоже узкая, кровать, покрытая серым солдатским одеялом. У окна — небольшой кухонный стол, заваленный бумагами и газетами.

«Распятие над изголовьем постели и скудность обстановки делали это ахматовское пристанище похожим на келью...»

Беседа Ахматовой и Эфроса продолжалась недолго. В том, что говорил он, звучала глубокая почтительность и доверительность. Анна Андреевна внимательно слушала, была немногословна, внутренне сосредоточенна... Потом, нередко встречаясь с ней в Ташкенте, позже в Москве, Надежда Саввишна поняла, что эта сдержанность вообще была присуща Ахматовой.

«Она могла быть язвительна, насмешлива, задумчива, но чрезвычайно лаконична в выражении своих чувств, мыслей, оценок тех или иных событий. Ей была свойственна замкнутость, она словно оберегала свой внутренний мир, своё неизбывное горе... Ведь только из недавно опубликованного “Реквиема” мы узнали, что уже в ту пору были выстраданы и написаны строки:

Звёзды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами чёрных марусь...»

IV

В ту пору, когда Надя жила у Цявловских, ей нередко доводилось видеть, как писательские жёны и многие дамы из числа эвакуированных, словно верные пажы, служили Ахматовой. «Она с милостивой улыбкой принимала их услуги: кто-то делился с ней картофелем, кто-то тащил припасённую снедь или нёс ведро с водой...» Подтверждение того, что мы знаем по воспоминаниям многих современников Ахматовой тех лет, видевших её в эвакуации.

Действительно, в ту самую комнатку-келью не прекращалось настоящее паломничество.

«Люди идут к ней — стаями; она вывешивает записку на двери: работаю. Не помогает...» — жаловался драматург и сценарист В.М.Волькенштейн, живший одно время по соседству с Анной Андреевной. Более того — эти записки, вывешенные на её двери, почти сразу исчезали: автограф поэта!..

И ещё одно свидетельство о жизни и бытии Ахматовой в эвакуации — ташкентской писательницы Зои Тумановой, чья юность пришлась на военные годы:

«Первая военная, ледяная, просвистанная ветрами зима. Мёрзлый, полутёмный, лихорадочно-тыловой, в тоскливых ожиданиях Ташкент. И вдруг — афиша! Да, война. И — ночной концерт! Начало — в двенадцать часов ночи! (В обычное время идёт оперный спектакль.)

Поздно, значит, страшно... Пошаливают по городу. Но какие имена! Бабочкин! Ляля Чёрная! Цены на билеты... Ого, кусаются! Но если сравнить с тем, сколько стоит на базаре “кирпич” хлеба... Тем более если на галёрку — потянем!

Шелестя, уплзает занавес. Мы словно парим над сценой... Туда, на чёрных разлзтых крыльях бурки, выносятся Чапаев! Живой! И голос его! Как тут не отбить ладони! И Ляля Чёрная под атласно-вороным покрывалом распущенных волос. Знаменитая Ляля из “Последнего табора”! Бра-во! И снова гуденье восторга; сам Чарли Чаплин — усики, котелок, трость! — по-утиному переваливаясь, выскальзывает из-за кулис. Ну, конечно, не сам — подражатель, никому не ведомый Аркадий Райкин. Но что вытворяет, что выделяет, до чего лихо припевает:

Ещё есть Чарли Чаплин,
Похожий, как две капли...
С усами, в мятой шляпе,
В Америке живёт.
Всё те же ручки-крючки,
Ботинки-закорючки,
Но тот — не настоящий,
А я — наоборот!..

Внезапно в череде поющих, танцующих, восторгающихся, взмётывающих шквалы аплодисментов появилась женщина. Не вышла, не прошагала, а как бы возникла посреди сцены. Откинута голова с узлом волос, с плеч до полу струится шаль.

Мы глядим на неё с галёрки, с верхотуры. Как же удаётся ей смотреть словно через наши головы выше! Дальше!

Черты лица почти неразличимы, глуховатый голос почти неслышен. Я улавливаю только торжественно-скорбный отчеканенный ритм стихов:

— И та, что сегодня прощается с милым, —
Пусть боль свою в силу она переплавит...»⁷

Иногда Ахматова появлялась в Союзе писателей со своей подругой — очень молчаливой, несколько угрюмой женщиной, никогда не вынимавшей изо рта «закрутки» с махоркой. В воспоминаниях той же Зои Тумановой, в то время девочки-подростка, мечтающей о литературе, возникает такой портрет:

«В январе сорок третьего в нашем Доме детского творчества появляется новая фигура. Будет вести кружок, оценивать наши стихи. Её зовут Надежда Яковлевна. Она курит и кашляет... Приговоры её решительны. “Пишущие деточки” её не умиляют. Эдика Бабаева⁸ шпыняет, испытывая на прочность.

— А вы с Вале́й Берестовым⁹ — оба бездарности, Айзенштадт¹⁰, в будущем, халтурщик. Но снабжение я вам устрою!

Снабжение! Ох, какое ты нелишнее зимой сорок третьего года в тыловом городе Ташкенте!..»¹¹

А вот как описывает Надежду Яковлевну Мандельштам, жену поэта, исчезнувшего в страшных пределах ГУЛАГа, Надежда Крикун:

«Приземистая, с чуть припухшими веками, с гладкой причёской на прямой пробор, она вызывала одновременно и сочувствие, и робость...»

Надя Крикун познакомилась с Надеждой Яковлевной, когда та стала работать в помещении ОДО и в парке имени Тельмана над выставкой рисунков детей, вывезенных из Ленинграда по Дороге жизни. Дети рисовали войну — «и как мало детского было в этих трагических, рвущих душу нехитрых картинках!..».

«В Детском доме творчества, — вспоминает художник А.А.Волков, — была устроена выставка, которую сначала показали в Ташкенте, а потом отправили в Америку. В ней участвовали талантливые молодые художники... На открытии выставки были, кроме Н.Я.Мандельштам, Ахматова, Михоэлс, искусствовед Эфрос...»

А.М.Эфрос тогда, помимо своей работы в САГУ, ещё и опекал талантливых юных художников. Попасть в число его питомцев было удачей — для студийцев выделялась стипендия и карточки в столовую ЦДХВД.

V

Каждый день Надя Крикун ходила на работу в эвакогоспиталь 3665. Выздоровливающим бойцам часто разрешали посещение спектаклей и концертов в Окружном доме офицеров, неподалёку от госпиталя. В размещившемся здесь московском Театре Революции блистали замечательные мастера сцены: Мария Бабанова, Максим Штраух, Михаил Астангов, Лев Свердлин...

Работала в этом театре и Фаина Георгиевна Раневская. На улицах её узнавали, да и как было не узнать героиню знаменитого фильма «Подкидыш». Позже, когда они с Надеждой Крикун сдружились, актриса призналась, что фильм этот, принёсший ей неимоверный зрительский успех, она не любит... Рассказывала, что, когда ей прислали сценарий этой картины с предложением сняться в роли Ляли, она была огорчена его примитивностью. Тогда её стали очень, очень просить... И она согласилась с условием, что текст роли будет идти от неё импровизационно. Так появилась сцена около киоска с игрушками, реплика у ларька с газированной водой: «Пены, пены меньше!», «Муля, мы расходимся, я завтра еду к маме!» и, конечно же, знаменитое «Муля, не нервируй меня!..».

Рассказывая о своих уже позднейших, послевоенных встречах с Раневской, Крикун пишет, что Фаина Георгиевна нередко вспоминала Ташкент, работу на киностудии, концерты в госпиталях. Часто своим низким голосом напевала при этом: «Ты ждёшь, Лизавета, от друга привета...» — песню из фильма «Александр Пархоменко», в котором она снялась на Ташкентской киностудии у режиссёра Леонида Лукова.

Спектакли в Театре Революции шли при переполненном зале, большинство зрителей составляли раненые; на костылях, иногда в гипсе, перевязанные, а то и в сопровождении нянечек, они живо откликались на всё происходящее на сцене. А играли в ту пору «Фронт» Корнейчука, «Питомцев славы» — спектакль о знаменитой кавалерист-девице, героине войны 1812 года. В спектакле её звали Александрой Азаровой, и роль её блистательно исполняла М.И. Бабанова. Лёгкость, изящество, мальчишеский задор отличали её Шурочку Азарову. Надежда Саввишна вспоминает, какой восторг зрителей вызвала Бабанова, затаенная в ловко сидящий на ней голубой гусарский костюм с серебряными позументами, — зал гудел от восторженных криков и аплодисментов...

Часто в госпиталях бывали писатели, и местные, и эвакуированные, выступали со своими стихами, рассказами. Ахматова, к тому времени едва оправившаяся от перенесённого тифа, тоже посещала раненых вместе с группами литераторов. Поразительный случай, связанный с её выступлениями в госпиталях, сохранился в памяти современников, — ещё одна история, свидетельствующая о том, какое необыкновенное воздействие оказывала личность Анны Андреевны на людей.

В большой палате — бывшем классе школы, занятой госпиталем, тем самым, где работала тогда Н.Крикун, — лежал молодой человек, которому в бою оторвало руки и ноги. Он всё время молчал, не отвечал на вопросы, и сёстры, ухаживая за ним, старались тоже меньше говорить, чтобы не обидеть своим сочувствием. В эту палату и пришла Ахматова. Подошла к нему, молча села около кровати. А потом стала тихим голосом читать стихи о любви: «Годовщину последнюю празднуй...», «Я с тобой не стану пить вино...», «Как белый камень в глубине колодца...» и другие.

«Непонятно было, как и зачем читать такие стихи полуживым людям, — вспоминала присутствовавшая при этом поэт и переводчик Светлана Сомова. — Но в палате стало тихо. Лица разгладились, посветлели. И этот несчастный юноша вдруг улыбнулся. Тело-то ранено, жизнь висит на волоске, а душа — живая, отзывается на любовь, на правду... Анна Андреевна потом часто приходила к этому юноше... Как она рассказывала позже, одна из молоденьких и хорошеньких сестёр, потерявшая на войне всех близких, взяла его к себе после госпиталя, вышла за него замуж. Анна Андреевна, которую он почему-то называл своей спасительницей, бывала у них в гостях, помогала им. Так одно горе, столкнувшись с горем других, пережитые совместно, становятся чем-то даже крепче счастья»¹².

VI

Для Нади Крикун продолжается жизнь в «Ташкентских Афинах»: тяжёлая работа в госпитале и — контрастом — интереснейшие встречи и общение с творческими людьми. В том числе — с Соломоном Михоэлсом, замечательным артистом, возглавлявшим эвакуированный в Ташкент Еврейский театр, ГОСЕТ, как его сокращённо называли. В эвакуации, где он находился с декабря 1941-го по апрель 1943 года, Соломон Михайлович оставался великим тружеником — помимо руководства собственным театром, он организовывал концерты в помощь эвакуированным детям, привлекая к участию в них блестящих артистов и писателей: Фаину Раневскую, Корнея Чуковского, Рину Зелёную и Алексея Толстого.

Михоэлс поставил несколько пьес в местных драматических театрах, активно участвовал в работе Узбекского театра оперы и балета, вложил много сил в создание студии актёра, хлопотал о переводе либретто оперы Ж.Бизе «Кармен» на узбекский язык, о создании узбекской исторической оперы... Так, во многом именно его усилиями, «согласно постановлению режиссёрского совещания при Узбекском театре оперы и балета от 19 июня 1942 года были введены занятия по общеобразовательным художественным дисциплинам (введение в эстетику и история музыки), которые проводили известный искусствовед, литературовед и театральный критик А.М.Эфрос и преподаватели консерватории»¹³.

Именно Абрам Маркович Эфрос дал глубокую профессиональную оценку спектаклю «Король Лир», поставленному Михоэлсом в мае 1942 года в помещении Ташкентской государственной филармонии:

«Такого Лира на сцене ещё никогда не было. Впервые с Михоэлсом Лир поднимается до философско-государственного обобщения, до эпического образа... Хочется во всеуслышание сказать о яркости спектакля, получившего в ташкентском варианте окончательный чекан и весомость».

Этому спектаклю обязан сильнейшим впечатлением того времени и один подросток, семья которого тоже оказалась тогда, в 42-м, в ташкентской эвакуации. Пятнадцатилетнему Олегу Каравайчуку выпало счастье попасть на тот спектакль Михоэлса и — навсегда обжечь душу потрясшим его образом несчастного отверженного короля. Не стала ли сцена, где безумный Лир сражается с ветром, прообразом последующей жизни ленинградского мальчика, которому предстояло стать гениальным композитором?..

Ну а молодой жене А.Эфроса, как и многим другим, тот спектакль запомнился ещё и тем, что на одном из представлений произошло пятибалльное землетрясение!..

Началась паника, а Михоэлс продолжал играть, как будто ничего и не произошло. Коллеги актёра утверждают, что он и не заметил землетрясения. Может быть, его спокойствие и мужество заставили зрителей, ринувшихся было к выходу, всё-таки вернуться в свои кресла...

У Михоэлсов произошло знакомство четы Эфросов с Полем Арманом. Это было в доме № 84 по Пушкинской улице, где кроме семьи Соломона Михайловича жили эвакуированные учёные: академик Ю.Р.Виппер, В.М.Жирмунский, Н.К.Пиксанов. Жил в этом доме и белорусский писатель Якуб Колас. Поль Арман был личностью легендарной — танкист, герой войны в Испании. Ещё до войны он был незаконно репрессирован: его арестовали на следующий день после того, как вручили Золотую Звезду и орден Ленина за мужество и героизм в борьбе с фашизмом в Испании. Такое же мужество он проявил в заключении в «диалоге» со следователем...

К счастью, вскоре его освободили, восстановили во всех званиях. В Ташкент он был направлен преподавать в Академии бронетанковых войск, носившей тогда имя Сталина (среди курсантов академии был в то время и сын Б.Л.Пастернака, Евгений Борисович).

В 1942 году Поль Арман вновь вернулся на передовую. Погиб он на Волховском фронте...

Кстати, именно в этом, 1942-м, году в школу-студию при ГОСЕТе пришёл учиться еврейский юноша с Украины — один из тысяч, которым эвакуация в Ташкент спасла жизнь. Знавший до этого лишь украинский и идиш, он долго и упорно совершенствовался, чтобы выучить русский язык, выработал прекрасное произношение — и стал замечательным артистом и певцом, имя которого ныне известно всему миру: Эмиль Горовец.

VII

Исподволь, естественно и просто шло в Ташкенте сближение эвакуированной интеллигенции с местной, узбекской. В области литературы оно началось с переводов. На вечерах Союза писателей устраивались чтения этих переводов. Приезжие литераторы знакомились с творениями Айбека и Хамида Алимджана, Максуда Шейхзаде и Гафура Гуляма, уже создавшего свои замечательные произведения «Ты не сирота» и «Я — еврей».

В здании консерватории, где в ту пору располагалась балетная школа имени Тамары Ханум¹⁴, были размещены учёные Академии наук СССР. Здесь, в этом здании, Алексей Толстой читал свою историческую драму «Орёл и орлица».

«Чтение его потрясало, — пишет Н.С.Крикун. — Это был лучший театр одного актёра, который мне доводилось видеть...»

В этом тесном общении рождались творческие и личные контакты.

Однажды, зайдя к Михоэлсам после занятий в университете, Надежда увидела незнакомых ей людей. Как потом оказалось, это были режиссёр Маннон Уйгур, ученик и соратник Хамзы, и Етим Бабаджан, тоже видный театральный деятель Узбекистана. Шли переговоры о постановке в театре имени Хамзы пьесы Хамида Алимджана «Муканна», где воспроизводились события далёкого прошлого края — восстание местных жителей против арабского нашествия. Потом Надежда Саввишна была на премьере этой постановки — превосходного плода художественного сотрудничества...

В то время на Ташкентской киностудии, как известно, шли съёмки фильма «Два бойца».

«Мы можем гордиться тем, что песня “Тёмная ночь” была написана в Ташкенте, на улице Пушкина, 54, — читаем в воспоминаниях Н.С.Крикун. — Именно в этом доме, в квартире Р.М.Кариева, известного театрального деятеля Узбекистана, жил в эвакуации композитор Богословский. Квартира Кариева находилась на первом этаже, она была угловая, и окна комнаты Богословского выходили на боковую улицу. К окну с улицы нередко подходили Марк Бернес и Борис Андреев, чтобы поговорить с Никитой Владимировичем, находящимся в комнате. Иногда он играл, а Бернес, с другой стороны окна, напевал. Это была весьма необычная репетиция... Да, в те годы многое было необычным и многое — впервые...»

Фильм «Два бойца» Л.Лукова ещё не вышел на экраны, а на фронтах уже пели «Тёмную ночь». Из ташкентских госпиталей песня ушла на передовую вместе с излеченными от ран бойцами.

...И вот наконец — долгожданное известие: блокада Ленинграда прорвана!

Начались отъезды эвакуированных из Ташкента. Майским вечером 1944 года, когда уезжала Ахматова, пережившая в Ташкенте события и радостные, и горестные, комната её была полна провожающими. Проститься пришли писатели Абдулла Каххар, Хамид Алимджан, Владимир Липко, композитор Алексей Фёдорович Козловский... Были здесь и Эфрос с женой. Тогда Надя Крикун не могла знать, придётся ли ей снова увидеться с Анной Андреевной. Но несколько встреч с Ахматовой, уже в Москве, судьба ей ещё подарит.

«...Ташкент был далеко от фронтов, но война была его повседневностью, и город отдавал ей все свои силы. А черпал он их в вере в нашу правоту, в страстном желании защитить наш общий дом, в нашем братстве и взаимопомощи. Была война, тяжёлая, страшная... И мы победили».

VIII

...А у нас в России
Выпало так много снега!
Было так красиво —
Белый хлопок падал с неба...
И плыла над городом,
Что живёт, не бедствует, —
Песенка узбекская...¹⁵

Да, война наконец была позади. Эфросы возвращаются в Москву. Несколько послевоенных лет прожито в Старопименовском переулке, где по соседству жила и Фаина Георгиевна Раневская. Тогда-то знакомство Надежды с великой актрисой переросло в настоящую дружбу, хотя в Ташкенте им особо сблизиться не довелось, всё ограничивалось случайными встречами. И вот теперь — совсем иной виток и уровень общения, несмотря на большую разницу в возрасте.

О том, как дорожила Фаина Георгиевна отношениями с вновь обрётённой подругой, как доверяла ей, можно судить по одному из писем, отправленных ею Н.С.Крикун в апреле 1951 года, когда Надежда Саввишна уже снова вернулась в Ташкент:

«Надюша, ваша подруга по возвращении из санатория ночью “давала дуба”. Она подползла на карачках к телефону, набрала номер, пискнула: “Я умираю, пришлите скорую помощь...”. К счастью, я не забыла назвать свою фамилию.

Надо думать, что телефонная барышня обладала добрым сердцем и любила кинофильм “Подкидыш”... Через несколько минут у меня была “скорая”, насмерть перепуганная отсутствием пульса во всех конечностях. Из последних сил я успокаивала “скорую”. Когда у них перестали трястись руки, они сделали мне огромное количество уколов, я слегка очухалась, воскресла из мертвых, чему очень обрадовалась. Теперь лежу в больнице...»

А однажды великая актриса призналась Надежде, — то ли печалюсь, то ли радуясь:

«Знаете, мне всё время хочется что-то добавить к роли от себя... Но когда имеешь дело с живыми авторами, тут можно столкнуться... А когда это Чехов?»

Человек высокого интеллекта, Фаина Георгиевна остро ощущала трагизм жизни, трагическое начало бытия. И тогда она, с глазами, полными слёз, иногда срываясь на крик, говорила своей подруге: «Как они этого не понимают... Я ведь трагическая актриса. Трагическая!.. Нельзя же этим пренебрегать...»

Надя Крикун и Фаина Георгиевна часто ходили вместе либо в театр, либо к друзьям или допоздна засиживались за дружескими беседами в ресторане ВТО. В ту пору там царила «мхатовская обстановка». Нередко ужинали вместе.

Зимние вечера долги и тихи. Чуть улыбаясь, прищуря глаза и глядя куда-то, скорее всего в даль минувшего, Раневская рассказывала насмешливо, улыбаясь наивности этого минувшего:

«Мой отец был состоятельным человеком... То ли банкиром, то ли коммерсантом. Жили мы достаточно богато. Мой брат носил тёмные очки, длинные волосы. Он был так называемым “легальным марксистом”... От него я получила первые сведения о классовой борьбе и прибавочной стоимости.

Однажды он пришёл ко мне в комнату... У меня было много кукол. Брат сказал, что все эти куклы, да и вообще всё, что у меня есть, — украдено у детей рабочих. И тут он, используя всё, что было в доме, как наглядное пособие, втолковывал мне, что такое прибавочная стоимость.

В заключение он назвал нашего отца эксплуататором и вором.

Это меня потрясло. Несколько дней я ходила потерянная, все мои представления о доме, об отце, о нашей семье рушились. Я искала выход. Наконец, отдав всех моих кукол каким-то детям на улице, я ушла из дома. Работала по найму у модистки, разносила шляпки в коробках заказчицам.

Моей мечтой было стать артисткой. Я, как видите, достигла этого — но весьма нелегко...»

И ещё одну замечательную историю о Раневской узнаём из воспоминаний Н.С.Крикун:

«В 1948 году в Москве открылись коммерческие магазины. Знаменитый гастроном № 1 на улице Горького, который испокон веку москвичи звали Елисеевским, засиял хрустальными люстрами и необозримыми зеркалами витрины. Из его недр на улицу струились пленительнейшие запахи всевозможных копчёностей, пряностей, головокружительные ароматы муската, ванилина, кофе... После голодных, скудных пайков военной поры это казалось сном, чудом. Народ устремился в сиявший люстрами и зеркалами Елисеевский, как на былинный пир. Но цены были столь же головокружительны, сколь и запахи... Поэтому, вдоволь насытив зоры зрелищем

роскошных витрин со снедью, москвичи покидали гастроном с небольшими пакетиками, где было чуть-чуть того, чуть-чуть этого...

Фаина Георгиевна и я стояли в очереди за сыром. Подойдя к продавцу — очень почтенному, седому, похожему на метрдотеля (москвичи его знали и побаивались его высокомерного педантизма и гастрономической эрудиции), Фаина Георгиевна вдруг произнесла жеманно:

— Двести граммов лимбургского.

И, кокетливо заулыбавшись, процитировала продавцу строки из «Онегина»:

— Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым...

Продавец, сохраняя почтительность и кладя на прилавок взвешенный сыр, тем не менее поглядел на Раневскую в упор и, отчётливо произнося слова, не без раздражения заметил:

— Всякий всегда твердит эти строки, а что выше и ниже их написано — не знает!
И он громко, чтобы слышала вся очередь, процитировал:

— Пред ним rost-beef окровавленный
И трюфли — роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет...

Фаина Георгиевна была поражена, впрочем, как и все стоявшие в очереди. Вдруг в её глазах вспыхнуло озорство. Она приняла вызов...

Продавец продолжал:

— И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым...

И тут, прервав продавца, возвысив голос, Раневская продолжила торжествующе:

— Ещё бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет...

И, уходя с поля боя победителем, потянувшись за сыром. Суровый продавец, мгновение тому назад окинувший нас высокомерно-презрительным взглядом, добро улыбнулся и почтительно поцеловал руку Фаины Георгиевны, забиравшую с высокого прилавка очень небольшой свёрток с воспетым Пушкиным сыром...»

Конечно, живя по соседству с Раневской, близко общаясь с ней, Надежде Крикун доводилось видеть и Ахматову, когда та приезжала в Москву. Слишком тесно были связаны, ещё с войны и эвакуации, эти две великие женщины, два имени, две судьбы.

Однако первая послевоенная встреча Надежды Крикун с Анной Ахматовой произошла не у Раневской. Впрочем, встречей в прямом смысле слова это и нельзя назвать: весной 1946 года Ахматова выступала на большом, очень многолюдном вечере поэзии в Колонном зале Дома союзов — знаменитом вечере, описанном многими

современниками. В чёрном платье, в белой шали с длинными кистями, она напомнила Надежде Саввишне великую Ермолову на портрете Серова.

Вторая половина сороковых была тревожным временем: вновь возродился в стране антисемитизм, набирала силу кампания против «безродных космополитов». До выхода постановления «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» 1946 года оставалось ещё несколько месяцев. Но Анна Андреевна, помимо того, что была наделена таинственным даром предвидения, в те годы, по-видимому, ещё и постоянно ждала беды. Не потому ли так глухо-трагически звучал её голос на том выступлении, когда, вспоминает Н.С.Крикун, «прямая, высокая, статная, она читала стихи густым, грудным голосом, вся открытая залу...»?

«...Это была минута высокого торжества поэзии, вдохновения, гордого полёта мысли, выраженной в совершенной поэтической форме. Ахматова и Пастернак царили на этом вечере, хоть в программе значились и многие другие поэты. Ахматова господствовала над залом, который всё требовал и требовал стихов. В ней было что-то от пушкинского:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
исполнись волею моею
и, обходя моря и земли,
глаголом жги сердца людей...»

Ну а в последний раз Надежде Саввишне довелось увидеть Ахматову в 1949 году. Это было очень тяжёлое для поэта время. Снова заработала машина репрессий. В январе 1948-го был убит Михоэлс. Ждановские «постановления» добивали искусство и литературу. Надо было вновь жить «с носовым платком во рту».

«...Войдя к Фаине Георгиевне, я увидела Анну Андреевну. Она заметно похудела, в глазах добавилось скорби. Из немногих слов, сказанных за ужином, было понятно, что уделом Ахматовой стала нищета. Из Союза писателей СССР её исключили. Знаю, что хлопотать о скромной пенсии для неё стали учёные, и среди них знаменитый академик Бардин. Сама Анна Андреевна ни о чём не хлопотала. Ей, как всегда, так и в ту пору было присуще какое-то гордое мученичество. Соболезнований она не принимала...»

В Москву её в тот год привела забота о сыне. Лев Николаевич Гумилёв был вновь, в третий раз, арестован, и Ахматова приехала, чтобы хоть что-то разузнать о нём.

«Мы все были подавлены, — вспоминает Н.С.Крикун. — Сказывалось настроение, вызванное гнетущей обстановкой — разгаром “борьбы с космополитизмом”. Вдруг в наступившей тишине Анна Андреевна сказала: “Фаина, налей немного вина блуднице...”. Блудница! Это было сказано в адрес Ахматовой в постановлении Жданова. Произнесла она это слово без иронии и без злобы, а как-то презрительно-равнодушно.

Потом она стала прощаться. Я увидела в прихожей на вешалке её старенькое обтрёпанное пальто, помогла одеться. “Спасибо, дитя моё”, — равнодушно обронила она. Фаина Георгиевна пошла её провожать...

Больше с Ахматовой я не встречалась».

До конца жизни сохранила Надежда Саввишна трепетные воспоминания об этих драгоценных встречах.

«И вновь передо мной возникают фигуры двух высоких женщин, медленно идущих по ташкентской улице, беседующих вполголоса, доверительно склонив друг к другу головы... Жизнь подарила мне бесценную дружбу с одной из них — Фаиной Раневской».

XI

С 1950 года эта дружба продолжалась уже в письмах: Надежда Крикун вместе с мужем вернулась в Ташкент, куда выслали «безродного космополита» Эфроса. И началась новая страница её жизни.

Абрам Маркович — профессор кафедры искусствovedения Ташкентского государственного института театрального искусства, он читает будущим актёрам и режиссёрам лекции по истории искусств. В это учебное заведение пришла работать и его молодая жена: она помогала А.М.Эфросу в занятиях со студентами, затем, будучи искусствоведем по образованию, с 1951 года сама стала преподавать.

Когда истёк срок ташкентской ссылки Абрама Марковича, он вернулся в Москву. А вот судьба Надежды Саввишны оказалась навсегда связана с нашим городом. Здесь ей суждено было остаться до конца жизни, снова выйти замуж, стать матерью... Много лет она проработала редактором на Узбекском телевидении. Одно время вела в литературной редакции ташкентского ТВ авторские передачи о художниках.

«Надя попросила меня сделать ей макросъёмку с “Боярыни Морозовой” Сурикова, — вспоминала фотограф Дина Максимовна Пенсон, дочь замечательного фотохудожника М.З.Пенсона. — Я, конечно, постаралась и, имея в своём распоряжении папину технику и лабораторию, сделала то, на что тогда никто из наших способен не был: крупным планом тридцать на сорок — только глаз боярыни, а потом ещё и её перстень. С тех пор мы с Надей дружили неразлучно...»¹⁶

Тогда, в начале 1960-х, на телестудию часто приходил юный Боря Голендер, впоследствии известный ташкентский краевед и историк: Надежда Саввишна пригласила его, уже в редакцию молодёжных программ, в качестве соведущего передачи «Клуб старшеклассников». Тогда все передачи шли «живьём», репетировали перед эфиром, ни в коем случае нельзя было ошибиться. И как же это было интересно! Встречи умного, пытливого подростка и бывшей москвички, женщины «с раннего времени», совершенно естественно употреблявшей в обыденной речи такие выражения, как «О темпора, о морес!», превращались в долгие увлекательные беседы на самые разные темы. Она рассказывала ему об эвакуации, об Ахматовой, Раневской, Эфросе... Многие из этих рассказов потом стали темами замечательных книг Бориса Анатольевича Голендера.

Примерно в те же годы познакомился с Надеждой Саввишной и бывший ташкентский журналист Владимир Черноморский.

«Тогда мы с Мишей Худковским, оба студенты ТашПИ, создали первую в Узбекистане команду КВН и организовали её встречу с командой ТашГУ, транслировавшуюся по телевидению. А через год наша команда успешно выступила на всесоюзном конкурсе. Но дело не в нас, а в ней, Надежде Крикун, с которой я познакомился благодаря той передаче. Исключительно тонкая, образованная, буквально на ощупь чувствующая ток времени (середина 1960-х, завершение “оттепели”!), умеющая подсказать, как “пройти между струй”... Она была тогда женой известного кинорежиссёра Альберта Хачатурова¹⁷, воспитывала красивого, умнящего сына. Но нам откуда-то было известно, что до того у Надежды Саввишны была весьма насыщенная жизнь, которую она как бы отрезала от всех, с кем её свела судьба

в послевоенные десятилетия. Ведь и Эфрос, и Михоэлс, и другие деятели культуры, с которыми она общалась, были репрессированы в период так называемой борьбы с космополитизмом. И можно представить, как ей повезло — что не попала под каток репрессий...»

Заставшая «утро» узбекистанского телевидения, Н.С.Крикун поставила на крыло многих молодых коллег. Об общении с ней, о её уроках профессионализма, человеческого такта, неподкупной, немного даже старомодной щепетильности с благодарностью вспоминают и режиссёр УзТВ Махфузы Хамидова, и легендарная телеведущая Галина Мельникова, и многие другие, кто в 1960-е годы участвовал в становлении телевидения в нашей стране. А приглашённый Надеждой Саввишной в начале 1980-х годов молодой актёр ТЮЗа Александр Колмогоров не только много лет вёл детскую телепередачу, но и сочинял для неё сценарии, — чтобы впоследствии предстать зрелым, очень интересным писателем...

Но, может быть, дело даже не в том, сколько лет проработала, сколько молодых талантов поддержала, кого наставила в профессии. А... в самом существовании когда-то в нашем городе таких людей, как Надежда Крикун. Скромных, вроде бы не выделявшихся какими-то особыми заслугами, в большинстве случаев не отмеченных официальным признанием, — но несущих, воплощавших в себе то, что образует культурную атмосферу общества. Собственной жизнью, отношением к окружающим, своими нравственными принципами формировавших духовное пространство города, в котором живут, и «подтягивавших» до этой высокой планки соотечественников.

Из рассказа того же В.Черноморского:

«Ярко помнится один эпизод. От комсомола следить за нами (командой КВН) и, так сказать, курировать был приставлен молодой, но подававший надежды мерзавец — Яша У. Самодовольный болван с писклявым голосом... И вот однажды, когда Яша слишком активно вмешался, Надежда Саввишна сказала ему примерно следующее: «Вы, Яша, сделали рациональный выбор — по эту сторону забора. Интересно, что бы с вами было, если бы вы оказались по другую?..»

...Надежда Саввишна Крикун достойна самой долгой и благодарной памяти».

Долгой и благодарной памятью продиктованы и её собственные, цитируемые мной здесь мемуары о выдающихся людях, которых довелось знать этой удивительной женщине. Фрагменты этих воспоминаний, посвящённые встречам с Ахматовой, увидели свет в Ташкенте в 1989 году, когда творческий центр «Орфей» издал юбилейный сборник к столетию поэта. Остальное — всё ещё ждёт публикации...

Годы, десятилетия спустя Надежда Саввишна скажет о городе, ставшем её судьбой:

«И по сей день, проходя по Хорезмской, мимо 50-й школы, где был когда-то госпиталь, я с грустью смотрю на противоположную сторону, на обнесённые изгородью старые строения — и будто снова вижу те, прежние дни...»

Может быть, те картины — очертания давно снесённых зданий, тени когда-то живших здесь и навсегда ушедших людей — представляли в воспоминаниях Надежды Крикун именно в таких скупых и чётких графичных образах, навеки врезавшихся в память, — «как на киноленте чёрно-белой...»?

Тридцать семь в тени,
А в стакане ровно сорок.
Тихо помяни
И запомни этот город.
Выпей за людей,
За глаза их узкие,
За маму свою
Русскую...¹⁸

«...Мы сейчас много говорим о братстве, интернационализме — и, вместе с тем, встречаясь порой с людьми, почему-то прежде всего пытаемся выяснить их национальную принадлежность. Русский, казах, узбек, еврей?.. Тогда же и в голову не приходило останавливаться на этом: все мы были дети одной матери-Родины, а она была в беде».

Это — ещё одна цитата из её воспоминаний об эвакуации. И ещё один урок нравственности от Надежды Крикун. Одной из тех многих, кто в годы народной беды узнал тепло и милосердие нашего прекрасного города — и в ответ поделился с ним своей душой.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Здесь и далее отрывки из воспоминаний Н.С.Крикун цитируются по публикациям в журнале «Молодая смена» за 1989 год.

² Из стихотворения Евгения Долматовского «Голубоглазая узбечка».

³ Из стихотворения Юрия Стоянова «Ташкент».

⁴ Эди Огнецвет (1912—2000) — белорусская поэтесса.

⁵ Из стихотворения Александра Файнберга «Ташкент. 1943» («Над мастерской сапожника Давида...»).

⁶ Из поэмы Павла Шуфа «Война — Ташкент: Задание на дом».

⁷ Зоя Туманова. «Про те года...» («Молодая смена», № 10, 1990).

⁸ Эдуард Бабаев (1927—1995) — впоследствии видный литературовед, профессор МГУ.

⁹ Валентин Берестов (1928—1998) — впоследствии известный писатель, поэт, переводчик.

¹⁰ Марк Азов (Айзенштадт) (1925—2011) — впоследствии писатель, драматург, поэт, сценарист.

¹¹ Зоя Туманова. «Про те года...»

¹² Из воспоминаний Светланы Сомовой «Тень на глиняной стене. Анна Ахматова в Ташкенте».

¹³ Макс Вексельман. «С.М.Михоэлс в Ташкенте».

¹⁴ Ныне здесь находится музыкальный колледж им. Хамзы.

¹⁵ Из стихотворения Юрия Стоянова «Ташкент».

¹⁶ Из интервью Д.М.Пенсон российскому искусствоведу И.Галееву.

¹⁷ Альберт Хачатуров (1930—1976) — кинорежиссёр («Подвиг Фархада» и др.), заслуженный деятель искусств Узбекистана.

¹⁸ Из стихотворения Юрия Стоянова «Ташкент».

Евгений Абдуллаев

В ожидании ИИ

Уинстон Смит наблюдает в окно за женщиной.

Женщина развешивает пеленки и поет: «Давно уж нет мечтаний, сердцу милых. Они прошли, как первый день весны...»

«Последние недели весь Лондон был помешан на этой песенке. Их в бесчисленном множестве выпускала для пролов особая секция музыкального отдела. Слова сочинялись вообще без участия человека — на аппарате под названием “версификатор”».

Этот проходной эпизод почему-то при первом чтении «1984» меня особенно ужалил. Остальное тоже впечатляло, и всё же... Дело было в конце восьмидесятых, и на фоне советского опыта все ужасы англо-американского общества особо ужасами и не казались. И двухминутки ненависти, и новояз, и двоемыслие... Всё было узнаваемо.

Но вот сочинение стихов «вообще без участия человека»... В этом было что-то действительно страшное.

Тоталитарные системы прошлого века были *бесчеловечными*, но не *бесдушными*. Да, люди пытались порой действовать как гвозди, винтики, механизмы. Но были сферы, куда эта дегуманизация не дотягивалась. Где сердце оставалось сердцем, а не «пламенным мотором». Где ни человек не подражал механизму, ни механизм человеку.

В том числе и сфера литературы.

Призрак вторжения механики в область творчества маячил, впрочем, уже давно, с позапрошлого века. С романтизма — ставшего, в свою очередь, ответом на стремительную индустриализацию и механизацию жизни. Андерсеновские механические соловьи, гофмановские музицирующие куклы, и далее, далее, к гриновскому Ксаверию. Всё это было страшновато, но... Но все эти монстры были продуктами чьего-то творчества — сами к творчеству способны не были. К созданию чего-то нового. В том числе — нового и осмысленного литературного текста.

В лучшем случае, как в рассказе Пьера Буля «Идеальный робот» (1952), «электронный писатель», созданный профессором Фонтеном, мог выдать «кошка ест мышку». Или «в один прекрасный день, ставший для профессора Фонтена днем победы», разродиться: «Быть или не быть — вот в чем вопрос!»

Невелика, скажем, победа. Сегодня, глядя на то, что создает нейросеть, профессор Фонтен кусал бы себе локти.

А вот Оруэлл со своим «версификатором» — угадал.

И не только то, что ИИ, как и версификатор, способен создавать путем комбинирования *нового* литературного текста. Но и то, в каких социальных условиях эта продукция может быть востребована.

А именно — в обществе победившей массовой культуры. В обществе, стремящемся к упрощению; обществе, в котором всё сложное вызывает раздражение и агрессию. И не обязательно — в тоталитарном, хотя именно тоталитарное общество наиболее склонно к упрощенным схемам и к уничтожению того, что слишком сложно, чтобы в них вписаться.

Оруэлловская антиутопия была написана в условиях «упрощенной» культуры 1940-х. О том же упрощении — как о духе времени — писал в те же годы другой английский прозаик, Ивлин Во. В «Возвращении в Брайдсхед» оно представлено в облике солдата Хупера, молодого человека с «прямыми, зачесанными со лба назад волосами и провинциальным выговором».

«За то недолгое время, что мы провели вместе, Хупер стал для меня воплощением Молодой Англии, так что, встречая в газетах рассуждения о том, чего ждет Молодежь от Будущего и в чем долг человечества перед Молодежью, я всегда проверял эти общие положения, подставляя на место “Молодежи” Хупера и наблюдая, не утратили ли они от этого убедительность. Так, в темные часы перед побудкой я размышлял о “Прогрессивном движении Хупера” и об “Общежитиях для Хупера”, о “Солидарности хуперов во всем мире” и о “Хупере и религии”».

Хупер, думаю, мог легко напевать и «Давно уж нет мечтаний, сердцу милых...». Почему бы нет?

Тенденции к усложнению и упрощению в культуре существуют одновременно; в одни десятилетия преобладает одна, в другие — другая.

Скажем, то упрощение, которое со сходным унынием наблюдали Оруэлл и Во (оба — носители «усложненной» культуры), началось где-то в конце 1910-х и продлилось до середины 1950-х.

Если конец XIX — начало XX века стали апогеем «цветущей сложности» («серебряный век» был тогда не только в России), то затем маятник качнулся к простоте, и далеко не цветущей¹. Да, надо учесть две мировые войны; во время войн культура (и жизнь, и мышление) вообще склонна упрощаться. Не исключено и обратное влияние: именно более примитивное мышление склонно к «упрощенному» методу решения политических проблем — каковым и является война. Перефразируя Булгакова: войны вначале возникают в головах.

Но есть и ещё один момент, на который редко обращают внимание: широкое распространение новых «упрощающих» медийных технологий (не требующих для своего пользования сложной интеллектуальной работы). В случае с циклом упрощения конца 1910-х — конца 1950-х — это триада «кинематограф — радио — телевидение».

Все они предлагали более *простой* путь потребления информации, чем чтение книг (которое предполагает кроме процесса освоения грамоты ещё и процесс «перекодировки» букв и их сочетаний в образы и идеи). Одновременно эти новые медиа давали и более широкие возможности для манипуляции массовым сознанием. Что и было использовано всевозможными тоталитарными и полу-тоталитарными режимами, а отчасти эти режимы и породило.

Попытки «усложнить» эти новые виды медиа, приблизить к высокой культуре и её сложности предпринимались почти с момента их победоносного шествия. Скажем, в кинематографе — Мурнау, Эйзенштейном, Бунюэлем... Но еще несколько десятилетий даже «высокий» кинематограф не мог отдаленно приблизиться к сложности, доступной «высокой» литературе, — не говоря об основном потоке кинопродукции. Лишь с конца 1950-х язык кинематографа достаточно усложняется, а «сложное кино» из редкого исключения становится востребованным всё более широкой зрительской аудиторией...

¹ Об этом писал Марк Липовецкий: «Серебряный век был, несомненно, моментом не только радикального обновления, но и радикального усложнения литературы — прежде всего в поэзии. В 1920-е годы этот процесс продолжился и в прозе — произведения Зощенко, Вагинова, Бабеля, Пильняка, Платонова, Кржижановского, раннего Эренбурга (“Хулио Хуренито”) тому примером. ...Зато в те же 1920-е, на параллельном ходу, происходит и радикальное упрощение поэтического языка и сознания — о чем свидетельствует высокая популярность стихов Демьяна Бедного, позднего Маяковского, Есенина, так называемых “комсомольских поэтов”» («Знамя», 2013, № 5).

Да, с конца 1950-х маятник снова начинает двигаться в сторону усложнения. Усложняются и «подражают» художественной литературе не только кинематограф, но и радио и телевидение. Происходит расцвет «сложных» радиопостановок, «проблемных» телефильмов и телеспектаклей.

Но главное — усложняется сама художественная литература, её язык. Если говорить о русской литературе, то с конца 1950-х происходит её обращение к наследию предыдущего периода сложности, к стилистическим поискам «серебряного века».

К тому же в появлении новых, более упрощенных видов потребления информации на несколько десятилетий с конца 1950-х возникает пауза. Идет экстенсивное распространение прежних («кино — радио — телевидение», плюс более редкий и дефицитный в СССР магнитофон), но новые пока не приходят.

Эта пауза давала возможность «высокой» культуре адаптироваться к этим медиа и отчасти адаптировать их к себе. Они постепенно теряют эффект новизны, уходит их первоначальное, почти взрывное, воздействие на сознание. Они становятся привычными, вписываясь в круг более традиционных форм передачи информации, — главную роль в котором продолжает играть чтение.

Поэтому так забавно звучало предсказание телеоператора Рудольфа («Москва слезам не верит»), что через двадцать лет «не будет ни газет, ни книг, ни кино, ни театров, а будет одно сплошное телевидение». Звучит оно (по фильму) в конце 1950-х. В 1980-м, когда фильм вышел на экраны, было очевидно, что телевидение, каким бы огромным воздействием оно ни обладало, не заменило собой ни кино, ни театр, ни, главное, — книги. Более того, страна переживала «книжный бум», книжный шкаф был не менее важным элементом интерьера среднестатистической семьи, чем «телеящик».

Так что повторенное Рудольфом предсказание про «сплошное телевидение», которое вытеснит книги через двадцать лет (то есть к концу 1970-х) в 1980-м могло вызвать лишь улыбку...

Как оказалось — преждевременную.

Нет, триумфа телевидения в конце 1990-х не случилось. Произошло нечто более серьезное. С середины 1990-х начинают появляться и распространяться новые, более эффективные и упрощенные (для пользователя) технологии производства и потребления информации. От персонального компьютера с принтером — к Интернету — далее, к смартфону — и вот, наконец, к нейросетям...

И всё это — без пауз, одно за другим, всё более и более упрощающее работу с информацией. А следовательно, и саму жизнь. И сознание человека, которое оказалось подсаженным на этот общедоступный информационный «фастфуд».

И литература, в том числе и немассовая, *high literature*, чутко на это упрощение реагирует. Начинает упрощаться сама. По стилю, по сюжету, по всему. После изысканнейших постмодернистских игр началось движение к «новой простоте». Вначале — через «новый реализм», а потом всё шире и шире. Прежние виртуозные стилисты опрощались буквально на глазах (как в тридцатые-сороковые стилистически опрощались Катаев, Алексей Толстой, Пастернак); новые авторы, большей частью уже сразу приходили «опрощенными»¹.

Как когда-то ответил старший коллега на мой вопрос, почему он не печатает одного молодого и перспективного автора: «У него мозги как-то очень просто устроены».

Нет, с «устройством мозгов» у этого тогда ещё дебютанта, а ныне известного литератора было всё нормально. Просто он был из поколения, уже выросшего в более просто устроенном мире производства и потребления информации.

¹ Об этом опрощении мне уже приходилось писать («Знамя», 2014, № 1).

И вот теперь, наконец, ИИ — предельно упростивший не только получение информации, но и, главное, её производство. В том числе и в литературе. Уже пишет книги, озвучивает книги, рисует к ним иллюстрации¹.

Но самый важный эффект, который ИИ может оказать — и уже оказывает: эффект упрощения, примитивизации читательского сознания. А совсем не то, что ИИ может выступить творческим конкурентом писателю.

Нет, определенным писателям — наверное, и может: создателям массовой литературы. Но они, судя по всему, не сильно этим обеспокоены. Наоборот, начали активно экспериментировать с ИИ. Чтобы поставить его себе на службу — точнее, своему имени-бренду: в массовой литературе, как и в любой продукции, предназначенной для «всех и каждого», именно раскрученное имя является важным. Теперь вместо того, чтобы задействовать «литературных негров» или просиживать за компом часами самому, автору массовой литературы достаточно просто грамотно дать задание ИИ. И подредактировать сгенерированный рассказ, повесть, роман... И публиковать уже не по книге в год — в полгода, а по книге в месяц.

А литература некоммерческая, немассовая?

Автору, работающему в этом сегменте, ИИ тоже не конкурент. Немассовая литература — это литература, идущая поперек шаблона, поперек читательского ожидания. У нейросети, как недавно посетовала Ксения Буржская (попытавшаяся с ней поэкспериментировать), ничего этого нет.

«У неё нет стиля. Нет личного опыта, нет подтекста, и я не знаю, откуда он возьмется. ...У неё есть только гладкий язык и примерное представление о том, как закончить фразу. “Глаза её сияли, как...” — “Звезды”, — ответит она. И писатель эту формулировку никогда не возьмет в работу, потому что это заезженный штамп, его использовали уже тысячу раз» (сайт «Год литературы», 8 ноября 2011 г.).

Всё это так — проблема в другом.

Пока ещё есть не только писатель, но читатель, понимающий, что «глаза её сияли как звезды», — это банальность (если, конечно, это не является продуманным авторским приемом), и что в немассовой литературе так писать нельзя. Но таких читателей немного, и с каждым новым поколением, по моим наблюдениям, всё меньше. Всё больше сформированных не книжным получением информации, даже не «буквенным», а «визуальным». Упрекать их в этом нельзя — это та информационная среда, в которой они выросли. Всё более упрощенная, «удобная». В которой и глаза могут вполне сиять, как звезды, и «давно уж нет мечтаний, сердцу милых...» — считаться почти шедевром...

Или нет, не шедевр — понятие шедевра, вместе с понятием гения и с самой идеей литературной иерархии у нас ведь тоже уходит. Всё упрощается, становится равным всему. Если современная русская литература ещё как-то на что-то внутри себя делится, то только по политическим взглядам. Но и тут всякий намек на сложность встречается в штыхы. «Не всё так просто» стало почти ругательством.

Что делать?

Ждать, когда закусивший удила информационно-технический гений, наконец, выдохнется и на три-четыре десятилетия возникнет необходимая для культурной адаптации всех этих новинок пауза? Или... что? Не знаю. Будем продолжать писать; в конце концов, радость от самостоятельного и сложного письма и радость от самостоятельного и сложного чтения ещё сохраняются. А дальше видно будет.

¹ Как иллюстрирует — тема отдельного разговора. Если как «Василия Тёркина» (см. сайт «Год литературы», 15 мая 2025 г.), с чистеньким, гламурненьким и стильно причёсанным Тёркиным, то лучше, наверное, не надо. Это, простите, какое-то high-tech издательство — и над поэмой Твардовского, и над именем Кандинского («графическая поэма» сгенерирована нейросетью Kandinsky).

Борис Минаев

«А на Чистых прудах лебедь плывёт»

Театральный бульвар

«...Отвлекая вагоновожатых».

Трамвай ходит тут до сих пор, звон его смешивается каким-то неуловимым образом — с цветом неба, шорохом листьев, уже осенних, отражением заката в окнах и на высоких крышах, в общем, со всем тем, что называется городом, — и ещё с необычным звуком, который поселился этим летом на бульварах — Цветном, Чистопрудном, Покровском, на Патриарших прудах и так далее. Это звук уличного театра.

То есть театра, который вышел на улицы.

Он разный. Вот в микрофон две актрисы и актёр читают стихи Николая Гумилёва, попутно рассказывая о его жизни. Зрители внимательно слушают, пытаются вникнуть в непростую символику строф расстрелянного поэта. Вот в «театральной лаборатории» разыгрывают этюды дети. Вот со сцены солидный режиссёр и театральный художник беседуют об искусстве и театре (сейчас это называется public talk).

«Театральный бульвар» — фестиваль московского, и не только московского, театрального искусства занял три месяца лета и поразил своими масштабами. Каждый день — события, спектакли, лаборатории, перфомансы, лекции, беседы.

Причем, если говорить собственно о представлениях, а их было много, то театр, смешанный со звуками города, с тем же самым трамвайным звоном или шуршанием шин, с говором прохожих и мелодиями уличных музыкантов, то есть попросту с городским шумом, он вообще какой-то другой.

...Попробую сформулировать.

Лишенный обязательной рамки сцены, лишенный коробки зрительного зала, как бы растворенный в пространстве, не замкнутый, он и во времени ведет себя иначе. *Наше* время, повседневность и глобальная эпоха, которое вливается в тебя ежесекундно острыми иглами — куда-то отступает, затихает, открывается коридор в иное время, в ту самую перспективу вечности, которую всегда так хочется понять.

Это удивительный эффект, но, если попытаться проникнуться духом уличного театра, — он обязательно возникнет.

Особенно мне запомнились выступления коллектива «Пух и Прах», на Чистопрудном бульваре их было несколько: «Цыгане» по Пушкину, «Хорошее отношение к лошадям» по Маяковскому, «Колкий пух» — оммаж к старому спектаклю Полунина «сНЕЖНОЕ шоу».

Спектакль Полунина я видел когда-то в театре Маяковского, очень давно, лет 15 назад, причем видел с верхотуры, с галерки, сидел на уровне большой театральной люстры, внимательно её рассматривая и опасливо, как с отвесной скалы, заглядывая вниз, на сцену, — и всё равно это было здорово. Ангелы, их пуховые крылья, ощущение Рождества, мимическое извержение счастья и печали — да, подробности стерлись, но ощущение осталось.

Полунин — один из основателей уличного театра в нашей стране (хотя «сНЕЖНОЕ шоу» и показывалось в залах), и он первый открыл, что зритель, который будто загипнотизированный бредёт вслед за вереницей актёров и музыкантов, как на древней площадной ярмарке, не просто следует за ними из точки А в точку Б — он перемещается в иное измерение, он попадает в иное время.

Я сразу вспомнил об этом, когда пришел на Чистопрудный, на представление «Колкий пух». Постепенно скапливалась толпа, нарастало напряжение, пытаюсь протиснуться в первые ряды, я увидел странно одетых людей, играющих странную музыку, запомнились слова припева: «Молись и кайся, молись и кайся, молись и кайся, Малыш и Карлсон».

Вслед за прологом, немного ведьминским и пугающим, потянулась процессия «ангелов» с большими пуховыми крыльями, «почти как у Полунина», и музыкантов огромного духового оркестра.

Вообще живая, рожденная прямо тут, на бульваре, музыка — важнейшая часть представления. Она завораживает и поражает, её много, она обволакивает и высвобождает твоё подсознание, чтобы дальнейшее хорошо в нём улеглось — а «дальнейшее» происходило уже в «райском саду», где пары (множество пар), сливающихся в любовном танце, танцевали практически на яблоках, между яблок, которые в большом количестве высыпали прямо из ящиков.

Вообще попытка возродить жанр мистерии (никто никогда не видел мистерии живьем, они известны нам лишь по описаниям, от древности до наших дней) — всегда вызывала у меня уважение. Есть в этом какой-то героизм культуртрегера, героизм человека культуры, который пытается понять непознаваемое.

Особенно продвинулся на этом пути недавно безвременно ушедший Борис Юхананов, создатель совершенно особого жанра, возглавлявший «Электротheater «Станиславский» (бывший драматический театр имени Станиславского). Его мистерии поражали — но они были внутри театра, они были ограничены рамками замкнутого пространства. «Пух и прах» идет по совершенно иному пути, хотя жанры схожи.

Впрочем, я лучше приведу здесь цитату.

«Торжественное шествие ангельских чинов и прочих участников выводит нас, наконец, к месту начала действия, совершает выразительный круг. За нашими спинами захлопываются райские врата.

Напрасно бьются в них горемыки Адам и Ева. От своего и от нашего имени. Для нас, чтоб понятно было, на вратах помещено узкое зеркало. Каждый может в нём отразиться.

Мы искренне и восторженно хлопаем, кричим “браво!” и просто “спасибо”, запечатлеваем персонажей, выбираемся из гуляющей толпы...

У нас приподнятое настроение, мы объединились вокруг чего-то важного: настоящего, искреннего, мастерского. Мы встретились друг с другом, кого-то узнали.

Символические фрагменты бульварного действия не сразу обретают в голове свое место. Они мечутся вопросами, яркими аргументами в поисках смысла, в которых

мы запутались и растерялись. И только постепенно выстраиваются в красивую современную картину большой Человеческой комедии. Или драмы. Или трагедии», — так написала критик Елена Лебедева.

Да, создатели спектакля сделали всё, чтобы мы это почувствовали и воспарили, покамест всего лишь над бульваром — ну а там как пойдет.

Создатели — это, как указано в официальном паблике театра, Сергей Быстров, Этель Иошпа, Алена Смирницкая. Огромный хор, актёры, оркестр, рок-группа «Семя тли», хореография и присоединившийся к ним поэт и актёр Герман Лукомников.

Пух оказался именно колкий — в отличие от давнего спектакля Полунина, где главной эмоцией были радость и нежность, здесь царит тревожная и вместе с тем наэлектризованная атмосфера поиска смысла.

Смысла существования.

«Чёрное пальто»

В отличие от многолюдного представления на бульваре, в этом спектакле заняты всего две актрисы: Нелли Уварова и Дарья Семёнова. Режиссер Рузанна Мовсесян поставила в театре «Пространство внутри» два рассказа Людмилы Петрушевской: «Гигиена» и собственно «Чёрное пальто», давшее название сборнику.

Вообще всем спектаклям Мовсесян свойственно это качество — они очень внимательно и напряженно «читают» вместе со зрителем сам текст, погружают нас в музыку слова, в построение фразы, они в самом лучшем значении литературны, оставаясь при этом прекрасным театром.

Так вот, в «Гигиене», рассказе, который я хорошо помню по публикации в «Новом мире» в конце 80-х, эти слова и эти фразы звучат настолько отчетливо, настолько сильно, что становится буквально трудно дышать, раздаётся какой-то звон в голове, кажется, что твое сознание расслаивается...

Ведь речь идет о дне совсем недавнем: всем нам, пережившим добровольное ковидное заточение, до боли знакома эта реальность страха, переходящего в ужас и слепоту отчаяния, реальность тюрьмы-квартиры, этого иступленного протирания спиртом и прочими антисептиками всех поверхностей, этих заградительных кордонов на двух десятках квадратных метров, и предательского вопроса, живущего у тебя внутри: когда же всё это кончится?

Рассказ «Гигиена» — это рассказ-катастрофа, подробное описание медленного падения в пропасть целой семьи, и в этом смысле он гипер-реалистичен, каждая деталь (тем более на фоне собственного опыта) кажется невероятно убедительной и страшной. В отличие от рассказа «Чёрное пальто», где речь о мистике, о теневой, потусторонней реальности, о снах и сновидческой реальности, — здесь всё слишком «по-настоящему» (хотя тогда, в конце 80-х, так не казалось).

Но в конце спектакля хочется спросить себя — именно себя — а о чём же это всё? Зачем нам был дан этот опыт?

С моей точки зрения, — о преодолении страха. На нас надвигается что-то небывалое и огромное, нам навязывают и диктуют всё более жестокие правила, нас сковывает ощущение бессилия, главное здесь — не потерять себя, не сдаться, не стать пассивными жертвами этой беды, сохранить достоинство и веру.

Мы должны оставаться любящими людьми, членами своей семьи, и в целом — всечеловеческой семьи, семьи людей.

Музыка не в стол

Так называется цикл театрально-музыкальных вечеров в театре «Мастерская Петра Фоменко», которые уже не первый год устраивает композитор и актер театра Николай Орловский. Это уже четвертый вечер, а первый состоялся восемь лет назад.

Грань между театром и музыкой здесь довольно тонка. Огромная театральная энергия, которую источает Орловский, вдохновитель всего шоу, — прекрасно передается и музыкантам его небольшого оркестра, и актёрам (Полина Айрапетова, Игорь Войнаровский, Александр Кесельман и другие). В стихи, которые тут стали песнями или зонгами, — вложена та же новая, искрящаяся энергия, хоть они очень разные, среди стихов есть и вполне детские (это, в частности, стихи Льва Яковлева), и классические — Теофиль Готье, АртюР Рембо, Марина Цветаева, Льюис Кэрролл, Поль Элюар...

Но игровая природа, природа праздника и искренней, лирической клоунады, делает их единым полотном.

Жанр довольно редкий сегодня — вроде бы кабаре, но с серьезным поэтическим материалом, где сфальшивить нельзя, вроде бы театр, но в подкладке имеющий просто-таки настоящую музыкальную партитуру, родственную опере и симфонии, вроде бы «куплеты», но говорящие о любви и смерти, боге и тайне бытия.

Вообще, как мне кажется, сегодняшний театр — это не только привычные для нас впечатления (которые я, кстати, очень люблю) — большие академические сцены, атмосфера фойе, празднично одетые зрители, шорох программ и конфет, шампанское в буфете, возбужденный шёпот ожидания, голос диктора, который просит выключить телефоны, гаснущая люстра, загорающиеся софиты, рампа и театральный круг, в общем, вот это всё...

Театр сегодня не только такой — это и воздух московского бульвара, и невольное напряжение «камеры обскуры», когда в тёмном зале несколько десятков зрителей и пара актёров, и полифоническое кабаре, и многое-многое другое.

Театр пластичен и принимает все формы нашей жизни.

Такой разной жизни...

Summary

Alexej Tork. Relocant

The long short story of Alexej Tork unfolds like the diary of adventures of a relocant from Volkogonsk — beaten and confused, escaped for Dushanbe about which he knew only from the book about Hodja Nasreddin he read in his childhood. After going through a series of ordeals, lies, love, temptations and disappointments, the protagonist realizes that the East punishes him for the cheat and false. “Haven’t I gone crazy because of these exotic stories? Did I leave home at all? Maybe there wasn’t any war?.. God, everything that happened was a dream! I wasn’t in that valley, I didn’t save Sebarga who was sinking in the lake, I didn’t meet my father... But nothing prevents me from repeating all this in reality”. Those stories, the love and overcoming became the true life of the protagonist.

Poetry

“That what is written by hearts” — this sonorous line from the poem of Anna Zolotareva may be the epigraph for the poetical publications of this issue. Fine, plastic poetry of Sergej Pagyn is pierced with the light memory and dreams. For him they are his “habitable world” where everybody is still alive and “singing about childhood, mother and father”. Philosophical lyrics by Karen Shakaryan present tragic meditations over life and death. In the poems of Evgenij Stepanov dedicated to his native township Bikovo and his heroic neighbors not only the rhetoric sounds but also the worldly wisdom: “If only love would flow in me. Not blood. How to be without love?”

Under the heading “The Cultural Stratum”:

“...Imagine the winter day, 65 degrees below zero. And there, in the theater the spectators are goofing “Abhij??na??kuntalam” by K?lid?sa. The warmth of the Indian poetry in the most cold city of the world — Yakutsk”. The prime-minister of India is telling to the radio listeners about the spectacle “Sahaantala” in the Theater Olonho. The prosaist Oleg Sidorov is meditating on the life path and artistic convictions of the famous Yakut theater producer Andrej Borisov.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России** — **ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»
Москва, ул. Тверская, 17
(вход с Малого Гнездиковского переулка)

Главный редактор: Надеев С.А.

Вёрстка: Елена Жирнова. Корректурa: Елена Лапшина.

Дизайн обложки: Степан Лукьянов.

Учредитель и издатель — АНО Редакция журнала «Дружба народов».

Юридический адрес: 115172, г. Москва, ул. Гвоздева, д. 7/4, стр. 1, кв. 88.

Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 2, оф. 110.

Электронная почта: dn52@mail.ru. Телефон редакции (499) 5190212.

Сайт журнала: дружбанародов.com

Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Эл № ФС77-51026 от 03.10.1912.

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



**11/2025**

Читайте:

**Нелли Зайцева. Как мы фиолетовый
чуть не съели. Рассказ**

— Выходи, зверёныш, — слышится снаружи.
Я — молчок. Мама задирает скатерть,
дырявит мой герметичный мир, вижу вначале
только запчасть — ноги в зелёных носках,
на мизинце — созвездие из дырочек,
а после и всю маму в позе лягушки: шорты
на завязках, майка сморщилась на животе,
голые бледные колени в растопырку, волосы
скручены сверху кулачком, пара прядей
вздыбились, рвутся из причёски.
Мама делает шажок, упирается лбом в край
стола и заступает за черту фломастера:
линию от ножки до ножки.
— Это вторжение! Ты незаконно перешла
границу! — кричу я и мягко давлю на мамины
коленки. Те заострились воинственно,
ещё больше выпятились за черту.
Мама не покачнулась, не отпрянула.
У меня жжёт в горле, из него лезут шипучие
слова: — Я жжжже просила не сссуваться!
Огородила себе уголок, это моё! —
кричу я, скалю зубы, устрашающе
рычу. Будь я взрослой, вытолкнула бы
и не миндальничала. А когда ребёнок —
приходится распугивать, упрашивать,
упрямствовать и реветь в крайнем случае.

